ГЕРМАН ГЕССЕ

ГЕССЕ



Том 2. Кнульп. Курортник. Степной волк

Герман Гессе

Аннотация
Герман Гессе. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2
Кнульп
  Канун весны
  Мои воспоминания о Кнульпе
  Конец
Курортник
  Предисловие
  Курортник
  Распорядок дня
  Голландец
  Уныние
  Выздоровление
  Оглядываясь назад
Степной волк
  Предисловие издателя
  Записки Гарри Галлера
Комментарии

Аннотация

Во второй том входят следующие произведения: «Кнульп», «Курортник», «Степной волк».

Повесть «Кнульп» написана Г. Гессе в 1907–1913 гг. В ней раскрыта тема бродяжничества, которое в 80–90 гг. прошлого века было в Германии обычным явлением. В этой повести Герман Гессе дал романтический образ бродяги.

Повесть «Курортник» (1925 г.) — плод раздумий писателя о собственной жизни, о формах и путях преодоления конфликта между Духом и природой, личностью и коллективом.

Роман «Степной волк» — одно из самых популярных произведений Гессе. Он в известной мере автобиографичен. Это исповедь буржуазного интеллигента, пытающегося преодолеть собственную болезнь.

Герман Гессе. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2

Кнульп

Три истории из жизни Кнульпа

Канун весны

В начале девяностых годов случилось нашему другу Кнульпу несколько недель пролежать в больнице; когда он оттуда выбрался, уже стоял февраль, погода была отвратительная, так что, проскитавшись всего несколько дней, он опять ощутил озноб и поневоле стал подумывать о пристанище. В друзьях у него недостатка не было, его приветили бы в любом городке округи, но он был горд, слишком горд, за честь можно было считать, если он что-нибудь принимал от друга.

На сей раз Кнульп вспомнил о благородном дубильщике Эмиле Ротфусе из Лехштеттена и в его-то запертые двери постучался однажды поздним ненастным вечером. Дубильщик приоткрыл ставень наверху и громко крикнул в темноту улицы: «Кто там барабанит? Неужто нельзя подождать до утра?»

Голос старого друга сразу же возвратил бодрость утомленному Кнульпу. Ему вспомнился стишок, сложенный им много лет назад, когда однажды он целый месяц странствовал вместе с Эмилем Ротфусом, и он пропел его прямо в приоткрытое окно:

Сидит усталый странник,
Сидит в большой пивной.
То блудный сын — изгнанник,
И уж не кто иной.

Дубильщик рывком распахнул ставень и наполовину высунулся из окна.

— Кнульп! Это ты или твой призрак?

— Я, я! — закричал Кнульп. — Но, может, ты спустишься или непременно нужно орать через окно?

Друг с радостью поспешил вниз, распахнул входные двери и коптящей масляной лампой посветил прямо в лицо пришельцу, так что тот заморгал.

— Входи же! — взволнованно воскликнул хозяин и потянул Кнульпа в дом. Рассказывать будешь после. От ужина тебе еще кое-что осталось, и постель получишь. Боже милосердный, в такую собачью погодку! Послушай, а башмаки-то у тебя хоть крепкие?

Кнульп предоставил ему вволю задавать вопросы и удивляться, на лестнице он аккуратно подвернул свои подшитые тесьмой брюки и уверенно двинулся впотьмах вверх, хотя не был в этом доме вот уж четыре года.

В верхних сенях, перед дверью в горницу, он немного помедлил и за руку придержал дубильщика.

— Слушай, — зашептал он, — ты теперь женат, это правда?

— Чистая правда.

— Вот то-то и оно. Понимаешь, жена твоя меня не знает, может, вовсе и не обрадуется. Не хотел бы я быть вам в тягость.

— Какое там в тягость! — засмеялся Ротфус, распахнул дверь и подтолкнул Кнульпа в ярко освещенную горницу.

Там над большим обеденным столом висела на трех цепях керосиновая лампа, легкий табачный дым еще парил в воздухе и тонкими струями уходил в горячий цилиндр, где спиралью вился вверх и исчезал. На столе лежала газета и сыромятный кисет с табаком, а с маленького узкого канапе у стены вскочила молодая хозяйка; вид у нее был смущенный, но нарочито бодрый, как будто ее потревожили среди дремоты, а она не хотела этого показывать. Кнульп, ослепленный, замигал на яркий свет, взглянул в серые глаза женщины и с вежливым поклоном подал ей руку.

— Вот она, — радостно объявил мастер. — А это Кнульп, дружище Кнульп, помнишь, мы с тобой

еще давеча о нем говорили? Само собой, он наш гость, переночует в комнате подмастерьев — она ведь пустая. Но прежде мы все выпьем сидру, и ты попотчуешь Кнульпа. Ливерная колбаса у нас еще осталась?

Хозяйка выбежала из комнаты, и Кнульп проводил ее взглядом.

— Все-таки я ее чуток напугал, — тихонько сказал он, но Ротфус с ним не согласился.

— Детей еще нет? — спросил Кнульп.

В этот миг она снова появилась, принесла колбасу на оловянной тарелке и деревянный поднос, посередке которого лежали добрые полкаравая ржаного хлеба, заботливо положенные початою стороною вниз, а по краю было вырезано замысловатыми готическими буквами: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

— Лиз, а ты знаешь, какой вопрос только что задал мне Кнульп?

— Оставь! — воспротивился тот и с улыбкою обернулся к хозяйке. — Итак, разрешите приступить, сударыня?

Но Ротфус не унимался.

— Он спросил, есть ли у нас дети.

— Ой, да про что вы! — выкрикнула она со смехом и сразу же опять убежала.

— Так что же, нет еще? — повторил Кнульп свой вопрос.

— Нет. Она, знаешь ли, не торопится, на первых порах так оно и лучше. Ну давай, принимайся за дело, приятного тебе аппетита!

Теперь хозяйка принесла голубой фаянсовый кувшин с сидром, поставила три стакана, которые тут же и наполнила до краев. Она проделала все это так споро и ловко, что Кнульп невольно улыбался, на нее глядя.

— Твое здоровье, старый друг! — провозгласил мастер и потянулся чокнуться с Кнульпом. Тот, однако, учтиво отклонил здравицу:

— Сначала за дам! Ваше драгоценное здоровье, сударыня! Будь здоров, старина!

Они чокнулись и выпили, и Ротфус просто сиял от радости, подмигивая своей хозяйке: заметила ли она, какие великолепные манеры у его друга?

Она, оказывается, давно это заметила.

— Видишь, — сказала она мужу. — Господин Кнульп вежливее, чем ты. Он знает, что такое настоящее обращение.

— Ну что вы, — не согласился гость. — Каждый поступает, как обучен. Что до манер, то тут вы меня легко посрамите, сударыня. До чего же красиво вы все сервировали, точно в самом лучшем

отеле!

— Так и есть, — засмеялся мастер. — В точку попал, этому-то она обучалась.

— Вот как, и где же? Уж не трактирщик ли ваш батюшка?

— Нет, и он давно уже на том свете, я едва его помню. Но я и вправду несколько лет работала в «Быке», если вы такой знаете.

— «Бык»? Да это же была лучшая гостиница в Лехштеттене, — похвалил Кнульп.

— Она и сейчас такова. Разве не правда, Эмиль? И номера там берут только важные баре, коммивояжеры и туристы.

— Могу себе представить, сударыня. Вам, верно, там было хорошо, и заработки приличные. Но свое хозяйство все же лучше?

Он медленно, смакуя, намазывал мягкую ливерную колбасу на хлеб, откладывая тонко срезанную шкурку на самый край тарелки и время от времени прикладываясь к прекрасному светло-желтому сидру. Хозяин одобрительно смотрел, как аккуратно Кнульп со всем управлялся, как легко, играючи сновали его белые тонкие пальцы, да и на хозяйку это произвело благоприятное впечатление.

— Выглядишь ты не ахти как, — стал затем

выговаривать ему Эмиль Ротфус, и Кнульп вынужден был признаться, что верно, последнее время дела его шли неважно, он был в больнице. О неприятных подробностях он умолчал. Когда друг осведомился, что же он намерен предпринять в ближайшее время, и от души на любой срок предложил ему стол и приют, то гость, хотя именно на то и рассчитывал и того желал, все же не дал ответа, как бы сробев, смущенно поблагодарил и отложил обсуждение этого вопроса на завтра. — Успеем поговорить завтра или послезавтра, — бросил он другу. — Слава богу, еще не конец света, а некоторое время я у тебя так или иначе пробуду.

Он не любил строить планы или давать наперед обещания. Ему бывало не по себе даже, если завтрашним днем он не мог располагать по своему выбору.

— Ежели я и в самом деле поживу здесь, — снова завел он разговор, отметь меня в управе как своего подмастерья.

— Еще чего, — захохотал мастер. — Ты — и вдруг мой подмастерье! Да, кроме всего прочего, какой же ты дубильщик?

— Не в том дело, разве ты не понимаешь? К дубильному ремеслу я и верно отношения не имею,

хоть и считаю, что ремесло это почтенное. У меня к работе вообще таланта нет. Но вот моему паспорту такая запись бы не повредила. Это важно и для оплаты лечения.

— Можно мне взглянуть на твой паспорт?

Кнульп полез во внутренний карман своей почти новой куртки и вытащил оттуда книжечку в аккуратной клеенчатой обертке.

Дубильщик посмотрел на нее и сказал с усмешкой:

— Как всегда, не придерешься! Можно подумать, ты только вчера покинул родимое гнездо.

Затем внимательно изучил все записи и печати и восхищенно пожал плечами.

— Вот это порядочек! Все-то у тебя должно быть благородно!

Содержать свой дорожный паспорт в образцовом порядке было одним из пристрастий Кнульпа. Эта книжечка была в своей безупречности чудесным вымыслом, поэмой, все записи в ней, заверенные должностными лицами, обозначали славные этапы почтенной трудовой жизни, и лишь любовь к путешествиям, проявлявшаяся в очень частой перемене мест, бросалась в глаза стороннему наблюдателю. Но жизнь эта, обозначенная в дорожном паспорте, была со-

чинена самим Кнульпом, она продлевалась им с помощью тысячи уловок и частенько висела на волоске, в то время как в действительности он, хоть и не делал ничего запретного, влачил презренное и не вполне законное существование бездельника и бродяги. Конечно, ему вряд ли бы удавалось без помех сочинять свою прекрасную поэму, если бы все жандармы в округе не были настроены к нему в высшей степени снисходительно. Они по возможности оставляли в покое этого веселого забавного малого, чье умственное превосходство, а порой и серьезность внушали им уважение. У него не было ни одной судимости, воровства или нищенства за ним не числилось, а влиятельные друзья были повсюду; его терпели, как в хорошем хозяйстве снисходительно терпят красавицу кошку, а она живет себе среди усердных, замученных работой людей, как барыня, легко и грациозно, без забот, без труда.

— Вы давно бы уж легли, если бы я не пришел, — виновато сказал Кнульп, пряча паспорт. Он встал и поклонился хозяйке. — Пойдем, Ротфус, покажешь, где мое место.

Мастер с лампой провел его по узким крутым ступеням на чердак, в каморку подмастерьев. Там стояла у стены голая железная кровать, и рядом

еще одна — деревянная, застеленная.

— Грелку не надо? — заботливо осведомился хозяин.

— Обойдусь, — засмеялся Кнульп. — А господину мастеру она уж точно не нужна, при такой-то женушке.

— Да, вот видишь, — с искренним жаром заговорил Ротфус, — ты сейчас уляжешься в холодную свою кровать, а порой даже и в худшую ложиться приходится, а то и вовсе никакой нет, так что ночуешь ты на сене, под открытым небом. У таких же, как я, и дом свой, и хозяйство, и жена славная. А ведь ты и сам давно бы мог стать мастером и добился бы куда больше, чем я, если бы только постарался.

Кнульп между тем поспешно скинул платье и, дрожа от холода, забрался в постель.

— У тебя еще много за душой? — спросил он. — Мне здесь лежать удобно, могу и послушать.

— Кнульп, я серьезно тебе говорю.

— Я тоже, Ротфус. Не воображай, пожалуйста, что ты первым придумал жениться. Спокойной ночи!

На следующий день Кнульп с утра остался в постели. Он чувствовал еще некоторую слабость, да и погода была такая, что одеваться и выходить

не хотелось. Дубильщика, который заглянул к нему около полудня, он попросил, чтобы его не тревожили и, если возможно, прислали в обед тарелку супа.

Так весь день он покойно провел в сумрачной каморке, ощущая, как отдаляются и уходят в прошлое холода и невзгоды страннической жизни, отдаваясь блаженному чувству покоя, тепла, безопасности. Он прислушивался к шуму дождя, прилежно барабанившего по крыше, к прихотливым порывам душного беспокойного ветра. В промежутках немного дремал или, пока хватало света, читал что-нибудь из своей походной библиотечки; она у него состояла из разрозненных листков, на которые он списывал стихи или изречения, и из целого вороха газетных вырезок. Среди последних было несколько картинок, которые он отыскал и вырезал в иллюстрированных журналах. Две из них были им особенно любимы, от частого вытаскивания обе обветшали и обтрепались. На одной была изображена актриса Элеонора Дузе, на другой — парусник в открытом море при сильном ветре. С детских лет Кнульп испытывал сильнейшую тягу к морю и к северу; он не раз пускался в дорогу, чтобы увидать их своими глазами, однажды добрался до самого

Брауншвейга. Но вместе с тем этого перекати-поле, который всегда был в пути и терпеть не мог задерживаться на одном месте, постоянно гнала назад странная тоска и любовь к родным местам, и быстрыми переходами он всякий раз возвращался в Южную Германию. Может быть, обычная беззаботность покидала его в местностях с чужим диалектом и чужими обычаями, где никто его не знал и где ему было нелегко сохранять в порядке свой фиктивный паспорт.

В обед дубильщик принес ему на чердак супу и хлеба. Он вошел на цыпочках, говорил испуганным шепотом, так как считал Кнульпа тяжело больным, — сам он с детских лет среди бела дня никогда не лежал в постели. Кнульп, который чувствовал себя преотлично, не стал затрудняться объяснениями и только заверил, что назавтра встанет и наверняка будет здоров.

К вечеру в дверь каморки легонько постучали, и так как Кнульп был погружен в дремоту и не откликнулся, хозяйка вошла осторожно и, забрав суповую тарелку, поставила на тумбочку у кровати чашку кофе с молоком, Кнульп, который слышал, как она вошла, то ли из-за усталости, то ли из каприза продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, будто крепко спит. Жена ду-

бильщика, с пустой тарелкой в руках, украдкой бросила взгляд на Кнульпа, который положил голову на руку, прикрытую до локтя синей клетчатой рубашкой. Она невольно отметила, как мягки его темные волосы, как почти по-детски прелестно беззаботное лицо, — и все стояла и любовалась этим красивым малым, о котором муж рассказывал ей столько удивительных историй. Она разглядывала его широкие брови над сомкнутыми веками, высокий чистый лоб, смуглые, чуть впалые щеки, красивые яркие губы и стройную шею, и ей вспомнились те времена, когда, работая кельнершей в «Быке», она нередко по весне пускалась во все тяжкие с таким вот пригожим заезжим гостем.

Замечтавшись и чувствуя легкое волнение, она наклонилась, чтобы получше разглядеть лицо, как вдруг оловянная ложка соскользнула с тарелки и громко стукнула об пол, этот звук в тишине и укромной уединенности комнаты особенно сильно напугал ее.

Кнульп открыл глаза, медленно и с таким видом, как будто сейчас только пробудился от глубокого сна. Он повернул к ней голову, заслонив глаза ладонью, и сказал с улыбкой:

— Вот те на, оказывается, вы здесь, сударыня!

Да еще кофе мне принесли, горячий кофе! Как раз то, о чем я сей миг мечтал. Большое спасибо, госпожа Ротфус! Не скажете ли, который час?

— Четыре, — быстро ответила она. — Пейте поскорее, пока горячий, а я унесу посуду.

Сказав это, она выбежала из комнаты с таким видом, будто у нее минуты нет лишней. Кнульп проводил ее взглядом и услышал, как она торопливо сбегает по лестнице. Он задумался над этим, легонько покачав головой, слегка присвистнул на птичий манер и принялся за кофе.

Через час после наступления сумерек он, однако, заскучал, чувствуя себя вполне бодрым и отдохнувшим, и его потянуло на люди. Он неторопливо встал, оделся, тихо, как куница, спустился впотьмах по лестнице и незаметно выскользнул со двора. Все еще дул влажный юго-западный ветер, но дождь прекратился, на небе видны были чистые и светлые прогалины.

Все разведывая, вынюхивая, Кнульп слонялся по вечерним улицам; он пересек опустевшую рыночную площадь, постоял в дверях кузни, наблюдая, как прибираются ученики, вступил в разговор с подмастерьями и погрел озябшие руки над темно-красным остывающим горном. При этом он как бы невзначай расспросил о своих

былых знакомцах, осведомился о похоронах и свадьбах, а в беседе с кузнецом легко мог сойти за его собрата по ремеслу, настолько хорошо он знал язык и тайные знаки каждого цеха.

Тем временем госпожа Ротфус поставила на плиту похлебку, погремела ухватами, начистила картошку, и когда вся работа была переделана и кастрюля надежно стояла на слабом огне, пошла, с кухонной лампой в руках, в горницу и стала у зеркала. В нем она увидела то, что желала увидеть: свежее, миловидное личико с голубовато-серыми глазами, — и умелыми пальцами быстро привела в порядок прическу. Затем еще раз отерла руки о передник, захватила лампу и отправилась на чердак.

Она легонько постучала в дверь каморки, и еще раз — чуть посильнее; так как ответа не последовало, она поставила лампу на пол и осторожно обеими руками приоткрыла дверь, чтобы та не скрипела. Затем на цыпочках вошла, сделала шаг-другой и нащупала стул у кровати.

— Вы спите? — спросила она вполголоса и повторила еще раз: — Вы спите? Я пришла только забрать посуду.

Так как все было по-прежнему тихо, не доносилось даже легкого дыхания, она протянула руку

к кровати, но, внезапно с испугом ее отдернув, выбежала за лампой. Теперь она увидела, что каморка пуста, а кровать тщательнейшим образом застелена, даже подушки и перина безупречно взбиты, — и растерянно вернулась в кухню, охваченная не то тревогой, не то разочарованием.

Полчаса спустя, когда дубильщик поднялся к ужину и сел за стол, она начала беспокоиться, но все никак не могла набраться храбрости и сказать мужу, что поднималась в каморку. Тут внизу как раз отворились ворота, легкие шаги простучали по мощеной дорожке, по ступеням витой лестницы, и Кнульп был тут как тут. Сняв с головы свою красивую коричневую шляпу, он пожелал всем приятного аппетита.

— Откуда ты? — удивленно воскликнул мастер. — То болен, а то бегает по ночам! Так и помереть недолго.

— Правда твоя, — согласился Кнульп. — Бог в помощь, госпожа Ротфус! Я, кажется, поспел вовремя. Запах вашей похлебки я учуял еще на рыночной площади, а уж отведав ее, помереть невозможно.

Сели на ужин. Хозяин был словоохотлив, он хвалился домом, хозяйством, званием мастера. Он поддразнивал гостя и затем вновь прини-

мался всерьез его убеждать, что пора бросить наконец вечные странствия и заняться делом. Кнульп слушал его и почти не отвечал, хозяйка тоже помалкивала. Она досадовала на мужа, он казался ей грубоватым в сравнении с изящным благовоспитанным Кнульпом, и свое благоволение к гостю она проявляла тем, что усердно подкладывала ему на тарелку. Когда пробило десять, Кнульп поднялся, пожелал хозяевам спокойной ночи и попросил дубильщика одолжить ему бритву.

— Ты, однако, чистоплотен, — похвалил Ротфус, давая бритву. — Чуть оброс — и сразу же бриться. Ну, доброй тебе ночи, поправляйся!

Прежде чем войти в каморку, Кнульп помедлил у маленького оконца на площадке чердачной лестницы, хотел еще раз взглянуть на местность и угадать завтрашнюю погоду. Ветер почти стих, между крышами виднелось черное небо, на нем влажным блеском мерцали яркие звездочки.

Только он хотел отодвинуться и захлопнуть оконце, как вдруг осветилось точно такое же в доме напротив. Он разглядел маленькую низкую каморку, во всем подобную его собственной, и дверь, в которую только что вошла молоденькая служанка; в правой руке она несла свечу в

медном подсвечнике, а в левой держала кувшин с водой, который тут же опустила на пол. Она осветила узкую девичью кровать, скромную и опрятную, уютно застланную грубошерстным красным одеялом. Затем поставила подсвечник — от Кнульпа ускользнуло, куда именно, — и уселась на низкий, выкрашенный зеленой краской сундучок, какой непременно есть у каждой служанки.

Как только перед его глазами начала разыгрываться эта неожиданная сцена, Кнульп загасил свою лампу, чтобы его не приметили, и выжидающе притаился у окошка.

Молодая девушка из каморки напротив была как раз того типа, который ему особенно нравился: лет восемнадцати — девятнадцати, не слишком высокая, с загорелым личиком, карими глазами и густыми темными волосами. Спокойное славное лицо ее глядело, однако, невесело, и вся она, притулившаяся на жестком зеленом сундучке, казалась такой пришибленной и унылой, что Кнульп, хорошо знавший жизнь и молодых женщин, догадался, что девушка эта со своим сундучком недавно на чужбине и тоскует по дому. Она сложила на коленях худые смуглые руки и, по-видимому, находила некоторое утешение

в том, чтобы перед сном посидеть спокойно на своем добре и повспоминать об уютной горнице в родимом доме.

Кнульп замер у окошка так же неподвижно, как и она в своей каморке, и со странным волнением всматривался в эту маленькую чужую жизнь, которая столь простодушно прятала свою трогательную грусть в тусклом свете огарка и не помышляла ни о каком зрителе. Приветливые карие глаза ее то глядели прямо, то затенялись длинными пушистыми ресницами, на смуглые, детски округлые щеки ложился красноватый отблеск, а худые юные руки, такие натруженные и усталые, всё медлили, казалось, выполнить последнюю назначенную на сегодня нетрудную работу — раздеть свою хозяйку — и неподвижно лежали на темно-синей холщовой юбке.

Наконец девушка вздохнула и подняла головку с тяжелыми, сколотыми узлом косами, задумчиво, но не менее озабоченно уставившись в пустоту, и низко наклонилась, чтобы развязать шнурки на ботинках.

Кнульпу не хотелось уходить, но продолжать наблюдение, в то время как бедная девушка собралась раздеваться, казалось ему непорядочным и даже жестоким. Он охотно бы ее окликнул, по-

болтал перед сном и утешил доброю шуткой, но он боялся, что она испугается и сразу же погасит свет, как только он что-нибудь крикнет.

Вместо этого он решил пустить в ход один из своих многочисленных талантов. Он начал свистеть, необыкновенно мелодично и нежно, как будто издалека, и насвистывал он песенку «Там на лугу зеленом всё мельница шумит», и песня эта звучала у него так нежно и так мелодично, что девушка заслушалась, даже не сознавая толком, что это и откуда, и только на третьем куплете выпрямилась, встала и подошла к окну.

Она высунула голову и прислушалась: Кнульп между тем продолжал свистеть. Некоторое время она покачивала головкой в такт, затем вдруг взглянула вверх и сразу поняла, откуда исходит музыка.

— Там кто-то есть? — вполголоса спросила она.

— Всего только подмастерье дубильщика, — последовал столь же тихий ответ. — Я не хотел бы мешать вам уснуть, барышня, просто я немного загрустил о доме и вспомнил песенку. Я знаю и другие — повеселее. Девонька, а ты тоже нездешняя?

— Я из Шварцвальда.

— Вот так удача, из Шварцвальда! И я оттуда,

оказывается, мы земляки. Как тебе нравится в Лехштеттене? Мне не слишком.

— Ой, пока я ничего не могу сказать, я здесь только восьмой день. Но мне тоже не очень нравится. А вы здесь давно?

— Всего три дня. Но землякам положено говорить друг другу ты, не так ли?

— Нет, я не могу, мы ведь еще совсем не знакомы.

— Это дело недолгое. Как говорится, гора с горой не сходится, а уж человек с человеком… Откуда же вы родом, фрейлейн?

— Да вы, наверно, и не слыхали.

— Как знать? Или это секрет?

— Из Ахтхаузена. Это всего только хутор.

— Красный хутор, верно? Перед ним на повороте стоит часовенка, а еще там есть мельница или лесопилка, не помню; у них живет большой такой рыжий сенбернар. Точно я говорю?

— Ну да, это Белло!

Когда она увидела, что он и вправду знает ее родные места и бывал там, недоверие и подавленность почти тотчас ее покинули, она оживилась и охотно вступила в беседу.

— А Андреаса Флика вы знаете? — быстро спросила она.

— Нет, я никого оттуда не знаю. Но держу пари, что это ваш батюшка.

— Верно.

— Так, значит, тогда вас зовут барышня Флик; если бы мне знать еще ваше имя, я бы мог послать вам открытку, когда опять забреду в Ахтхаузен.

— А вы уже собираетесь отсюда уходить?

— Нет, не собираюсь, хочу только узнать ваше имя, фрейлейн Флик.

— Что вы, ведь и вашего я тоже не знаю…

— Сожалею, но это легко исправить. Меня зовут Карл Эберхард, теперь, если мы встретимся среди бела дня, вы знаете, как меня окликнуть. А как мне вас величать?

— Барбара.

— Спасибо, вот и познакомились. Однако имечко ваше выговорить нелегко, бьюсь об заклад, что дома вас кличут Б*е*рбели.

— Точно так. Если вы все знаете, зачем тогда спрашиваете? Ну ладно, пора и прощаться. Спокойной ночи, дубильщик.

— Спокойной ночи, фрейлейн Бербели. Спите сладко, и раз уж вы тут, просвищу для вас еще одну песенку. Не убегайте, денег это не стоит.

И он принялся насвистывать, исполнив такую искусную мелодию на тирольский манер, с двой-

ными нотами и трелями, что она вся сверкала и искрилась, как плясовая музыка. Девушка подивилась такой виртуозности, а когда все замолкло, осторожно закрыла и заперла на задвижку ставень, а Кнульп впотьмах удалился в свою каморку.

На следующее утро Кнульп пробудился в самом бодром настроении и сразу же воспользовался бритвой дубильщика. Тот уже несколько лет как отпустил бороду, бритва так затупилась, что Кнульпу пришлось чуть ли не полчаса править ее на своем ремне, прежде чем ему удалось наконец побриться. Когда он с этим справился, он надел куртку, взял в руки башмаки и спустился в кухню, где было уже натоплено и откуда доносился аромат кофе.

Он попросил хозяйку дать ему ваксу и сапожную щетку, чтобы почистить башмаки, но она горячо запротестовала: «Да как же можно! Это не мужская работа. Позвольте уж мне». Он ей, однако, не позволил, и когда она с неловкой улыбкой все же подала ему сапожные принадлежности, принялся делать свое дело основательно, аккуратно, играючи, как человек, который берется за физическую работу редко и под настроение, но зато уж исполняет ее с великим тщанием и

любовью.

— Вот такую работу люблю, — похвалила его жена дубильщика. — Все блестит и сверкает, будто вы сейчас собрались на свидание с милой.

— Да я бы не прочь.

— Еще бы. Небось, она у вас симпатичная. — Опять засмеявшись, она спросила с настойчивой фамильярностью: — Может, и не одна?

— Нет, это было бы нехорошо, — с веселым осуждением, в лад ей отвечал Кнульп. — Да я могу и карточку показать.

Она с любопытством подошла ближе, он же, вытащив из кармана свой клеенчатый пакет, отыскал в нем изображение Дузе. С жадным интересом хозяйка разглядывала фото.

— Выглядит очень благородно, — осторожно похвалила хозяйка. — Настоящая дама. Конечно, немного тоща. А она у вас не больна?

— Насколько мне известно, нет. А теперь пойдемте поздороваемся с хозяином, я слышу, он уже встал.

Он прошел в горницу и обменялся приветствиями с дубильщиком. Там было чисто подметено, светлые деревянные панели, часы, зеркало и фотографии на стенах придавали комнате обжитой и приветливый вид. «Какая приятная комната, —

подумал Кнульп, — славно должно быть здесь зимой, но из-за этого жениться… пожалуй, что не стоит». Благосклонность, которую выказывала ему хозяйка, явно его тревожила.

Выпили кофе с молоком, после этого мастер Ротфус повел Кнульпа во двор и в сараи, чтобы показать ему свою дубильную мастерскую. Кнульп разбирался почти во всех ремеслах, его разумные понимающие вопросы удивили друга.

— Откуда тебе-то все это известно? — искренне недоумевал он. — Можно подумать, ты и впрямь подмастерье дубильщика или был им прежде.

— Когда странствуешь, чему не научишься, — степенно обронил Кнульп. — А что касается дубильного дела, тут ты сам был моим учителем, разве не помнишь? Шесть или семь лет назад, когда мы бродяжничали с тобой, ты мне все это рассказывал.

— И ты запомнил?

— Кое-что, Ротфус. А теперь не хочу тебе больше мешать. Жаль, я охотно бы тебе помог, но здесь так сыро и душно, а я все еще кашляю. До вечера, старина. Пойду поброжу по городу, пока нет дождя.

Когда он вышел со двора и неторопливой своей походкой зашагал переулком по направлению

к рыночной площади, сдвинув на затылок коричневую шляпу, Ротфус, стоя в воротах, долго смотрел, как легко и весело он шагает, блестя башмаками и заботливо обходя лужи.

«Неплохо ему живется», — подумал мастер не без зависти. Направляясь к яме с квасцами, он все продолжал размышлять о чудаке-друге, который хочет от жизни одного: быть зрителем; и Ротфус все не мог решить, что это скромность или притязательность. Человеку, который работает и всего достигает собственным трудом, конечно, во многих отношениях лучше, но, с другой стороны, у него никогда не будет таких нежных холеных рук, такой легкой упругой походки. Нет, Кнульп прав, он живет, как требует его натура и как редко кому удается, он простодушен, как дитя, и покоряет сердца, он одаривает комплиментами девушек и женщин и каждый день превращает в праздник. Пусть живет, как хочет, а ежели ему придется туго и потребуется крыша над головой, так надо за честь считать приютить его у себя и еще быть благодарным судьбе, ибо человек этот вносит в дом ясность и радость.

Тем временем гость весело и с любопытством осматривал город, лихо насвистывая солдатский марш; не спеша, обстоятельно разыскивал места

и людей, которых знавал прежде. По круто вздымавшейся вверх дороге он поднялся в предместье, где у него был знакомый портняжка, влачивший жалкое существование; никогда он не мог получить выгодных заказов и вечно латал старые штаны, хотя в юности кое-что умел, на многое надеялся и работал в солидных мастерских. Но он рано женился, пошли один за другим дети, а жена не очень-то ловко справлялась с хозяйством.

Портняжку по имени Шлотербек он отыскал на четвертом этаже в одном из задних дворов предместья. Маленькая мастерская под самой крышей висела над бездной, как птичье гнездо, потому что дом стоял на самом откосе, и если глядеть из окна, то глазу представали не только три этажа, но и крутой обрыв с отвесными садиками и травянистыми склонами, а ниже — серый лабиринт захламленных дворов с флигельками, курятниками, сарайчиками для коз и клетками для кроликов, так что ближайшие крыши домов видны были дальше этого запущенного участка, уже глубоко в долине, и казались совсем маленькими. Зато в портняжной мастерской было много света и вольно дышалось, и прилежный Шлотербек, сидя по-турецки на широком столе, парил над миром, как сторож на маяке.

— Привет, дружище, — входя, приветствовал его Кнульп, и мастер, щурясь от яркого света, некоторое время молча разглядывал вошедшего.

— О, да это Кнульп! — воскликнул он наконец, просияв, и протянул гостю руку. — Опять в наших краях? Интересно, чего это тебе понадобилось, не зря же ты забрался на мою верхотуру.

Кнульп придвинул к себе трехногий табурет и основательно на нем уселся.

— Одолжи мне иглу и коричневую нитку потоньше, я хочу кое-что подштопать и привести в порядок.

С этими словами он стянул с себя куртку и жилетку, подобрал нитку, вдел ее в иглу и зоркими глазами тщательно осмотрел свое платье, которое выглядело еще очень пристойным, почти что новым. Каждую будущую прореху, ослабевшую петлю, готовую оторваться пуговицу он закрепил, приладил прилежными ловкими пальцами.

— Как дела-то? — спросил Шлотербек. — Время года сейчас не из лучших. Но в конце концов, если человек здоров и нет семьи…

Кнульп протестующе кашлянул.

— Да, да, — начал он легко и небрежно. — Сказано ведь, господь посылает дождь на праведных и неправедных, только портняжки сидят в тепле.

А тебе по-прежнему не везет, Шлотербек?

— Ах, Кнульп, что я могу сказать? Слышишь, за стеной орут ребятишки, их у меня уже пятеро. Сидишь тут, надрываешься с утра до ночи, а денег все равно ни на что не хватает. А ты все разгуливаешь?

— Не угадал, старина. Четыре или пять недель провалялся в больнице в Нейштадте, а они там, сам знаешь, держат, только покуда крайняя нужда, не дольше. Да, поистине неисповедимы пути господни, дружище Шлотербек!

— Ах, брось ты эти свои изречения!

— Ты что, все былое благочестие растерял? А меня как раз потянуло на благочестие, потому-то я к тебе и пришел. Как у тебя с этим, старина Шлотербек?

— Оставь меня в покое с твоим благочестием! Ишь ты, пролежал в больнице. Сочувствую.

— Не стоит, уже прошло. А теперь ответь: как это там говорится в книге сына Сирахова и в Откровении Иоанна? Знаешь, в больнице у меня было вдосталь времени, и Библия была под рукой, я почти все прочитал, могу теперь вести с тобой диспут. Ох и забавная же это книга, Библия!

— Вот тут ты прав. В самом деле забавная, и больше половины вранья, потому что одно с дру-

гим не сходится. Да ты, верно, лучше меня во всем этом разбираешься, ты ведь был в гимназии.

— Давно все забыл.

— Видишь ли, Кнульп… — Портной плюнул за окно в бездну и затем поглядел вниз ожесточенно и с досадой. — Видишь ли, Кнульп, ни черта не стоит все это благочестие. Ни черта, я плюю на него, говорю тебе честно! Плевать я на него хотел!

Бродяга задумчиво глядел на него.

— Так, так, крепко сказано, старина. Но сдается мне, в Библии есть и неглупые вещи.

— Это верно, но полистай дальше, и наткнешься на прямо противоположное. Нет, я с этим покончил, раз и навсегда.

Кнульп встал и поискал глазами утюг.

— Не подкинешь ли мне уголька? — попросил он.

— Зачем?

— Хочу подгладить куртку, да и шляпе моей это не повредит после всех дождей.

— Как всегда, с иголочки, — с некоторой даже досадой заметил Шлотербек. — И чего, спрашивается, прихорашиваешься, словно граф, если сам всего-навсего нищий бродяга!

Кнульп спокойно улыбнулся.

— Просто так красивее, и у меня от этого лучше на душе. А не хочешь помочь из благочестия, так помоги просто как добрый малый, по старой дружбе, идет?

Портной ненадолго вышел и вернулся с раскаленным утюгом.

— Вот и хорошо, — обрадовался Кнульп. — Спасибо тебе.

Он начал осторожно разглаживать края шляпы, но поскольку справлялся он с этим неважно, не так, как прежде со штопкой, портной выхватил у него утюг и сделал все сам.

— Это мне нравится, — благодарно сказал ему Кнульп. — Опять шляпа прямо-таки воскресная. Но послушай, портной, от Библии ты требуешь слишком многого. Что есть истина, как жить на свете, — до этого каждый должен дойти сам, из книг этого не вычитаешь — вот каково мое мнение. Библия — книга древняя, раньше не знали всего того, что знают и могут теперь; но есть в ней и очень много прекрасного и честного, очень много справедливого. Знаешь, порою она мне кажется вроде детской книжки с картинками: вот девушка Руфь бредет через поле[1] и подби-

---

[1] Примечания: 1
Ветхий завет, Кн. Руфь.

рает колоски — как это славно, так и чувствуешь лето, жару; или Спаситель присаживается к детишкам[2] и думает про себя: насколько же вы мне милее, чем взрослые с их чванством! Думаю, здесь-то он прав, этому у него можно поучиться.

— Да, вероятно, — нехотя согласился Шлотербек, все еще не желая сдаваться. — Но все же насколько проще иметь дело с чужой ребятней, чем со своими, да еще когда их пятеро и не знаешь, чем их накормить.

Он снова ожесточился, и Кнульпу было тяжело на него смотреть. Ему захотелось на прощание сказать портняжке что-нибудь доброе. Он немного подумал, затем наклонился к Шлотербеку, поглядел на него своими светлыми серьезными глазами и тихонько прошептал:

— Послушай, ты их совсем не любишь, что ли, своих ребятишек?

Портной испуганно от него отпрянул.

— С чего ты взял? Люблю, конечно, особенно старшего.

Кнульп удовлетворенно кивнул.

— Ну, мне пора, Шлотербек, очень тебе благодарен. Жилетка прямо как новая. А с детьми я

---

[2] Примечания: 2
Имеется в виду евангельский эпизод благословения детей Христом.

тебе посоветую вот что: будь с ними поласковее, повеселее, и они уже наполовину сыты. А еще я тебе кое-что расскажу, чего никто на свете не знает и что ты должен хранить в секрете.

Его светлые глаза смотрели серьезно, он говорил так тихо, что покоренный им мастер с трудом различал слова.

— Погляди на меня! Ты, верно, мне завидуешь и думаешь про себя: ему-то легко, ни семьи, ни забот! На самом деле все обстоит не так. Представь себе, у меня есть сын, двухлетний мальчуган, его усыновили чужие люди, потому что никто не знал, кто его отец, а мать померла родами. Тебе не требуется знать, в каком это городе, но я знаю, и когда прихожу туда, я прокрадываюсь к тому дому, часами стою у забора и, ежели мне очень повезет и я увижу малыша, не смею даже протянуть ему руку и поцеловать, самое большее — мимоходом что-нибудь ему просвищу. Да, вот так-то, а теперь адью, и радуйся, что твои дети с тобой!

Кнульп продолжал бродить по городу; он постоял у окна столярной мастерской, любуясь, как быстро разлетаются в стороны кудрявые стружки, он поприветствовал мимоходом помощника полицейского, который благоволил к нему и да-

же дал ему понюхать табачку из своей березовой табакерки. Повсюду он собирал большие и малые новости из жизни семей и цехов, услышал о безвременной кончине жены городского казначея, о том, какой непутевый сын у бургомистра, а взамен рассказывал истории про другие места и радовался слабым причудливым нитям, которые, оказывается, связывают его как знакомца и посвященного с миром известных и почтенных людей. День был субботний, в воротах пивоварни он наткнулся на подмастерьев бочара и захотел у них узнать, не будет ли сегодня и завтра вечером случай потанцевать.

Сколько угодно, а лучшее место — трактир «Лев» в Гертельфингене, всего полчаса ходу. Именно туда он и решил пригласить юную Бербели из дома напротив.

Время уже близилось к обеду, и когда Кнульп поднимался по лестнице Ротфуса, в нос ему ударил приятный щекочущий аромат из кухни. Он остановился и радостно, с мальчишеским любопытством втянул в себя воздух чуткими ноздрями. Как ни тихо он вошел, его услышали, жена мастера распахнула кухонную дверь и стала в светлом проеме, окутанная заманчивыми парами.

— Здравствуйте, здравствуйте, господин Кнульп, — ласково заговорила она. — Как удачно, что вы пришли вовремя. Видите ли, у нас сегодня на обед печеночные клецки, и я подумала: может, вам поджарить отдельно кусочек печенки, если вы так больше любите? Что скажете?

Кнульп погладил подбородок и галантно поклонился.

— Да нет, упаси бог, зачем мне готовить особо, мне и супа за глаза довольно.

— Когда человек болен, его надобно хорошо кормить. Откуда он иначе возьмет силы? Но, может, вы вообще не любите печенку? Есть и такие.

Он скромно улыбнулся.

— Нет, я не из них, миска печеночных клецок — это же праздничная еда, дай бог мне каждое воскресенье такую.

— У нас вы не должны ни в чем нуждаться. Зачем же тогда было учиться стряпать? Но ответьте мне все же; вот кусочек печенки, я для вас его сберегла. Это бы вам не повредило.

Женщина подошла ближе и зазывно поглядела ему прямо в глаза. Он понимал, к чему она ведет, и была она к тому же прехорошенькой, но он делал вид, что ничего не понимает. Поигрывая своей красивой шляпой, которую ему так отлич-

но отгладили, он смотрел в сторону.

— Спасибо, сударыня, на добром слове. Но клецки я, право же, люблю больше. Я уж и так вами разбалован.

Она засмеялась и погрозила ему пальцем.

— Не надо прикидываться таким тихоней, я вам не верю. Значит, пусть будут клецки, и лучку побольше, так?

— Отказаться свыше моих сил.

Она озабоченно вернулась к плите, а он прошел в горницу, где все уже было накрыто. Он сидел там и читал вчерашний еженедельник, пока не пришел мастер и не подали супа. Поели, потом втроем перекинулись в карты; Кнульп привел в изумление хозяйку новомодными ловкими и занимательными карточными фокусами. Он умел также с небрежностью заправского игрока тасовать и сдавать карты, клал карту на стол с элегантной легкостью, и время от времени его большой палец лихо перебирал карты, скользя по краю колоды. Мастер смотрел на это с восхищением и снисходительностью, подобно тому как рабочий или бюргер глядит на любое не приносящее заработка уменье. Жена его, напротив, оценивала все проявления светских талантов Кнульпа увлеченно и со знанием дела. Ее взгляд

беспрестанно останавливался на его длинных белых кистях рук, не изуродованных тяжелой работой.

Сквозь маленькие оконца в комнату неуверенно пробивался вечерний солнечный луч, падал на стол и на карты, причудливо и бессильно перемежал светлые блики на полу с серыми расплывчатыми тенями, подрагивал легкими паутинками на голубом оштукатуренном потолке. Кнульп жмурился, вбирая в себя все это взглядом: игру февральского солнца, уют тихого дома, честное достойное лицо мастера Ротфуса и тайные взгляды, которые бросала на него хорошенькая жена друга. Последнее его не радовало, он отнюдь к этому не стремился. «Был бы я только здоров, — думал он, — да лето бы на дворе стояло — и часу бы здесь не остался».

— Пойду захвачу последнее солнышко, — сказал он, когда Ротфус смешал карты и посмотрел на часы. Вместе с мастером он спустился по лестнице, оставил его в сарайчике, где сушились кожи, и побрел в глубь пустынного участка, заросшего травой, на котором там и сям чернели ямы с дубильным раствором. Добравшись до небольшой речки, где дубильщик соорудил мостки для замачиванья кож, Кнульп уселся на досках, свесив

ноги над привольно и быстро текущей водой, и с удовольствием наблюдал за юркими темными рыбешками, которые сновали прямо под ним, а затем стал с любопытством изучать местность, так как искал возможности повстречаться с молоденькой служанкой из соседнего дома.

Участки двух домов вплотную примыкали друг к другу, разделенные лишь шатким заборчиком из штакетника; внизу, у воды, где столбы давно уже подгнили и упали, можно было беспрепятственно проникнуть к соседям. Соседский участок казался более ухоженным по сравнению с пустынным, заросшим травой участком дубильщика. Там виднелись четыре грядки, на которых господствовали сорняки; грядки сильно осели, как всегда бывает после зимы. На двух из них торчали редкие кустики латука и перезимовавшего шпината; розовые кусты стояли поникшие, с вкопавшимися в землю верхушками. Перед самым домом, скрывая его от посторонних взглядов, росло несколько живописных сосен.

Кнульп, осмотрев чужой сад, бесшумно вторгся в него и прошел до самых сосен и теперь, стоя между деревьями, мог разглядеть дом, кухню, выходящую во двор, и не прошло и нескольких минут, как он увидел девушку с засученными

рукавами, исполнявшую кухонную работу. Хозяйка была тут же, она беспрестанно отдавала приказы и поучала, как это водится у всех хозяек, не желающих оплачивать обученную прислугу и берущих ежегодно сменяющихся учениц, которых они усердно нахваливают после их ухода. Ее воркотня и сетования звучали, однако, довольно беззлобно, казалось, девушка к ним уже привыкла, так как она спокойно и с ясным лицом продолжала делать свое дело.

Незваный гость прислонился к стволу и вглядывался, вытянув голову, любопытный и чуткий, как охотник; он прислушивался терпеливо и без досады, ибо время его стоило дешево и он давно уже привык к своей роли — быть в жизни только слушателем, зрителем, посторонним. Ему было приятно глядеть на девушку, когда она показывалась в окне; по выговору хозяйки он заключил, что родом она не из Лехштеттена, а из долины повыше, часах в двух пути. Он стоял неподвижно, пережевывая пахучую еловую веточку, стоял полчаса и час, покуда хозяйка не удалилась из кухни и все не затихло.

Он выждал еще немного, затем осторожно двинулся вперед и постучал сухой веткой в окно кухни. Служанка не обратила на это внимания,

пришлось постучать еще дважды. Тогда она подошла к приоткрытому окну, распахнула его и выглянула наружу.

— Ой, да что вы тут делаете? — вполголоса воскликнула она. — Я чуть было не испугалась, право.

— Чего меня бояться? — улыбаясь, сказал Кнульп. — Хотел поздороваться с вами и посмотреть, как идут дела. И поскольку сегодня суббота, осмелюсь спросить: если вы завтра вечером свободны, то не согласитесь ли со мною немного прогуляться?

Она взглянула на него и отрицательно покачала головой, а он в ответ состроил такое безнадежно огорченное лицо, что ей сделалось его жалко.

— Нет, — дружелюбно объяснила она. — Завтра я не свободна — только ненадолго утром, чтобы сходить в церковь.

— Так, — пробормотал он. — Тогда, может, сегодня вечером сходим, сегодня-то вы свободны.

— Сегодня вечером? Да, я свободна, но я собираюсь еще писать письмо моим старикам.

— Напишете попозднее, вечером оно все равно никуда не уйдет. Знаете, мне так бы хотелось опять с вами поговорить; сегодня вечерком, если

только хляби небесные не разверзнутся, мы бы славно погуляли. Ну пожалуйста, ну будьте так добры! Вы же меня не боитесь?

— Не боюсь я никого, а уж вас тем паче. Только нельзя. Увидят, что я с мужчиной…

— Но, Бербели, вас же здесь никто не знает. И никакой это не грех, и никому до нас дела нет. Вы ведь уже не школьница, разве не так? Не забудьте, ровно в восемь жду вас у гимнастического зала, где ограда скотного рынка. Или мне пораньше прийти? Я могу.

— Нет, нет, не раньше. Вообще… не надо вам вовсе приходить, не смогу я, нельзя…

У него снова сделалось по-мальчишески огорченное лицо.

— Ну, уж если никак не можете, — сказал он печально. — А я-то думал, вы здесь одна, на чужой стороне, я тоже один, нам нашлось бы что рассказать друг другу; я бы с удовольствием послушал еще про Ахтхаузен — я ведь там был. Ну что же, принуждать я вас не могу, и вы тоже на меня не обижайтесь.

— Что вы, я совсем на вас не обижаюсь. Только я никак не могу.

— Но вы же свободны сегодня вечером, Бербели. Вы просто не хотите. Может, еще передумаете?

Сейчас мне пора, а вечером жду вас у зала; если не придете, поброжу один и буду думать про вас, как вы пишете письмо в Ахтхаузен. Адью, не поминайте лихом.

Он кивнул ей и исчез, прежде чем она успела ответить. Она заметила только, как он быстро мелькнул между деревьями, и выражение лица у нее сделалось растерянным. Затем она снова принялась за работу и вдруг хозяйки-то близко не было — громко и мелодично запела.

Кнульп это слышал. Он снова сидел на мостках на участке дубильщика и скатывал хлебные шарики из того ломтя, что припрятал за обедом. Шарики он тихонько бросал в воду, один за другим, и задумчиво следил, как они медленно погружались, слегка относимые течением, и как у самого темного дна их хватали бесшумные призрачные рыбы.

— Итак, — объявил дубильщик во время ужина, — сегодня у нас суббота, ты и представить себе не можешь, как это прекрасно, после того как всю неделю не даешь себе передышки.

— Представить-то я могу, — улыбнулся Кнульп, и хозяйка подхватила его улыбку, бросив на него исподтишка лукавый взгляд.

— Сегодня вечером, — продолжал дубильщик

торжественным тоном, — сегодня вечером мы разопьем добрый кувшин пива, — ты ведь поднесешь нам, старушка? А завтра, если погода будет хорошая, мы все втроем отправимся на прогулку. Что скажешь?

Кнульп дружески похлопал его по плечу.

— Скажу, что ты все отлично придумал, я заранее радуюсь прогулке. Но вот сегодня вечером, знаешь, к сожалению, я занят: у меня здесь есть друг, я непременно должен его повидать — он работал в верхней кузне и утром уходит из города. Мне, право, жаль, но ведь завтра мы целый день будем вместе, иначе я бы все отменил.

— Но не пойдешь же ты сейчас к нему, на ночь глядя, ты ведь еще и не выздоровел.

— Пустое, слишком разнеживать себя тоже не годится. Я вернусь не поздно. А куда вы кладете ключ, чтобы можно было попасть в дом?

— Ну и упрям же ты, Кнульп! Ладно уж, иди, а ключ мы положим за ставнем. Знаешь, где это?

— Конечно. Ну, так я пойду. Ложитесь спать вовремя. Спокойной ночи! Спокойной ночи, сударыня!

Он вышел, и когда уже был в воротах, хозяйка торопливо его догнала. Она принесла зонтик, Кнульп непременно должен его взять, желает он

того или нет.

— Вам надобно поберечь себя, Кнульп, — сказала она. — А теперь я вам покажу, где будет лежать ключ.

В темноте она взяла его за руку и повела за угол дома, остановившись перед подвальным окошком, прикрытым деревянным ставнем.

— Вот здесь мы кладем ключ, — сказала она взволнованным шепотом и легонько погладила его руку. — Нужно только просунуть пальцы в прорезь, он лежит на карнизе.

— Вот как, большое спасибо, — смущенно ответил Кнульп, пытаясь освободить руку.

— Принести вам пива наверх перед вашим приходом? — снова зашептала она, легонько к нему прижимаясь.

— Нет, благодарю покорно, я обычно не пью на ночь пива. Спокойной ночи, госпожа Ротфус, еще раз большое спасибо.

— Чего это вам так не терпится? — сказала она нежным укоряющим шепотом и ущипнула его за руку. Ее лицо придвинулось сейчас совсем близко к его лицу, и в неловкой тишине, не решаясь применить силу, он провел рукой по ее волосам.

— Ну, а теперь мне пора, — внезапно громко объявил он и отступил назад.

Она улыбнулась, слегка приоткрыв рот, он видел, как во тьме белеют ее зубы. Совсем тихо она сказала: «Я подожду, пока ты вернешься. Ты милый».

Он быстро зашагал прочь по темной улице, неся зонтик под мышкой; на ближайшем перекрестке он засвистал, чтобы освободиться от дурацкого смущения. Свистал он такую песню:

Ты ждешь меня напрасно,
Тебе я не гожусь.
С тобою, распрекрасной,
И выйти постыжусь.

Воздух был все еще теплый, сырой, на черном небе временами проступали звезды. В трактире шумел молодой народ в преддверии воскресенья, в «Павлине» в окнах нового кегельбана он увидал много господ: они толпились, засучив рукава, взвешивая на руке шары, зажав в зубах сигары.

У гимнастического зала Кнульп остановился и огляделся. В голых каштанах глухо гудел сырой ветер, где-то в черной тьме неслышно текла река и слабо отражала два-три светлых окошка. Бродяга всеми фибрами души впивал в себя благодать этого теплого вечера; принюхиваясь, втягивал в себя воздух, предвкушая весну, тепло, сухие доро-

ги и новые странствия. Его неисчерпаемая память озирала город, долину реки, округу — он знал ее всю, дороги и русла рек, деревни, хутора и усадьбы, гостеприимные ночлеги. Он напряженно все обдумывал, составляя в уме план ближайшего странствия, ибо его пребыванию в Лехштеттене пришел конец. Ему только хотелось, если хозяйка не будет слишком уж назойлива, провести здесь ради друга еще это последнее воскресенье.

«Может быть, — думал он, — следовало бы намекнуть дубильщику насчет его женушки». Но он не любил вмешиваться в чужие дела, не стремился помочь людям сделаться умнее и лучше. Ему было жаль, что все так вышло, и думал он о бывшей кельнерше из «Быка» без всякой приязни; в то же время он с легкой насмешкой припоминал и степенные речи дубильщика о домашнем очаге и семейном счастье. Он уже знал: если кто кичится и похваляется счастьем или добродетелью, значит, пиши пропало: ведь и с благочестием его друга портняжки когда-то было то же самое. Можно наблюдать людскую глупость, можно смеяться над ней или чувствовать к ней сострадание, но не надо мешать людям идти своей дорогой.

С задумчивым вздохом он отстранил от себя эти

заботы и, втиснувшись в дупло старого каштана, что рос прямо напротив моста, продолжал обдумывать предстоящее путешествие. Хорошо бы пострaнствовать по Шварцвальду, но, пожалуй, в горах еще холодно и много снегу, чего доброго, погубишь башмаки, да и возможные пристанища там далеко одно от другого. Нет, ничего из этого не выйдет, придется идти долинами и держаться поближе к городам. На Оленьей мельнице, часа четыре отсюда вниз по реке, наверняка приютят его и в случае ненастья позволят задержаться на день-другой.

Пока он стоял так во тьме, погруженный в свои думы, почти позабыв, что кого-то ждет, посередине моста на сквозном ветру показалась маленькая боязливая фигурка и начала робко приближаться. Он узнал ее сразу, радостно и благодарно побежал ей навстречу и снял шляпу.

— Как славно, что вы пришли, Бербели! Я уж почти не надеялся.

Он пристроился слева от нее и повел ее вверх по аллее берегом реки. Она все еще не могла прийти в себя от смущения и робости.

— Не надо бы мне приходить, — снова и снова повторяла она. — Хоть бы никто нас не встретил!

У Кнульпа, однако, было множество вопросов

на языке, и постепенно походка девушки сделалась ровнее и смелее, наконец она зашагала рядом с ним легко и бодро, как старый товарищ; согретая его вопросами и участливыми репликами, она горячо и жадно рассказывала ему о родных местах, об отце с матерью, о братце и о бабушке, об утках и курах, о недороде и болезнях, о свадьбах и об освящении церкви. Ее небольшой запас жизненных впечатлений раскрылся и оказался куда обширнее, чем она сама предполагала, и вот уже дело дошло до ее найма на работу, прощания с домом, до ее теперешнего места и привычек хозяев.

Они давно вышли из городка, но Бербели этого не заметила — она вовсе не обращала внимания на дорогу. Болтая, она как бы освобождалась от гнета долгой беспросветной недели молчания и терпения в чужом доме, — и постепенно совсем развеселилась.

— Где это мы? — вдруг воскликнула она с удивлением. — Куда мы идем?

— Если вы не возражаете, мы идем в Гертельфинген, почти что пришли.

— Гертельфинген? А что нам там делать? Не лучше ли повернуть назад, уже поздно.

— Когда вы должны быть дома, Бербели?

— Да в десять, не позднее. Мы так славно прогулялись!

— До десяти еще много времени, — сказал Кнульп, — я уж позабочусь, чтобы вы не опоздали. И раз мы так скоро снова не встретимся, может, рискнем, станцуем один танец? Или вы не любите танцевать?

Она взглянула на него изумленно и с любопытством.

— Танцевать-то я очень люблю. Но где же? Здесь, ночью, в темноте?

— Как вам уже известно, мы сейчас придем в Гертельфинген, а там в трактире «Лев» всегда есть музыка. Мы можем туда зайти, станцуем один-единственный танец и сразу домой, будет о чем вспомнить.

Бербели в раздумье остановилась.

— Как бы это было весело, — проговорила она. — Но что о нас подумают? Я не хочу, чтобы меня сочли за таковскую… или чтобы решили, что мы с вами парочка.

Она вдруг задорно рассмеялась и громко воскликнула:

— Если уж я выберу себе когда-нибудь милого дружка, он ни за что не будет дубильщиком! Не хочу вас оскорбить, но у дубильщика такая

грязная работа.

— В этом вы, возможно, правы, — добродушно ответил Кнульп. — Но ведь вы не замуж за меня собираетесь. Да и ни одна душа здесь не знает, что я дубильщик и что вы такая гордая; руки я отмыл дочиста, так что если вы не прочь со мной потанцевать, я вас приглашаю. Если нет, воротимся назад.

В темноте из-за кустов показался первый дом деревни со светлым фронтоном. Кнульп вдруг прошептал: «Тс-с!» — и поднял палец, и они услышали доносившуюся из деревни музыку — звуки гармоники и скрипки.

— Ну, вперед! — засмеялась девушка, и оба прибавили шагу.

Во «Льве» танцевали четыре или пять пар, все молодежь. Кнульп их не знал. Было спокойно и прилично, никто не докучал незнакомой парочке, вставшей в ряд в начале очередного танца. Они сплясали лендлер и польку, затем на очереди был вальс, который Бербели танцевать не умела. Они смотрели на танцующих и выпили немного пива — на большее у Кнульпа не хватило наличности.

Бербели разгорячилась от танца и оглядывала маленький зал блестящими от возбуждения

глазами.

— Кажется, теперь нам пора возвращаться, — напомнил ей Кнульп в половине десятого.

Она встрепенулась и сразу же погрустнела.

— Как жаль, — сказала она тихо.

— Можно побыть еще немного.

— Нет, нужно идти. Как было чудесно!

Они направились к выходу, в дверях девушка вдруг вспомнила:

— Мы же ничего не дали музыкантам.

— Да, — несколько смущенно отозвался Кнульп. — Они заслужили уж не меньше, чем двадцать пфеннигов, но, к сожалению, дела мои таковы, что у меня и пфеннига нет.

Она засуетилась и вытащила из кармана маленький вышитый кошелек.

— Что же вы сразу не сказали? Вот двадцать пфеннигов, дайте им!

Он взял монетку и отнес ее музыкантам, затем они вышли и некоторое время стояли у входа, пока в глубокой тьме не начали различать дорогу. Ветер усилился и приносил отдельные дождевые капли.

— Раскрыть зонтик? — спросил Кнульп.

— Нет, при таком ветре мы с места не сдвинемся. Как славно провели время! Дубильщик, а вы

танцуете, как танцмейстер!

Она радостно и непринужденно болтала. Ее спутник, однако, притих, видимо, устал, а может быть, страшился предстоящего прощанья.

Внезапно она запела: «Кошу я на Неккаре, на Рейне траву…» Голос у нее был грудной и чистый, на втором куплете Кнульп присоединился к ней и так уверенно повел второй голос, так низко и красиво, что она слушала его с удовольствием.

— Ну что, тоска по дому немножко меньше? — спросил он в конце.

— Еще бы, — засмеялась она. — Давайте еще разок так погуляем.

— Очень сожалею, — ответил он совсем уже тихо. — Но на этом все и закончится.

Она остановилась. Она не все расслышала, но ее поразил скорбный тон его голоса.

— Но почему же? — спросила она с легким испугом. — Не угодила я вам чем-нибудь?

— Нет, Бербели. Но завтра я ухожу, я взял уж расчет.

— Да что вы такое говорите? Это правда? Как мне жалко.

— Обо мне вам жалеть не стоит. Долго я бы все равно здесь не пробыл, а потом — я ведь всего только дубильщик. А вы скоро заведете себе ми-

лого дружка, самого прехорошего, и тогда вам совсем уже не придется скучать по дому, вот увидите.

— Не надо так говорить. Вы же знаете, что вы мне очень понравились, хоть вы и не мой дружок.

Они помолчали, ветер завывал им прямо в лицо. Кнульп замедлил шаг. Они были уже у моста. Наконец он совсем остановился.

— Я хочу здесь с вами попрощаться, так будет лучше. Здесь уж рядом, дальше доберетесь одна.

Бербели глядела на него с искренним огорчением.

— Значит, вы всерьез говорили. Тогда я хочу вас поблагодарить. Я никогда этого не забуду. Желаю вам счастья.

Он взял ее руку и прижал к себе; затем, видя, как она смотрит на него, испуганно и удивленно, вдруг обхватил обеими руками ее голову с намокшими от дождя косами и зашептал:

— Адью, Бербели. На прощанье хочу вас только разочек поцеловать, чтобы вы меня не сразу забыли.

Она вздрогнула и попыталась освободиться, но его взгляд был добрым и печальным, и она только теперь заметила, какие красивые у него глаза. Не

зажмуриваясь, она серьезно приняла поцелуй и, поскольку он медлил с рассеянной слабой улыбкой, сердечно поцеловала его в ответ.

Затем быстро пошла прочь и была уже на мосту, но внезапно передумала и возвратилась.

— В чем дело, Бербели? — спросил он. — Вам пора домой.

— Да, да, сейчас пойду. Вы не должны думать обо мне плохо.

— Я и не думаю.

— Я хочу спросить вас, дубильщик, как же так, вы сказали, что у вас нет денег. Вы получите еще жалованье до ухода?

— Нет, жалованья я больше не получу. Но это ничего, как-нибудь уж обойдусь, не тревожьтесь.

— Нет, нет. Что-нибудь да должно у вас быть про запас. Вот!

Она сунула ему в руку крупную монету, он почувствовал, что это не меньше, чем талер.

— Вы мне сможете отдать когда-нибудь или прислать.

Он задержал ее руку.

— Так не годится, Бербели. Не пристало так обращаться с деньгами. Подумать только, целый талер! Возьмите обратно! Нет, непременно! Вот так! Не нужно делать глупости. Вот если бы у вас

была при себе какая-нибудь мелочь пфеннигов пятьдесят, я бы взял, у меня сейчас и правда ничего нет. Но не больше.

Они еще немного поспорили, и Бербели пришлось раскрыть свой кошелек, так как она утверждала, что у нее нет при себе ничего, кроме талера. Это оказалось неправдой, у нее была марка и маленькая серебряная монетка в двадцать пфеннигов, которая тогда еще имела хождение. Он согласился было взять монетку, но это ей показалось слишком мало, тогда он вообще отказался что-либо брать и хотел уйти, но в конце концов взял марку, и она опрометью бросилась бежать к дому.

При этом она все время думала, почему он не пожелал еще раз ее поцеловать. Это обстоятельство то причиняло ей огорчение, то, напротив, представлялось особенно добрым и благородным — на этом последнем она и остановилась.

Час спустя Кнульп возвратился в дом Ротфуса. Он увидел наверху в горнице свет — это значило, что хозяйка сидит и ждет его. Он даже плюнул с досады и готов был тотчас, невзирая на поздний час, уйти прочь. Но он сильно устал, на дворе собирался дождь, и неприятно было так обижать дубильщика, а кроме того, он вдруг почувствовал

охоту сыграть небольшую шутку.

Он выудил ключ из укрытия, осторожно, как вор, отпер входные двери, запер их тихонько, со сжатыми губами, заботливо положив ключ на прежнее место. Затем поднялся по лестнице в одних носках, держа башмаки в руке, увидел полоску света, пробивающуюся из-под двери, и услышал, как протяжно дышит на канапе хозяйка, заснувшая от долгого ожидания. Он неслышно пробрался в каморку, тщательно заперся изнутри и улегся в постель. Но уж завтра, решено, он уходит.

Мои воспоминания о Кнульпе

Это было в пору моей прекрасной юности, и Кнульп тогда был еще жив. Мы странствовали, он и я, не зная забот, в разгар жаркого лета по плодородной местности. Днем мы медленно брели вдоль пожелтевших хлебов, либо отлеживались в тени под кустом орешника или на лесной опушке; вечером я слушал обычно, как Кнульп рассказывал крестьянам удивительные истории, показывал ребятишкам китайские тени и пел девушкам песни, которых знал без счета. Я с удовольствием его слушал и нисколько ему не завидовал, только порой, когда он оживленный стоял в кольце девушек и смуглое лицо его светилось радостью, а молодые барышни, хоть и шутили и насмешничали, провожали его упорными взглядами, мне казалось, что либо Кнульп редкий счастливчик, либо, наоборот, мне особенно не везет, и я незаметно отходил в сторонку, чтобы не быть в тягость, напрашивался на визит к какому-нибудь священнику ради умной беседы или ночлега, а то надолго усаживался в трактире, потягивая вино.

Помню, как-то в послеполуденные часы мы

подошли к одинокому кладбищу с часовенкой, затерявшемуся вдали от деревень, среди полей; оно было окружено каменной стеной, через которую перевешивались темно-зеленые кусты, и среди голой жаркой долины от него веяло необыкновенной прохладой и миром. У решетчатых железных ворот росли два высоких каштана, ворота были заперты, и я уж хотел пройти мимо, но Кнульп этому воспротивился. Он проявил явное намерение перелезть через стену.

Я спросил его удивленно:

— Что, снова отдыхаем?

— Именно, именно, у меня прямо ноги отваливаются.

— И не иначе как на кладбище?

— Самое подходящее место, только полезай за мной. Понимаешь, крестьяне — народ непривередливый, но уж под землей они хотят лежать со всеми удобствами. Тут они труда не жалеют и чего только не сажают на могилы и вокруг них.

Я взобрался вместе с ним на стену и увидел, что он прав. Явно стоило перелезть через эту ограду. Внутри во все стороны тянулись неровные ряды могил с белыми деревянными крестами, а вокруг них было такое изобилие зелени — настоящий цветник. Ярко пламенели вьюнки и герань, в

тенистых местах еще доцветали желтофиоли, розовые кусты были полны роз, а сирень и бузина были толстые и пышные, как деревья.

Некоторое время мы все это рассматривали, затем расположились в траве, местами очень высокой и еще не отцветшей, и уютно разлеглись на ней, ощущая прохладу и блаженство.

Кнульп прочитал нарисованное на ближайшем кресте имя и сказал:

— Его звали Энгельберт Ауэр, ему было за шестьдесят. Зато теперь он лежит среди резеды, — до чего же благородный цветок! — и ему хорошо. Я бы тоже мечтал когда-нибудь лежать среди резеды, — а покуда возьму с собой один цветок.

Я возразил:

— Оставь их, сорви что-нибудь другое, резеда быстро вянет.

Он тем не менее тут же сломал цветок и воткнул его в свою шляпу, лежавшую рядом на траве.

— Как здесь тихо! — вымолвил я.

— Да, тихо. Еще бы немного потише, и мы услышали бы, как разговаривают те, что лежат под землей.

— Ну нет. Они уже свое отговорили.

— Как знать? Считается, что смерть — это сон, а во сне ведь разговаривают, даже поют иногда.

— Это уж ты будешь петь в свое время.

— А почему бы и нет? Ежели я помру, обязательно дождусь воскресенья: придут девушки, и только сорвут цветочек с могилы, как я сразу же начну тихонечко петь.

— Вот как? И что же ты будешь петь?

— Да какую-нибудь песню.

Он растянулся на земле, прикрыл глаза и стал напевать тоненьким детским голоском:

Я умер рано по весне.
О барышни, пропойте мне
Песню на прощанье.
Тогда я снова возвращусь,
Тогда я снова возвращусь
Пригожим парнем к вам.

Я невольно расхохотался, хотя песенка мне понравилась. Он пел ее хорошо и с чувством, и, хотя слова были порой чуть ли не бессмысленны, мелодия была исполнена благородства и все скрашивала.

— Кнульп, — сказал я ему, — не обещай барышням слишком много, иначе они и слушать тебя не захотят. Возвратиться было бы неплохо, но ни один человек этого не знает, и еще вопрос,

будешь ли ты тогда снова пригожим парнем.

— Ты прав, это вопрос. Но как бы мне этого хотелось! Помнишь, позавчера мы встретили мальчонку с коровой, мы еще дорогу у него спрашивали. Таким вот мальчонкой я и хотел бы вернуться. А ты разве нет?

— Я — нет. Я часто вспоминаю одного старика, ему уже за семьдесят, а глаза у него такие добрые и спокойные, что мне кажется, все в нем — ум, доброта и покой. Мне иногда приходит в голову, что вот таким стариком мне хотелось бы стать.

— Ну, тебе еще придется малость подождать. Вообще странная вещь желания. Если бы мне сейчас достаточно было кивнуть, чтобы стать тем мальчонкой, а тебе достаточно было бы кивнуть, и ты бы стал тем ласковым кротким стариком, я уверен — ни один из нас не кивнул бы. Мы предпочли бы остаться такими, каковы мы сейчас.

— И это верно.

— Ну еще бы. А вот тебе и другое. Я часто думаю: самое прекрасное, самое привлекательное на земле — это стройная белокурая девица. Но ведь это не так, часто видишь темноволосую, которая еще красивее. И, кроме того, иногда мне сдается совсем другое: самое прекрасное и возвышенное — это птица, вольно парящая в вышине. А другой

раз всего удивительнее бабочка: вон та, например, белая с красными глазками на крыльях; или вечерний солнечный луч из-за облаков, когда все вокруг блестит, но не ослепляет и кажется таким радостным и невинным.

— Ты прав, Кнульп. Это все прекрасно, когда смотришь на это в хорошую минуту.

— Справедливо. Но вот о чем я еще думаю. Самое прекрасное — оно таково, что от него всегда чувствуешь не только удовольствие, но печаль и страх.

— Как это?

— По-моему вот как: красивая девушка не казалась бы и наполовину такой красивой, если бы не знать, что всему свой срок, что однажды она состарится и умрет. Если бы прекрасное оставалось таким же вечно, это бы нас радовало, но как-то и расхолаживало; ведь каждый думал бы: зачем торопиться это увидеть, еще успеется. А что бренно, что не сохранится, как есть, — на то я гляжу не только с радостью, но и с состраданием.

— Ну и что?

— Потому-то я и не знаю ничего прекраснее, чем фейерверк. Синие, зеленые ракеты взмывают вверх, во тьму, и когда они всего великолепней, описывают маленькую дугу, и их уж нет. Когда

глядишь, ощущаешь радость и страх: вот сейчас пропадут! — и хорошо, что так, они еще прекраснее оттого, что столь недолговечны. Разве не правда?

— Правда, но не всегда и не во всем.

— Почему же не во всем?

— А вот, например: если двое любят друг друга и женятся или двое стали друзьями, это прекрасно потому, что надолго и не кончится сразу.

Кнульп внимательно выслушал меня, взмахнул своими темными ресницами и задумчиво продолжал:

— Да, это мне тоже нравится. Но ведь и это имеет свой конец, как все на земле. Сколько причин могут убить дружбу, а уж любовь тем более.

— Ну, об этом как-то не думают, пока оно не наступит.

— Не знаю. Послушай, я любил в жизни дважды — я имею в виду, по-настоящему, — и оба раза был убежден, что все это навеки и кончится только с моей смертью; и оба раза это кончилось, а я, как видишь, не умер. Был у меня и друг, еще дома, в нашем городке, я и помыслить не мог, что мы когда-нибудь расстанемся, пока живы. Но мы давно уж разошлись.

Он замолчал, и я не знал, что ему ответить. Ту

боль, что таится в каждой людской связи, я еще не успел испытать, я еще не ведал, что двух людей, как бы ни были они близки, всегда разделяет бездна, которую шаг за шагом по хрупкому мостику пытается преодолеть одна только любовь. Я размышлял над тем, что сказал мой друг, и больше всего мне понравился его пример с ракетами — при взгляде на них я ощущал то же самое. Эти заманчивые цветные огни, взмывающие во тьму и мгновенно ею поглощаемые, представлялись мне символом всякого земного наслаждения, которое чем прекраснее, тем меньше удовлетворяет и тем быстрее проходит. Я сказал об этом Кнульпу.

Он, однако, не стал далее развивать эту тему.

— Да, да, — только и пробормотал он. И затем, после долгой паузы, приглушенным голосом: — Думать, размышлять — грош этому цена, ведь обычно поступают не так, как думают, на каждом шагу решают одно, а делают, как сердце прикажет. Но все-таки с дружбой и с любовью дело обстоит по-моему. В конце концов, у каждого человека есть что-то совсем свое, чем он не может поделиться с другим. Это особенно ясно видишь, когда кто-нибудь умирает. Порыдают, повоют день, месяц или год, а потом умерший умирает

окончательно, его уж нет, и всем безразлично, кто там лежит в его гробу: он сам или безродный подмастерье.

— Слушай, Кнульп, мне такой разговор не по душе. Ведь мы часто говорили, что в конечном итоге должен быть какой-нибудь смысл в жизни, и добр ли человек и милосерден или жесток и зол, это не пустое. А ты сейчас утверждаешь, будто все едино, и с тем же успехом можно грабить и убивать.

— Нет, дружище, этого как раз нельзя. А ну-ка попробуй, убей хоть двоих из тех, что нам повстречаются… если сможешь. Или потребуй от желтого мотылька, чтобы он сделался синим. Да он тебя просто высмеет.

— Я не об этом. Но если все едино, то ведь незачем и стараться быть добрым и честным. О каком добре можно говорить, если что желтое, что синее, что доброе, что злое — все едино. Тогда каждый как зверь в лесу, поступает, как велит ему природа, и не знает ни вины, ни заслуги.

Кнульп вздохнул.

— Что тебе сказать? Может, все так, как ты говоришь. Потому-то порой так по-глупому и огорчаешься, что чувствуешь: твоя воля гроша ломаного не стоит, все идет как идет помимо

тебя. Но вина-то все-таки существует, даже если человеку ничего не остается как быть плохим. Он ее ощущает внутри себя. И наверняка только добро и правильно, хотя бы потому, что от него нам радостно и совесть спокойна.

Я видел по его лицу, что ему опостылели эти разговоры. С ним часто так бывало: сам пустится рассуждать, разберет все доказательства за и против какого-нибудь положения, им же провозглашенного, и вдруг сам все оборвет. Раньше я полагал, что его раздражают мои неуклюжие ответы и возражения. Но на самом деле было не так, просто он чувствовал, что склонность к умствованию завлекает его в те области, где его знаний и его словаря явно недостаточно. Ибо хотя он читал немало, среди прочего даже Толстого,[3] он не всегда мог отличить истинные выводы от ложных, и сам это сознавал. О людях образованных он судил, как способный ребенок о взрослых, признавая, что они сильнее и могущественнее его, но втайне презирая их за то, что, при всем их могуществе, они ни на что путное не способны и, при всех своих талантах, так и не решили ни

[3] Примечания: 3

В период работы над «Кнульпом» и ранее Гессе был усердным читателем Толстого. Именно эти чтения определили, наряду с некоторыми другими факторами, склонность молодого Гессе к сельской идиллии.

одной загадки.

Он снова лег, положив голову на руки, стал глядеть сквозь черную на солнце листву бузины в белесое жаркое небо и замурлыкал песенку, старинную песенку с Рейна. Я помню еще ее последний куплет:

Я красною юбкой бывала горда,
Теперь мое платье черней, чем беда,
Семь лет подряд
Ношу я черный наряд.

Поздно вечером мы сидели с ним друг против друга на прохладной лесной опушке, каждый с ломтем хлеба и куском охотничьей колбасы, усердно жевали и следили, как постепенно настает ночь. Только что дальние холмы еще сверкали отблесками желтого вечернего неба, и контуры их расплывались в густеющей световой дымке, но вот уж они темные, совсем черные, и их гребни, кусты и деревья четко вырисовываются на фоне неба, сохранившего остатки дневной голубизны, которая уже побеждена, однако, густой синевою ночи.

Пока было еще светло, мы читали друг другу вслух разные разности из забавной книжечки, украшенной гравюрами и носившей причуд-

ливое название «Напевы муз из немецкой шарманки»,[4] она содержала незатейливые веселые песенки из ходячего репертуара. Это занятие прекратилось с наступлением темноты. Когда мы насытились, Кнульпу вздумалось послушать музыку; я извлек из кармана губную гармонику, полную набившихся хлебных крошек, продул ее и сыграл на ней кое-что из того, что тогда приходилось особенно часто слышать. Тьма, в которую мы постепенно погрузились, заполнила углубления между холмами, слабое мерцание неба угасло, и в черноте одна за другой загорались первые звезды. Звуки гармоники легко и протяжно плыли над полями и исчезали в дальних просторах.

— Не завалимся же мы сразу спать, — сказал я Кнульпу. — Расскажи лучше какую-нибудь историю, не обязательно правдивую, а еще лучше — сказку.

Кнульп подумал.

— Историю и одновременно сказку, — сказал он. — Знаешь, я расскажу тебе один сон — он

---

[4] Примечания: 4

«Напевы муз из немецкой шарманки» — действительно существовавший популярный сборник сатирических стихов и балаганных песен, изданный в 1849 г. Маленькая книжечка с иллюстрациями продолжала традиции оппозиционных союзов в Германии 30-40-х гг. XIX в.

приснился мне прошлой осенью, потом снился еще два раза, почти в точности такой же; его-то я тебе и расскажу.

Снилась мне улица в маленьком городке, совсем как у нас дома, по обеим сторонам — здания с крутыми щипцами, но выше, чем обычно. Я шел по ней, как будто после долгих, долгих лет странствий наконец вернулся домой; но радовался я при этом как-то не до конца, потому что не все было в порядке, я не был вполне уверен, в самом ли деле это мой родной город или я попал совсем не туда. Некоторые перекрестки были в точности такие, как я их помнил, и я мгновенно их узнавал, но отдельные дома казались совсем чужими и непривычными, и я никак не мог отыскать, например, мост и выйти к базарной площади, а вместо этого миновал какой-то незнакомый сад и церковь с двумя высокими башнями — точно такую я припоминал не то в Кёльне, не то в Базеле. Наша церковь была вообще без всяких башен, только небольшое возвышение посередке с временным покрытием: деньги были истрачены, а на башню не хватило.

То же самое творилось и с людьми. Некоторые, когда я глядел на них издали, казались мне хорошо знакомыми, я припоминал их имена и уже

готов был их окликнуть. Но внезапно, не дойдя до меня, они исчезали в каком-нибудь доме или сворачивали в боковую улицу, а кто подходил ближе, тот как-то менялся на глазах, и я видел чужое, незнакомое мне лицо; но когда он проходил мимо и снова удалялся, я готов был поклясться, глядя ему вслед, что все же я его знаю. Я встретил и нескольких женщин, они стояли перед раскрытой дверью лавки, мне показалось, что одна из них моя покойная тетка, а когда я приблизился, я ее не узнал и к тому же услыхал, что она говорит на каком-то чужом наречии, которое я и разбираю-то с трудом.

Наконец я подумал: пора мне выбираться из этого городка, какой-то он чудной, тот и в то же время не тот. Но я все не уходил, то подбегал к знакомому дому, то шел навстречу знакомому человеку и опять оставался в дураках. И притом я не чувствовал ни досады, ни гнева, а только печаль и глубокий страх; я хотел было прочитать молитву и стал вспоминать ее изо всех сил, но на ум шли одни только бесполезные дурацкие выражения, вроде «Милостивый государь» или «По независящим от меня обстоятельствам», — и я бормотал их про себя растерянно и печально.

Так все длилось, как мне показалось, несколько

часов, я вспотел, выбился из сил, но, спотыкаясь на каждом шагу, безвольно брел дальше. Дело уже было к вечеру, и я решил спросить ближайшего прохожего, как мне пройти на постоялый двор или выйти на дорогу, но мне ни с кем не удавалось заговорить, все проходили мимо меня, как будто я бесплотный призрак. Скоро я почти что рыдал от усталости и отчаянья.

Вдруг я еще раз незаметно завернул за угол, и вот передо мной оказалась наша улица, немного, правда, перестроенная и приукрашенная, но теперь это меня почему-то не смущало. Я пошел по ней и отчетливо узнавал дома, один за другим, несмотря на завитушки, которыми их снабдил сон, и вот уж я стоял перед своим старым отцовским домом. Он тоже показался мне неестественно высоким, но в остальном был совсем как в прежние времена, и у меня прямо-таки мурашки по спине пробежали от радости и волнения.

В воротах стояла моя первая любовь, ее звали Генриетта. Она немного изменилась с тех пор, казалась выше, но стала еще красивее, чем прежде. Приближаясь, я обратил внимание, что красота ее подобна чудесному произведению искусства, кажется скорее ангельской, чем человеческой, заметил я также, что у нее белокурые волосы, а не

каштановые, как были у Генриетты; и все же это была она, с головы до ног, хоть и преображенная.

— Генриетта! — воскликнул я и сдернул с головы шляпу; она ведь выглядела такой благородной дамой, что я не был уверен, захочет ли она меня узнать.

Она обернулась и поглядела мне прямо в лицо. Но когда она на меня поглядела, я поневоле был удивлен и пристыжен, ибо все же это была не она, не та, которую я окликнул, но Лизабет, вторая моя любовь, с которой мы долго были вместе.

— Лизабет, — закричал я снова и протянул ей руку.

Она взглянула на меня, как будто сам господь взглянул мне в душу: не строго, не свысока, а светло и покойно и в то же время таким одухотворенным, таким полным превосходства взором, что я показался себе жалким псом. И, глядя так на меня, она сделалась вдруг серьезною и печальной, покачала головой, будто я задал ей дерзкий вопрос, не взяла моей руки, а повернулась и ушла в дом, тихо затворив за собою ворота. Я услышал только, как щелкнул замок.

Тогда я побрел прочь, и хоть от слез и боли едва мог что-либо различать, было странно, как снова удивительно переменился город. Теперь уже

каждая улочка и каждый дом стояли в точности такими, как были прежде, а искажавший все морок исчез. Щипцы были не такие неестественно высокие и выкрашены как раньше, люди тоже стали настоящими, они радовались и изумлялись, встречая меня, многие окликали меня по имени. Но сам я не мог им ответить, не мог даже остановиться. Вместо этого я мчался что было сил по знакомой дороге — через мост и прочь из города, — ничего не видя перед собой, потому что глаза мои были мокры от слез и скорбь охватила мне сердце. Я не знал, почему все это, только чувствовал: для меня здесь все потеряно, и мне остается только со стыдом бежать прочь.

Затем, уже покинув город и оказавшись под тополями, я немного замедлил бег и сообразил, что ведь я сейчас был возле нашего дома, перед самым порогом, и даже не вспомнил ни об отце, ни о матери, ни о братьях и сестрах, ни о друзьях юности. И такое смятение и стыд воцарились в моем сердце, как никогда прежде. Но вернуться и все исправить было уже невозможно, потому что я проснулся и сон кончился.

Кнульп сказал:

— У каждого человека своя душа, ей невозможно слиться ни с какою другою. Двое могут

повстречать друг друга, говорить друг с другом и быть рядом. Но души их как два цветка, выросших порознь, каждый из своего корня; они не способны сблизиться, не то им пришлось бы оторваться от корней, а этого они как раз и не могут. Они только посылают свой аромат и свои семена, потому что их тянет друг к другу, но куда попадет семечко, зависит уже не от самого цветка, это зависит от ветра, а он прилетает и улетает, как хочет.

И еще:

— Сон, который я тебе рассказал, возможно, имеет тот же самый смысл. Ни Генриетту, ни Лизабет я с умыслом не обижал. Но по той причине, что я их обеих когда-то любил и хотел их удержать, они и соединились для меня во сне в один образ, — он похож на обеих сразу, но он и ни Генриетта, и ни Лизабет. Этот образ принадлежит мне, но с живым человеком у него ничего общего нет. И тут кстати будет сказать еще о моих родителях. Они были убеждены, что я их дитя, их частичка, и посему должен быть таким же, как они. Но я, хоть и любил их, был другим, особым и непонятным для них человеком. То, что было во мне главным, что как раз и было моею душою, они считали второстепенным и приписывали

молодости или прихоти. При этом они меня тоже очень любили и всё бы для меня сделали. Но отец может передать в наследство сыну нос, или глаза, или способности, но не душу. Душа каждого человека рождается заново.

Мне нечего было на это возразить, ибо тогда еще я в такие рассуждения, во всяком случае по собственному моему почину, не пускался. Такое глубокомыслие, хоть и было мне по душе, но по-настоящему не задевало, а посему я полагал, что и для Кнульпа это не борение, а всего лишь игра. Кроме того, было так покойно и прекрасно лежать рядом с другом на сухой траве в ожидании ночи и глядеть на первые звезды.

Я сказал:

— Кнульп, да ты настоящий философ. Тебе бы профессором стать.

Он засмеялся и покачал головой.

— Скорее я вступлю когда-нибудь в Армию спасения, — задумчиво вымолвил он.

Это было уж слишком.

— Слушай, пожалуйста, не прикидывайся! — сказал я ему. — Не хочешь ли ты заодно сделаться святым?

— То-то и дело, что хочу. Каждый человек, который серьезно относится ко всему, что думает и

делает, — святой. Вот как ты считаешь правильным, так и следует поступать. И если однажды я сочту правильным вступить в Армию спасения, то я, верно, так и сделаю.

— Далась тебе эта Армия спасения!

— Именно, далась. Сейчас объясню почему. Мне пришлось в жизни говорить с многими людьми и слышать много речей. Я слышал, как говорят священники и учителя, бургомистры, социал-демократы и либералы; но не было среди них ни одного, кто бы серьезно — до конца серьезно — относился к тому, что говорит, — так, чтобы я поверил: в случае нужды этот на костер пойдет за свои убеждения. А в Армии спасения, между прочим, со всей ее нелепой музыкой и шумихой, я встречал несколько раз людей, для которых все было серьезно.

— Откуда ты знаешь?

— Да уж это видно. Один, например, — помню, он держал речь в какой-то деревне, в воскресенье, под открытым небом — вокруг жарища, пыль, так что вскоре он совершенно охрип. Да особенно крепким он и не выглядел. Когда он не в состоянии был произнести ни слова, он просил своих трех товарищей немного попеть, а сам выпивал глоток воды. Полдеревни собралось вокруг, дети

и взрослые, все считали его за дурака и всячески критиковали. Позади других стоял молодой дюжий батрак, в руках он держал кнут и время от времени оглушительно им щелкал, специально, чтобы позлить оратора и посмешить публику. Но бедный малый не давал волю гневу, хотя вовсе не был глуп, он пытался своим голосишком пробиться к зевакам и улыбался там, где другой бы выл или сыпал проклятиями. Знаешь, так стараются не за деньги и не ради удовольствия, но когда несут в себе великую уверенность и ясность.

— Изволь. Но ведь одно и то же не годится для всех. А человек чувствительный, тонкий, вроде тебя, вообще не создан, чтобы выступать перед зеваками.

— А может, как раз и создан. Ежели он во что-то верит, что-то имеет за душой, что выше и прекраснее чувствительности и тонкости. Ты прав, одно и то же не годится для всех, но истина — она ведь для всех одна.

— Ах, истина! Откуда тебе известно, что эти, с их аллилуйей, владеют истиной?

— Это мне неизвестно. Я утверждаю только: если я однажды сочту, что истина у них, я за ними последую.

— Если… Но ведь ты каждый день открываешь

очередную мудрость, а назавтра ей не следуешь.

Он с обидой посмотрел на меня.

— Знаешь, то, что ты сказал сейчас, очень зло.

Я хотел извиниться, но он воспротивился и замолк. Вскоре он шепотом пожелал мне доброй ночи, улегся тихонько, но, по правде говоря, я не верил, что он спит. Я тоже долго не мог заснуть, больше часу не смыкал глаз и, подперев подбородок ладонями, неотрывно глядел в ночную даль.

С утра я сразу приметил, что у Кнульпа сегодня выдался счастливый денек. Я не умолчал об этом, и он, по-детски просияв и окинув меня радостным взглядом, сказал:

— Ты угадал. А знаешь, по какой причине у человека бывает счастливый день?

— Нет. А по какой?

— Да просто потому, что он ночью отлично спал и видел хороший сон. Но этот сон потом никогда не помнишь. Так и сегодня: мне снилась какая-то роскошь и веселье, но что именно — все позабыл, знаю только, что это было прекрасно.

Еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и ощутили во рту вкус парного молока, он спел натощак, легко и свободно, грудным теплым голосом три-четыре самых новеньких своих песни. Если бы эти песенки были записаны

и напечатаны, они бы, возможно, ничего особенного собой не представляли. Но хотя Кнульп не был большим поэтом, поэтом он все же был, и его песенки в его собственном исполнении были похожи на самые прекрасные песни в мире, как их хорошенькие сестрицы. Отдельные отрывки, которые сохранились в моей памяти, и в самом деле хороши и все еще мне дороги. Ничего из этого не было записано, стихи его рождались, жили и умирали невинно и безответственно, как порывы ветра, но они скрасили не один час не только ему и мне, но и многим другим людям, детям и взрослым.

Словно девица-краса
Появилась из ворот
Из-за елей в небеса
Солнце красное плывет,

пел он в тот день о солнце, которое почти всегда присутствовало в его песнях и которому он возносил хвалы. И странное дело, насколько в беседе он обожал всяческую философию, настолько наивны и непосредственны были его стишки, которые выпрыгивали на свет, подобно чистеньким ребятишкам, в светлых летних одеждах. Часто это бывала забавная бессмыслица, она слу-

жила лишь для того, чтобы дать выплеснуться переполнявшему его задору.

Тот день был весь для меня окрашен его ликующим настроением. Мы шутливо приветствовали и задирали встречных и поперечных, так что вслед нам неслись то смех, то брань, и весь день проходил как праздник. Мы наперебой рассказывали друг другу о шутках и проделках школьных лет, давали насмешливые прозвища проходящим мимо крестьянам, а также их лошадям и волам, досыта полакомились у пустынной ограды ворованным крыжовником и почти каждый час устраивали привалы, щадя свои силы и подметки.

Мне представилось, что со времени моего сравнительно недавнего знакомства с Кнульпом я никогда еще не видал его таким веселым и обаятельным, и я всячески радовался предстоящему странствию, считая, что с сегодняшнего дня, собственно, и начнется наша совместная жизнь и наше веселье.

Полдень сделался на редкость знойным, мы больше валялись на траве, чем шагали вперед, а к вечеру стало парить и собралась гроза, так что решено было поискать ночлега под крышей.

Кнульп постепенно затих, по-видимому, устал,

но я этого почти не заметил, так как он с прежним воодушевлением вторил моему смеху и подхватывал песню, когда я ее запевал, а сам я веселился пуще прежнего, и в груди у меня, подавляя все другие чувства, разгорался какой-то праздничный фейерверк. Очевидно, у Кнульпа было все наоборот, его радостные огни уже угасали. У меня же всегда так: в праздничные дни я особенно расхожусь к вечеру, просто удержу не знаю и ради какого-нибудь нового удовольствия готов пуститься в путь на ночь глядя, когда все другие уже угомонились и спят.

Подобная лихорадка охватила меня и в тот раз, и, когда, спустившись в долину, мы подошли к большой нарядной деревне, я обрадовался, предвкушая веселый вечер. Сначала мы высмотрели амбар, стоявший особняком и вполне подходящий для ночлега, затем вошли в деревню и расположились за столиком в трактирном саду, так как я пригласил своего друга на ужин и готов был расщедриться на омлет и пару бутылок пива — ведь это был поистине счастливый день.

Кнульп охотно принял мое приглашение, но, когда мы уселись под красивым платаном, несколько смущенно заметил:

— Слушай, мы ведь не станем затевать кутеж,

не так ли? Одну бутылку я охотно выпью, это полезно, но больше я не переношу.

Я согласился и подумал про себя: «Зачем загадывать наперед? Выпьем, сколько захочется». Мы ели горячий омлет с пахучим ржаным хлебом, и вскоре я заказал себе еще пива, хотя в бутылке Кнульпа осталось больше половины. У меня было преотличное настроение от того, что я раскошелился и по-господски восседаю за этим обильным столом, я рассчитывал еще долго предаваться веселью в тот вечер.

Когда Кнульп допил свою бутылку, он, несмотря на мои просьбы, не захотел брать вторую и предложил мне пойти погулять по деревне, а затем пораньше отправиться спать. Это вовсе не входило в мои планы, но мне не хотелось прямо ему противоречить. Поскольку я еще не допил пива, я согласился, чтобы он отправился вперед, а затем мы встретимся.

Он ушел. Я глядел ему вслед, как легко он спустился по ступеням, непринужденной походкой человека, привыкшего наслаждаться ходьбой, и, подтянутый, заткнув цветок за ухо, неторопливо зашагал по деревенской улице. И хоть я был раздосадован тем, что он не пожелал распить со мной вторую бутылку, я невольно подумал,

растроганный и охваченный нежностью: «Ах ты, миляга!»

Между тем духота еще усилилась, хоть солнце давно уже село. В такую погоду приятно было мирно посиживать и попивать холодное пиво, и я решил еще немного задержаться за столиком. Я был теперь почти единственным посетителем в трактире, у кельнерши было довольно свободного времени, чтобы поговорить со мной. Я попросил ее принести мне еще две сигары, одну из которых я сначала предназначал для Кнульпа, но затем по рассеянности выкурил сам.

Еще раз, пожалуй, через часок, Кнульп заглянул в трактир и хотел меня увести. Но я так прочно уселся, что мне было лень вставать, и, поскольку он все равно устал и хотел спать, мы договорились, что он отправится на место ночлега. Он удалился. Кельнерша тотчас же принялась меня про него расспрашивать, все девушки без исключения всегда его примечали. Я ничего не имел против этого, ведь он был мой друг, а она мне была никто; наоборот, я превозносил его до небес, ибо я был тогда в благодушном настроении и любил весь свет.

Уже погрохатывал вдалеке гром и ветер шумел в листьях платана, когда я наконец поздно ночью

поднялся и собрался уходить. Я расплатился, дал девушке еще десять пфеннигов и не спеша отправился восвояси. Во время ходьбы я все время отчетливо ощущал, что бутылку я, пожалуй, перебрал, — последнее время я вообще отвык от крепких напитков. Но это меня отнюдь не огорчало, наоборот, я гордился своей лихостью я пел всю дорогу, пока не отыскал наш амбар. Я тихонько забрался наверх и в самом деле нашел Кнульпа спящим. Он лежал в одной рубашке на своей расстеленной коричневой куртке и ровно дышал. В полутьме слабо белели его лоб, шея и вытянутая рука.

Я улегся как был, в одежде, но возбуждение и тяжелая голова еще долго не давали мне сомкнуть глаз, и уже чуть светало, когда я наконец заснул, точно провалился, тяжелым глубоким сном. Спал я крепко, но не здорово, ощущая себя усталым и разбитым, и мне снились какие-то неясные мучительные сны.

Утром я проснулся поздно, на дворе уже был ясный день, и солнечный свет бил мне прямо в глаза. В голове было пусто и смутно, руки и ноги болели. Я долго зевал, тер глаза и до хруста разминал члены. Несмотря на усталость, я ощущал в душе какие-то отзвуки вчерашнего возбуждения

и собирался окончательно смыть с себя похмелье у первого чистого колодца.

Все, однако, обернулось иначе. Когда я огляделся, я не обнаружил Кнульпа. Я был сначала вполне спокоен, покричал ему, посвистел. Но когда крик, свист и поиски ничего не дали, я вдруг понял, что он меня покинул. Да, он покинул меня, ушел тайно, он не хотел больше со мной оставаться. То ли ему был неприятен мой кутеж, то ли он стыдился своей собственной вчерашней резвости, а может, просто под настроение, засомневавшись во мне или поддавшись внезапной необоримой тяге к одиночеству. И все же мое сидение в трактире несомненно было тому виной. Радость меня оставила, я весь был во власти стыда и отчаянья. Где мой друг? Вопреки его рассуждениям, я смел думать, что все же немного его понимаю, разделяю его чувства. Теперь он ушел, и я остался один, горько разочарованный, и винить в этом должен был скорее себя, чем его; я сам, на своем опыте, ощутил теперь то самое одиночество, которое, по словам Кнульпа, есть удел каждого на земле и в которое я так долго не хотел верить. Оно было горестным, это одиночество, и не только в тот первый день, иногда оно ослабевало, но полностью уже не покинуло меня

с тех пор никогда.

Конец

Был светлый октябрьский день; прозрачный, пронизанный солнцем воздух чуть колебался под проказливыми порывами ветра, от садов и полей тонкими лентами вился голубоватый дымок осенних костров и наполнял округу терпким сладковатым запахом горелой травы и листьев. В палисадниках еще цвели пышным цветом пестрые яркие астры, бледноватые поздние розы и георгины, порой из-за изгороди среди уже увядшей и побуревшей зелени пламенел огненный цветок настурции.

По дороге в Булах медленно катил одноконный экипаж доктора Махольда. Дорога плавно поднималась в гору, с левой стороны тянулись убранные поля только картошку еще продолжали копать, справа высился молодой и густой сосняк, почти задохнувшийся от густоты, — плотная коричневая стена прижатых друг к другу стволов и сухих ветвей, земля внизу, густо усыпанная толстым слоем светло-желтой высохшей хвои. Впереди дорога уводила прямо в бледно-голубое осеннее небо; казалось, будто там наверху конец света.

Доктор отпустил поводья и предоставил своей старой кобылке плестись как бог на душу положит. Он возвращался от умирающей, которой уже нельзя было помочь и которая все же упорно цеплялась за жизнь до последнего дыхания. Он устал и теперь наслаждался спокойной ездой и приветливым осенним деньком; его мысли дремали, приглушенно и покорно следуя зовам, исходившим от полевых костров и пробуждавшим смутные приятные воспоминания об осенних каникулах и еще более далекие — звонкие, но совсем уж бесплотные видения сумеречной поры детства. Ибо он вырос в деревне, и его чувства легко и охотно улавливали все приметы, связанные с временем года и крестьянскими работами.

Он почти совсем погрузился в дрему, когда возок вдруг остановился. Водосток пересекал дорогу, в нем увязли передние колеса, и благодарная лошадка стала, опустив голову и наслаждаясь передышкой.

Махольд пробудился от того, что внезапно смолкло громыхание колес; он натянул поводья, с улыбкой взглянул, как после минутной хмури вновь сияют в солнечном блеске небо, лес, и привычным щелканьем языка заставил кобылу двинуться дальше. Он подтянулся, выпрямился

— он не любил дремать среди бела дня — и сунул в зубы сигару. Езда продолжалась в том же медлительном темпе, какие-то две женщины в широкополых шляпах прокричали ему с поля приветствие из-за длинного ряда мешков с картошкой.

Конец подъема был уже близок, лошадь приободрилась и подняла голову, предвкушая пологий спуск с седловины холма и близость дома. И вдруг на фоне близкого светлого горизонта с той стороны возник человек, путник; он как бы вырос на миг, застыв на самой вершине, залитый голубым сиянием, а затем стал постепенно спускаться, сразу сделавшись маленьким и серым. Он приближался, худой мужчина с редкой бородкой, бедно одетый, явно из тех, для кого проселочные дороги служат домом; он брел усталой походкой, с трудом передвигая ноги, но вежливо снял шляпу и поклонился.

— День добрый! — сказал доктор, поглядел вслед незнакомцу, уже начавшему удаляться, и вдруг с ходу остановил бричку, привстал на козлах и, глядя поверх кожаного верха, закричал:
— Эй, послушайте! Вернитесь-ка на минуту!

Запыленный путник остановился и оглянулся. Он улыбнулся доктору слабой улыбкой и хотел

было продолжить свой путь, однако передумал и покорно повернул назад.

Теперь он стоял рядом с низким экипажем, все еще держа шляпу в руке.

— Нельзя ли узнать, куда вы путь держите? — спросил его Махольд с козел.

— Да все прямо по этой дороге, на Бертольдзег.

— Мне сдается, мы с вами знакомы. Только никак не могу вспомнить имя. Вам ведь известно, кто я?

— Полагаю, что вы доктор Махольд.

— Ну вот. А сами-то вы кто? Как вас зовут?

— Сейчас вы меня вспомните, господин доктор. Мы сидели когда-то рядом у латиниста Глохера, и господин доктор еще списали у меня упражнение.

Махольд соскочил с козел и пристально вгляделся в лицо прохожего. Затем облегченно рассмеялся и похлопал его по плечу.

— Точно! Значит, ты и есть знаменитый Кнульп, и мы с тобой однокашники. А ну-ка, друг, дай пожать твою руку! Мы наверняка не виделись больше десяти лет. Все еще странствуешь?

— Странствую. Когда становишься старше, трудно менять привычки.

— Это верно. А куда направляешься сейчас? Уж

не в родные ли наши места?

— Угадали. Хочу взглянуть на Герберзау, остались у меня там кое-какие делишки.

— Так, так. Из стариков твоих жив еще кто-нибудь?

— Нет, никого.

— Что-то не молодо ты выглядишь, Кнульп! А ведь нам всего только за сорок, если не ошибаюсь, и тебе, и мне. Подумать только, просто хотел пройти мимо — не хорошо это с твоей стороны. Знаешь, мне сдается, что доктор-то тебе как раз и нужен.

— Да что там! Все у меня в порядке, а что не в порядке, того ни один доктор не поправит.

— Посмотрим. А сейчас давай-ка залезай и поедем со мной, там все и обсудим.

Кнульп в нерешительности отступил и надел шляпу. Он отстранился со смущенным видом, когда доктор захотел помочь ему взобраться в бричку.

— Что вы, да этого вовсе не требуется. Не рванется же этот конек с места в карьер, пока мы тут разговариваем?

На него вдруг напал приступ кашля, и врач, который уже смекнул, в чем дело, без церемоний подхватил его под руки и усадил в бричку.

— Ну вот, — сказал он, когда они покатили, — сейчас будем на вершине, оттуда — рысью, и через полчаса дома. Не трудись отвечать при таком кашле, дома побеседуем. Что? Никаких возражений! Больным полагается лежать в постели, а не бродить по дорогам. Я припоминаю, тогда по латыни ты мне часто помогал, — теперь мой черед.

Они миновали гребень и под визг тормозов стали спускаться по склону; напротив уже виднелись среди плодовых деревьев крыши Булаха. Махольд крепко держал поводья и следил за дорогой, а Кнульп устало и с некоторым даже облегчением предался удовольствию езды и насильственному гостеприимству. «Завтра, — думал он, — в крайнем случае, послезавтра пойду дальше на Герберзау, если только ноги будут держать». Это уже не был былой ветрогон, расточавший дни и годы. Теперь это был старый больной человек, не имевший более никаких желаний, кроме одного-единственного: еще раз перед кончиной повидать родину.

В Булахе друг провел его сначала в гостиную, заставил выпить молока и подкрепиться ветчиной с хлебом. При этом они поболтали и постепенно обрели былую непринужденность. Лишь после

этого врач приступил к осмотру, а больной добродушно, хотя и не без доли насмешки, ему это дозволил.

— Ты хоть знаешь, что у тебя не в порядке? — спросил Махольд, закончив обследование. Он спросил это легко, без нажима, и Кнульп был ему за это благодарен.

— Да, Махольд, знаю. Чахотка. И мне известно также, что долго мне не протянуть.

— Ну, кто знает? Но тогда ты должен понимать, что тебе нужны постель и уход. Пока погостишь у меня, а тем временем исхлопочу тебе место в ближайшей больнице. Ты что, рехнулся, мой милый? Так нельзя, нужно взять себя в руки, чтобы выкарабкаться.

Кнульп снова натянул на себя куртку. Обратив к доктору посеревшее заострившееся лицо, он добродушно заметил с выражением легкого лукавства:

— Ты стараешься изо всех сил, Махольд! Воля твоя. Но на меня ты особенно не рассчитывай.

— Поживем — увидим. А теперь посиди в саду на солнышке, пока оно светит. Лина сейчас пойдет приготовит тебе постель, уж мы с тебя глаз не спустим, бедолага. Чтобы человек всю жизнь провел на свежем воздухе, на солнце, и заболел

легкими — невероятно!

Сказав это, он удалился.

Домоправительница Лина не была в восторге и не желала укладывать в комнате для гостей бродягу. Но доктор решительно ее оборвал:

— Полно, Лина! Ему недолго осталось жить, пусть понежится у нас напоследок. Он всегда был чистюля, да и прежде, чем отправить его в постель, мы его сунем в ванну. Дайте ему одну из моих ночных рубашек и, если можно, теплые туфли. И не забудьте: этот человек — мой друг!

Кнульп проспал одиннадцать часов подряд и долго еще дремал в кровати хмурым туманным утром, прежде чем ему удалось сообразить, у кого он находится. Когда выглянуло наконец солнце, Махольд позволил ему встать, и теперь, после завтрака, они рассиживали за стаканом красного вина на освещенной солнцем террасе. Кнульп от хорошей еды и выпитого полустакана вина приободрился и стал явно разговорчивей, доктор же нарочно выкроил себе часок, чтобы поболтать с чудаком-однокашником и поподробнее узнать об этой, столь необычной жизни.

— Значит, ты доволен тем, как ты жил, — сказал он с улыбкой. — Если это так, все в порядке. Иначе я бы считал, что о таком человеке, как ты,

следует пожалеть. Тебе незачем было становиться непременно священником или учителем, но из тебя мог бы выйти естествоиспытатель или даже поэт. Не знаю, нашел ли ты применение своим дарованьям, развил ли их, но уж точно, что польза от них была тебе одному. Разве не так?

Кнульп подпер рукой подбородок с редкой бороденкой и следил, как от стакана вина на солнечной скатерти вспыхивают и гаснут красные искры.

— Не совсем так, — задумчиво проговорил он. — Мои дарованья, как ты их называешь, не так уж они велики. Что я умею: немножко свистеть, немножко играть на гармонике, порою сложить стишок, еще я был раньше бегуном и неплохим танцором. Вот и все. И не мне одному это приносило радость — вокруг всегда оказывались друзья, девушки, дети, им все это было в забаву, и они меня благодарили. Оставим этот разговор — довольно и того, что есть.

— Хорошо, — согласился доктор. — Но еще один вопрос я хочу тебе задать. Ты ведь тогда учился с нами в гимназии до пятого класса, я отлично помню, и учеником ты был хорошим, хоть и не был примерным пай-мальчиком. И вдруг исчез ни с того ни с сего, болтали, что ты перешел в на-

родную школу; это нас и разлучило — гимназист не мог ведь дружить с мальчишкой из народной школы. Что же тогда произошло? Позже, когда до меня доходили вести о тебе, я всегда думал: если бы он остался в гимназии, все было бы иначе. Что же случилось? Опротивела ли тебе учеба, что ли, или у твоего старика не стало денег платить за тебя, или что еще?

Больной поднял стакан исхудалой обветренной рукой, но не выпил, а лишь поглядел сквозь вино на сверкавшую зелень и осторожно поставил его обратно на стол. Затем молча прикрыл глаза и погрузился в свои мысли.

— Тебе что, тяжело говорить об этом? — спросил друг. — Тогда не надо.

Но Кнульп тут же открыл глаза и взглянул на него долгим испытующим взглядом.

— Пожалуй, надо, — начал он, все еще колеблясь, — полагаю, что надо. Я еще не рассказывал об этом ни одному человеку, но, может, как раз и хорошо, чтобы кто-то узнал. Впрочем, это всего только детская история, хотя для меня она оказалась очень важной — я годами не мог с этим разделаться. Странно как-то, что ты меня как раз сейчас об этом спросил.

— Почему?

— Все последние дни я только об этом и думаю, потому и оказался на пути в Герберзау.

— Вот как? Ну, рассказывай!

— Помнишь, Махольд, как мы с тобой дружили — по крайней мере, класса до третьего — до четвертого. Потом уже мы встречались все реже и реже, и ты напрасно высвистывал меня у нашей калитки.

— Бог мой, все точно! Я не вспоминал об этом, по крайней мере, лет двадцать. Ну и память же у тебя, приятель! А что дальше?

— Сейчас расскажу тебе, как все вышло. Знаешь, во всем были виноваты девчонки. Они очень рано начали привлекать мое любопытство. Ты небось еще верил в басенки об аисте и капусте, а я уже приблизительно верно представлял себе, как обстоит с ними дело. Это сделалось для меня самым важным, потому-то я не так уж часто играл с вами в индейцев.

— Тебе было тогда лет двенадцать, верно?

— Почти что тринадцать — я ведь на год тебя старше. Так вот: однажды я заболел и лежал в постели, а к нам как раз приехала погостить родственница, тремя, четырьмя годами старше меня; она стала заигрывать со мной, и когда я выздоровел и вновь был на ногах, я ночью тайком

пробрался к ней в комнату. Тут я впервые увидел, как выглядит женщина, до смерти перепугался и сбежал. С той родственницей я больше слова не сказал, она мне опротивела, я ее боялся, но все же это запало мне в душу, и с тех пор я начал бегать за девчонками. У дубильщика Хаазиса были две дочки, мне ровесницы, к ним приходили подружки, и мы играли все вместе, прятались на чердаках — было вдосталь хихиканья, щекотки и всяких там нежностей. Я почти все время был единственным мальчиком в их компании, порой какая-нибудь из девчонок заставляла меня заплетать ей косички, другая одаривала поцелуем, — мы ведь были дети и не знали толком, что к чему, а все вокруг было полно влюбленности, и во время купанья я забивался в кусты и тайком за ними подглядывал. И вот однажды среди них появилась новенькая, из предместья, отец ее работал там в вязальной мастерской. Звали ее Франциска, и она понравилась мне с первого взгляда.

Доктор перебил его:

— Как, скажи мне, звали ее отца? Может, я знаю…

— Извини, Махольд, об этом мне не хотелось бы говорить. К моей истории это отношения не

имеет, и я не желаю, чтобы кому-то что-то о ней стало известно. Так вот, дальше. Она была повыше и посильнее меня, время от времени мы с нею боролись, и когда она меня к себе прижимала, у меня прямо пол уходил из-под ног, я становился как пьяный. Я влюбился в нее, и так как была она двумя годами старше и уж поговаривала, что пора ей завести дружка, я ничего в мире так не желал, как сделаться ее дружком. Однажды я ее застал в саду дубильщика, она сидела одна на бережку, болтала ногами в воде, видно, только что искупалась, на ней и не было ничего, юбчонка да лифчик. Я подошел, подсел к ней. Тут-то я вдруг набрался храбрости и объявил ей, что ничего так не желаю, как стать ее дружком. Она в ответ взглянула на меня своими карими глазами и сказала как-то даже с состраданием: «Ты еще мальчонка, из коротких штанишек не вырос. Что ты понимаешь в любви?» На это я ответил, что-де понимаю все, что, если она меня не полюбит, скину ее сейчас в речку и сам утоплюсь вместе с ней. Тогда она посмотрела на меня повнимательнее, как взрослая, и заявила: «Хорошо, увидим. Целоваться-то, по крайней мере, умеешь?» Я ответил утвердительно и поцеловал ее прямо в губы, считая, что этого достаточно, но не тут-то было: она

стиснула мою голову, держала ее крепко-крепко и принялась целовать меня взасос, как опытная женщина, так что у меня голова закружилась. Потом расхохоталась гортанным своим смехом и объявила: «Ты бы мне, пожалуй, подошел, паренек, но ничего у нас не выйдет. Мне не нужен дружок, который ходит в гимназию, там стоящих людей не встретишь. Хочу полюбить настоящего парня, ремесленника или рабочего, а не школьника. Так что рассчитывать тебе не на что!» А сама как притянет меня к себе, и так мне сделалось тепло и уютно в ее объятиях, что я даже подумать не мог с нею расстаться. Я пообещал Франциске, что сейчас же брошу ходить в гимназию и стану ремесленником. Она только хохотала в ответ, по я все же не отставал со своими уверениями, и под конец она меня вновь поцеловала и поклялась: ежели я и впрямь уйду из гимназии, она станет моею, и мне будет с ней хорошо.

Тут Кнульп остановился и закашлялся. Его друг внимательно за ним наблюдал, оба молчали. Затем Кнульп продолжал:

— Теперь ты, в сущности, знаешь всю историю. Конечно, это произошло не так мгновенно, как я рассчитывал. Когда я объявил отцу, что не желаю больше ходить в гимназию, он отвесил мне две

хорошие оплеухи. Я не знал, что делать; порой даже подумывал, уж не поджечь ли мне школу. Затея детская, но, по сути, дело обстояло для меня вполне серьезно. Наконец мне пришел в голову единственный возможный выход: я просто перестал учиться. Ты этого не помнишь?

— В самом деле, что-то такое припоминаю. Тебя почти каждый день оставляли без обеда.

— Да. Я прогуливал, скверно отвечал уроки, не делал заданий и нарочно терял тетради — словом, каждый день что-нибудь да выкидывал, и в конце концов даже стал получать от этого удовольствие, а уж учителям портил жизнь, как только мог. Латынь и все прочее потеряли для меня всякую важность. Знаешь, я всегда был таков: ежели что-нибудь меня всерьез захватит, все остальное просто перестает существовать. Так было с гимнастикой, потом с ловлей форели, с ботаникой, и вот теперь пришла очередь девчонок, и покуда я не перебесился и всего не испробовал, ничто другое меня не волновало. В самом деле, ведь это нелепо — сидеть за партой и спрягать глаголы, когда все твои мысли там, возле купальни, где ты вчера подглядывал за девочками. Ну,

item.[5] Учителя, по-видимому, кое-что смекнули, они неплохо ко мне относились и щадили меня, пока было возможно, так что из моих замыслов ничего бы не вышло, если бы я не свел дружбу с братом Франциски. Он учился в народной школе в последнем классе и был в самом деле испорченным парнишкой; я многому у него научился, но ничему хорошему, и много от него натерпелся. Но за полгода я достиг своей цели: отец избил меня до полусмерти, однако из гимназии меня исключили, и я учился теперь в том же классе, что и брат Франциски.

— А она? Эта девушка? — спросил Махольд.

— Да в том-то и горе. Она так и не сделалась моей подружкой. С тех пор как я стал приходить к ним с ее братом, она начала обходиться со мной все хуже, как будто я теперь стоил еще меньше, чем прежде, и только на второй месяц моего учения в новой школе, когда я изловчился удирать по вечерам из дому, я узнал всю правду. Как-то поздно вечером я, но моему недавнему обыкновению, шатался по Ридервальду и приметил на скамейке какую-то парочку, а когда подкрался поближе, обнаружил, что это Франциска с под-

---

[5] Примечания: 5
Так вот *(лат.)*.

мастерьем механика. Они меня и не заметили, он обнял ее за шею, в руке — сигаретка, блузка у нее расстегнута, противно смотреть. Так что все оказалось напрасно.

Махольд ободряюще похлопал друга по плечу.

— Слушай, может, все вышло к лучшему.

Кнульп яростно затряс головой.

— Нет, не так. Я бы и сегодня отдал правую руку, только бы все тогда обернулось по-другому. Не смей мне ничего плохого говорить про Франциску, я не желаю. Если бы все было как надо, я узнал бы любовь иначе — прекрасную, счастливую, — и, может, тогда бы поладил и с отцом и со школой. Потому что, знаешь, — как бы это тебе объяснить? — были у меня с тех пор друзья, и приятели, и женщины тоже, но ни разу я уже не полагался на человеческое слово и себя самого словом не связывал. Ни разу. Я прожил жизнь, как было мне по нраву, была у меня свобода, было немало хорошего, но с тех пор я всегда был один.

Он опять взял стакан, осторожно выцедил последний глоток и встал.

— Если не возражаешь, пойду прилягу, не хочу больше об этом говорить. Да и тебя, наверно, уже дела ждут.

Доктор кивнул.

— Послушай, только одно. Я хочу сегодня же исхлопотать место в больнице, тебе это, может, и не улыбается, но тут уж ничего не поделаешь. Если тебя срочно не поместить под надзор врача, ты помрешь.

— Вот что, — сказал Кнульп с необычной для него твердостью, — позволь уж мне помереть, как мне хочется. Ты ведь знаешь, мне все равно ничего не поможет, почему я должен напоследок дать запереть себя в четырех стенах?

— Кнульп, не надо так, будь же благоразумен! Грош мне была бы цена, если бы я, врач, отпустил тебя странствовать. В Оберштеттене мы наверняка получим место, я дам тебе с собой рекомендательное письмо, а через недельку сам приеду тебя проведать. Обещаю.

Бродяга как-то поник на своем стуле, казалось, он вот-вот заплачет; при этом он потирал худые руки, как бы желая согреться. Затем взглянул на доктора молящим, детским взором.

— Да, конечно, — сказал он совсем тихо. — Я не прав, ты ведь так стараешься, и красное вино тоже… все было даже слишком хорошо и слишком для меня роскошно. Не сердись, но у меня к тебе еще одна последняя просьба.

Махольд положил руку ему на плечо.

— Образумься, старина! Никто за горло тебя не берет. В чем же просьба?

— Ты не рассердишься?

— Помилуй, за что?

— Тогда очень прошу тебя. Махольд, сделай одолжение, не посылай меня в Оберштеттен! Если уж непременно в больницу, так пусть это будет Герберзау, там меня знают, там я дома. Да и в смысле попечительства о бедных это, верно, удобнее: я тамошний уроженец, да и вообще…

Его глаза настойчиво молили, он едва мог говорить от волнения.

«У него, верно, жар», — подумал Махольд. И ответил спокойно:

— Если это все, о чем ты просишь, то не беспокойся. Ты прав, я лучше напишу в Герберзау. А сейчас иди и ложись, ты устал, ты чересчур много говорил.

Он следил, как тот побрел в дом, волоча ноги, и вдруг припомнил лето, когда Кнульп учил его ловить форель: разумные, немного властные повадки, весь пыл и обаяние этого пленительного двенадцатилетнего мальчика.

«Бедняга», — подумал он с умилением, которое ему как-то мешало, быстро поднялся и поспешил по делам.

На следующее утро все вокруг затянуло туманом, и Кнульп целый день пролежал в постели. Доктор дал ему почитать несколько книг, которые он, впрочем, едва раскрыл. Он был удручен, раздосадован, ибо с тех пор, как он лежал, окруженный заботливым уходом, получая лучшую пищу, он особенно явственно чувствовал, что дела его плохи.

«Если я еще так пролежу, — мрачно размышлял он, — я, пожалуй, уж и не встану». Не так уж он дорожил своей жизнью, в последние годы дорога потеряла для него большую часть своей былой привлекательности, но он не хотел умирать, не повидав еще раз Герберзау и тайно со всем не попрощавшись: с речкой и с мостом, с базарной площадью, с садом, когда-то принадлежавшим его отцу, и с той самой Франциской. Все его более поздние увлечения были позабыты, вообще вся длинная череда его страннических лет вдруг сократилась для него и стала казаться маловажной, зато далекие мальчишеские годы обрели новый блеск и волшебство.

Он внимательно оглядел простое убранство комнаты, уже много лет он не жил в такой роскоши. Деловито разглядывал он и ощупывал полотно простынь, тонкие наволочки, некра-

шеное шерстяное одеяло. Его занимал и пол из крепких дубовых досок, и фотография на стене, изображавшая Дворец дожей в Венеции и вставленная в рамочку с мозаикой.

Затем он вновь лежал с открытыми глазами, ничего не видя вокруг, бессильный, всецело поглощенный тем, что незримо происходило в его больном теле. Потом внезапно приподнялся и, наклонившись, лихорадочно стал шарить под кроватью; дрожащими пальцами вытащив оттуда свои башмаки, он подверг их тщательному придирчивому осмотру. Новыми они давно уже не были, но сейчас на дворе октябрь, до первого снега, пожалуй, выдержат. А потом уж не надо. Ему пришла в голову мысль, что можно было бы попросить у Махольда пару старой обуви, но нет, тот только насторожится, ведь для больницы обувь не нужна. Он осторожно ощупывал трещины на передке. Хорошенько смазать их жиром, и башмаки продержатся еще месяц. Он зря беспокоится, быть может, эти старые башмаки переживут его самого и будут служить, когда он давно уж исчезнет со здешних проселков.

Он уронил башмаки и попытался глубоко вздохнуть, но ему стало так больно, что он закашлялся. Тогда он замер в ожидании чего-то, коротко ды-

ша, опасаясь, как бы ему сейчас не стало до того худо, что он не успеет выполнить последние свои желания.

Он попытался думать о смерти, как уже неоднократно пытался прежде, но голова у него устала, и он задремал. Когда он проснулся через час, ему показалось, что он проспал целые сутки, и он почувствовал себя успокоенным и освеженным. Он вспомнил о Махольде, и ему пришло в голову оставить доктору какой-нибудь знак своей благодарности, когда он его покинет. Он хотел было переписать ему одно из своих стихотворений, благо доктор вчера о них спрашивал, но оказалось, что ни одно он сейчас не помнит до конца и ни одно ему не нравится. В окно ему был виден ближний лес и туман, клубящийся между деревьями, — он смотрел на него так долго, пока его не осенило. Подобранным вчера в доме огрызком карандаша на листе белой бумаги, прикрывавшем дно выдвижного ящика в его тумбочке, он написал несколько строк:

Цветам приходит
Пора увядать,
Когда ложится туман.
И людям приводит

Пора умирать,
Тогда их в могилу кладут.
Но ведь и люди — те же цветы,
И они взойдут из земли,
Когда наступит весна.
И никто никогда не будет болеть,
И простится любая вина.

Он кончил и перечел написанное. Настоящей песни не вышло, отсутствовали рифмы, но здесь было именно то, что он желал выразить. Он еще послюнил карандаш и приписал снизу: «Господину доктору Махольду, его благородию, с благодарностью от друга К.». Затем спрятал листок в ящик тумбочки.

На следующий день туман усилился, но воздух был обжигающе ледяной и к полудню можно было ожидать солнца. В ответ на мольбы Кнульпа доктор разрешил ему подняться и сообщил, что место в больнице Герберзау для него уже приготовлено и его там ждут.

— Тогда сразу после обеда можно и отправляться, — решил Кнульп. — Туда ходу всего часа четыре, от силы пять.

— Этого еще не хватало, — рассмеялся Махольд. — Нет, пешие походы теперь не для тебя,

поедешь со мной в бричке, если не представится другой оказии. Сейчас пошлю к Шульце, он, верно, отправит в город овощи или картофель. Один день тут ничего не решает.

Гость вынужден был подчиниться, и когда выяснилось, что назавтра работник Шульце и впрямь поедет в Герберзау, повезет двух телят на продажу, решено было, что Кнульп отправится с ним.

— Тебе бы еще сюртук потеплее, — сказал Махольд. — Мой возьмешь или будет широк?

Кнульп не имел ничего против сюртука доктора, его принесли, примерили и нашли впору. Поскольку он был почти новый и хорошего сукна, прежнее ребяческое тщеславие вдруг овладело Кнульпом: он немедля уселся и стал переставлять пуговицы. Доктор с улыбкой предоставил ему этим заниматься и еще подарил вдобавок манишку.

После обеда Кнульп украдкой примерил свой новый костюм, и так как выглядел он в нем щеголевато, почти как в прежние времена, его взяла досада, что он так давно не брился. Обратиться к домоправительнице и попросить докторскую бритву он не решался, но в этой деревне он когда-то знал кузнеца и решил сделать попытку.

Вскоре он без труда отыскал кузню, вошел внутрь и с порога произнес старинное цеховое приветствие:

— Чужой кузнец не прочь поковать!

Мастер смерил его холодным испытующим взглядом.

— Вовсе ты не кузнец, — равнодушно ответил он. — Заливай другому!

— Верно, — согласился бродяга. — У тебя зоркий глаз, мастер, и все же ты меня не узнал. Припомни, я был прежде музыкантом, и не один субботний вечер ты отплясывал в Хайтербахе под мою гармонику.

Кузнец насупил брови, сделал еще несколько машинальных движений напильником, потом провел Кнульпа к свету и внимательно его оглядел.

— Да, теперь я тебя признал, — усмехнулся он. — Значит, ты Кнульп. Видно, чем дольше не видишься, тем больше стареешь. Чего тебе надо в Булахе? Впрочем, за десятью пфеннигами и за стаканчиком сидра я не постою.

— Это прекрасно с твоей стороны, кузнец, считай, что я это оценил. Но пришел я за другим. Не одолжишь ли ты мне на четверть часа свою бритву, я, видишь ли, собрался на танцы.

Мастер погрозил ему пальцем.

— Ну и здоров же ты врать! Если судить по твоему виду, тебе сейчас не до танцев.

Кнульп удовлетворенно захихикал.

— Ты замечаешь все! Просто жаль, что ты у нас не окружной судья. Да, верно, мне завтра отправляться в больницу, Махольд меня туда посылает, и понятно, я не хочу явиться к ним обросшим как медведь. Дай мне бритву, через полчаса я тебе ее верну.

— Вот как? А куда ты с ней пойдешь?

— Да к доктору, я у него ночую. Слушай, дашь ты мне ее?

Кузнецу все это казалось сомнительным, он глядел недоверчиво.

— Ладно уж, бери. Только помни, это не простая бритва, а настоящая золингенская сталь. Я хочу, чтобы она непременно ко мне вернулась.

— Да не беспокойся ты!

— Ну хорошо. Я вижу, дружок, на тебе отличный сюртук, для бритья он тебе не нужен. Вот что я тебе скажу: разденься и оставь сюртук, а принесешь бритву, получишь его назад.

Бродяга поморщился.

— Согласен. Особым благородством ты, кузнец, не отличаешься, но пусть будет по-твоему.

Кузнец притащил наконец бритву, и Кнульп оставил за нее в залог сюртук, хотя ему было неприятно, что кузнец трогал его своими черными от сажи ручищами. Через полчаса он возвратился и принес назад золингенскую бритву клочковатая бородка его исчезла, и выглядел он совсем по-другому.

— Теперь тебе гвоздику за ухо, и можешь свадьбу играть, — одобрил его кузнец.

Но Кнульп больше не был расположен к шуткам, он надел свой сюртук, коротко поблагодарил и удалился.

На обратном пути перед домом он встретил доктора, который удивился, увидев его:

— Где это тебя носит? И как ты выглядишь? Никак, побрился! Ох, Кнульп, ты еще совсем ребенок!

Но ему это понравилось, и вечером Кнульп снова получил красное вино. Друзья пили на прощанье, оба шутили, как могли, оба старались скрыть внутреннюю подавленность.

Утром в назначенный час подкатил батрак Шульце на телеге, где в дощатой клетке качались на дрожащих ножках два теленка и пристально вглядывались в холодное утро. Впервые в тот день на лугах выпал иней. Кнульпа посадили

на козлы рядом с батраком, колени прикрыли одеялом, доктор пожал ему руку и сунул батраку полмарки; телега загрохотала навстречу лесу, батрак раскурил трубку, а Кнульп, моргая сонными глазами, воззрился в белесое стылое небо.

Позже проглянуло солнце, к полудню вовсе распогодилось. Двое на козлах отлично поладили друг с другом, и когда они подъехали к Гербер-зау, батрак непременно желал сделать крюк со своими телятами и подвезти Кнульпа прямо к больнице. Кнульп, однако, его отговорил, и они дружески расстались перед въездом в город. Кнульп остался стоять на дороге и долго глядел вслед телеге, пока она не скрылась за кленами у самого скотного рынка.

Он улыбнулся и мгновенно нырнул на узкую заросшую тропку между садами, известную только местным уроженцам. Он снова на воле! В больнице могут обождать.

И вот воротившийся странник вновь вбирал в себя свет и дыхание, звуки и запахи родины, волнующее и насыщающее чувство, что ты дома; возню крестьян и бюргеров на скотном рынке, сквозные тени пожелтевших каштанов, предсмертный полет темных осенних бабочек над городскою стеной, пение четырехструйно-

го фонтана на базарной площади, запах вина и звонкий деревянный перестук из сводчатого подвала бочарной мастерской. И такие знакомые названия улиц, над каждой из которых обильно роятся воспоминания. Всеми фибрами впивал в себя бездомный это многогранное волшебство: ощущать себя дома, знать, узнавать, вспоминать, быть на «ты» с каждым перекрестком и с каждой уличной тумбой. Всю вторую половину дня он без устали обходил улицы, одну за другой, слушал гудение точила на берегу реки, постоял у окошка токарной мастерской, прочитал на свежих табличках старые знакомые имена почтенных семейств. Он окунул руку в каменный бассейн фонтана, но утолить жажду решился лишь в «Настоятельском источнике», который все так же таинственно, как в былые времена, вытекал прямо из-под фундамента старинного дома и журчал между каменных плит в светлом сумраке навеса. Он долго стоял у реки, опираясь на деревянную ограду, и следил за текущей водой: в ней качались длинные пряди темных водорослей, и узкие спинки рыб неподвижно чернели над вздрагивающей галькой. Он ступил на ветхие деревянные мостки и на самой середке их встал на колени, как когда-то мальчишкой,

чтобы ощутить прекрасную живую упругость дерева. Не спеша пустился он дальше, бродил, ничего не пропуская: ни церковной липы посреди небольшого зеленого газона, ни плотины на верхней мельнице, где в прежние годы он больше всего любил купаться. Он постоял перед домиком, в котором когда-то жили его родители, нежно коснулся спиной выщербленной двери и через новую унылую ограду из проволоки глядел на сад, засаженный по-новому, — но каменные ступеньки, изъеденные дождями, и раскидистое айвовое дерево у ворот были все те же. Здесь Кнульп провел лучшие дни своей жизни, еще до того, как он добился, чтобы его выгнали из гимназии, здесь он изведал когда-то полное, неограниченное счастье, свершение без предела, блаженство без горечи, сладостный летний вкус краденой вишни на языке, короткие мирные радости садовода, наблюдающего и ухаживающего за своими цветами: милые желтофиоли, задорные вьюнки, нежные бархатистые анютины глазки, — а клетки для кроликов, а верстак, а постройка и запуск змея, водопровод из бузинных трубок и мельничное колесо из катушки и щепок. Не было ни одного чердака, на котором он бы не играл с кошками, не было сада, плодов которого

он не попробовал бы на вкус, не было дерева, на которое он бы не взобрался, в ветвях которого не обрел бы уютное зеленое гнездышко. Эта частичка света принадлежала ему, вся была им познана и любима; каждый куст, каждая изгородь здесь имели для него свое неповторимое значение, свой смысл и могли рассказывать множество историй, каждый дождь и снегопад что-то говорили его душе, здешние земля и воздух пребывали в его снах и мечтах, отвечали на них, вдыхали в них жизнь. И сегодня еще, думал Кнульп, не найдется владельца дома или сада, которому все это принадлежало бы больше, чем ему, было бы более важно, более ценно, больше говорило бы душе, больше пробуждало бы воспоминаний.

Зажатый между двумя крышами, отвесно вздымался серый остроконечный щипец узкого дома. В те времена там жил дубильщик Хаазис, и там нашли конец детские игры и мальчишеские радости Кнульпа, сменившись первыми секретами и нежной возней с девчонками. Оттуда он возвращался вечерами по темной улице с бьющимся сердцем и робким предчувствием любовных наслаждений, там он расплетал косички дочерям дубильщика и пьянел от поцелуев прекрасной Франциски. Он пойдет туда вечером, попозднее,

или завтра. Эти воспоминания сейчас не так его привлекали, он охотно отдал бы их все за память об одном-единственном часе более ранней, мальчишеской своей поры.

Час и долее он просидел у забора, глядя в сад, но видел вовсе не этот чужой незнакомый сад с молодыми ягодными кустами, по-осеннему голый и некрасивый. Перед глазами у него стоял сад отца, его собственные цветы на маленькой клумбочке, посаженные на пасху примулы и остекленевшие бальзамины, галечные горки, на которые он, наверное, сто раз сажал пойманных ящериц, сокрушаясь, что ни одна не желает жить тут и быть его домашним зверьком, но преисполняясь новых надежд и ожиданий всякий раз, как притаскивал еще одну. Пусть бы ему подарили сегодня все дома и сады, все цветы, всех ящериц и пичуг на свете, — какая этому цена в сравнении с волшебством того единственного цветка, который рос в его садике и медленно распускал из бутона свои драгоценные лепестки. А смородиновые кусты, каждый из которых он знал на память! Их больше нет, они не были вечными, неистребимыми, и вот кто-то выкопал их из земли и вырвал с корнем, развел костер, и все разом сгорело — ветви, корни, увядшие листья, — и

никто о них не пожалел.

Да, здесь у него бывал Махольд. Теперь он доктор и важный господин, ездит в собственной бричке с визитами к больным и при этом остался добрым искренним человеком; но даже он, даже этот умный подтянутый мужчина, — какая цена ему в сравнении с тем доверчивым, робким, полным ожиданий и нежности мальчуганом? Здесь Кнульп учил его искусству строить клетки для мух и домики для улиток, был его наставником, его старшим, умным, обожаемым другом.

Соседская сирень состарилась и высохла, а дощатый домик в соседнем саду развалился, и что ни построй взамен, оно никогда не будет так радовать взгляд, не будет таким прекрасным и уместным, каким все было когда-то.

Начало смеркаться и похолодало, когда Кнульп покинул наконец заросшую тропку между садами. С башни новой церкви, сильно изменившей вид города, громко и отчетливо бил новый колокол.

Через ворота он прокрался в сад дубильщика, был субботний вечер, в этот час здесь не было ни души. Неслышно прошел он по мягкой раскисшей земле, меж зияющих ям со щелочным раствором, где мокли кожи, до невысокой ограды, за которой

уже темнела река, обтекая большие, обросшие мохом зеленые камни. Это было то самое место — здесь в вечерний час сидела тогда Франциска, болтая в воде голыми ногами.

Если бы только она меня не морочила понапрасну, думал Кнульп, все могло бы быть иначе. Пусть я упустил гимназию, учение, — у меня бы достало сил и воли хоть кем-то стать. Как проста, как ясна была жизнь! Тогда он отказался от всего, ни о чем не захотел знать, и жизнь легко с этим согласилась и ничего от него не потребовала. И он оказался вне ее, бездельник, сторонний наблюдатель, столь любимый в щедрые юные годы и столь одинокий в старении и болезни.

Его охватила великая усталость, он присел на ограду, и река шумела не внизу, а в его мыслях. Над ним осветилось оконце, напомнив, что поздно, нельзя, чтобы его здесь застали. Он бесшумно выбрался из сада, выскользнул из ворот, запахнул сюртук поплотнее и стал размышлять о ночлеге. У него были при себе деньги, доктор подарил ему, и после краткого раздумья он выбрал один из постоялых дворов. Он мог, конечно, заночевать в «Ангеле» или в «Лебеде», там бы его узнали, он встретил бы друзей, но это ему сейчас вовсе не улыбалось.

Много перемен нашел он в родном городе, раньше он обо всем бы осведомился с величайшим интересом, но сейчас не желал ни видеть, ни слышать, ни знать ничего, что не относилось бы к его прошлому. После коротких расспросов он выяснил, что Франциски уже нет в живых, и все для него поблекло, ему вдруг показалось, что он возвратился только ради нее. Нет, не имело более смысла бродить по улицам, пробираться между садами и выслушивать участливые шутки тех, кто знал его раньше. И когда он в переулке возле почты повстречал ненароком окружного врача, ему пришло в голову, что его могут хватиться в больнице и объявить розыск. Тогда он поскорее купил у булочника две сайки, запихал их в карманы и еще до полудня покинул город, начав подъем по крутой горной дороге.

Там наверху, у самого края леса, у последнего большого поворота дороги сидел на куче камней запыленный человек и длинным молотком раскалывал глыбы серо-голубого ракушечника.

Кнульп поздоровался и остановился возле него.

— Бог в помощь! — отозвался тот, не поднимая головы и продолжая стучать.

— Пожалуй, погода долго не простоит, — попро-

бовал завязать разговор Кнульп.

— Все может быть, — пробурчал каменотес и поднял на миг голову, жмурясь от света. — Куда путь держите?

— В Рим, к папе, — бодро отозвался Кнульп. — Далеко мне еще идти?

— Сегодня не дойдете. А ежели будете останавливаться и отрывать людей от работы, вам и за год не добраться.

— Вы так думаете? Впрочем, я, слава богу, не спешу. Ох, до чего же вы прилежный человек, господин Андрес Шайбле.

Каменотес поставил ладонь козырьком и еще раз внимательно оглядел путника.

— Стало быть, вы меня знаете, — проговорил он степенно и осторожно. Сдается мне, что и я вас знаю. Только вот имя никак не припомню.

— Спроси хозяина «Краба», где мы с тобой посиживали anno[6] девяносто; только его небось уж на свете нет.

— Давно уж нет. Теперь мне что-то брезжит, старый приятель. Ты Кнульп. Посиди немного, в ногах правды нет.

Кнульп присел на камень, он слишком быстро

---

[6] Примечания: 6
В году *(лат.).*

поднимался и сейчас трудно дышал; он теперь только заметил, как уютно и красиво расположился городок в долине: сияющая голубая река, скопление темно-красных крыш и между ними маленькие зеленые островки.

— Славно у тебя здесь наверху, — сказал он, борясь с одышкой.

— Да ничего, грех жаловаться! А у тебя как дела? Небось раньше-то в горку поднимался полегче? Ты пыхтишь, как паровоз, Кнульп. Что, снова потянуло поглядеть на родные места?

— Верно, Шайбле, в последний разочек.

— Почему так?

— Да легкие совсем никуда… Не знаешь ничего против этой хвори?

— Сидел бы ты дома, мой милый, работал бы день за днем, завел жену, ребятишек и каждый вечер ложился бы в свою кровать, — глядишь, все было бы по-другому. Ну, что я об этом думаю, то я тебе еще когда высказал. Теперь уж ничего не поправишь. А что, совсем худо стало?

— Да не знаю. Нет, вру, знаю отлично: дела мои идут под горку, и с каждым днем все шибче. Потому, может, и лучше, что я один, никому не в тягость.

— Да с какой стороны поглядеть; впрочем, это

дело твое. Но мне тебя жаль.

— Не стоит жалеть. Всем придет черед помирать, даже и каменотесам. Послушай, старина, мы сидим сейчас с тобой один на один, и незачем так уж задаваться. Ты ведь когда-то тоже мечтал о другом, разве ты не хотел работать на железной дороге?

— Ах, да это когда было!

— А дети твои здоровы?

— А как же. Якоб уже сам зарабатывает.

— Вот как? Ну и бежит время! Ладно, думаю, что мне пора дальше.

— Не спеши! Ведь так давно не видались. Скажи мне, Кнульп, могу я тебе хоть чем-нибудь помочь? Много-то я при себе не имею, а полмарки есть.

— Они тебе самому пригодятся, дружище! Благодарю, мне не надо.

Он хотел было еще что-то добавить, но словно обруч стиснул ему сердце, и он замолк; каменотес дал ему отхлебнуть из своей фляги. Некоторое время оба молчали и глядели вниз на город; пруд возле мельницы ослепительно сверкал на солнце, по мосту медленно ехала груженая телега, а из-под плотины не спеша выплывал выводок белых гусенят.

— Теперь уж я точно отдохнул, пора двигаться

дальше, — снова начал Кнульп.

Каменотес, погруженный в свои мысли, только покачал головой.

— Послушай, — сказал он, с трудом подбирая слова, — ты ведь мог не только не дойти до такой бедности, а просто-таки многого достичь. Чертовски за тебя обидно. Знаешь, Кнульп, я, конечно, не штундист, но я верю тому, что написано в Библии. Вспомни и ты об этом: когда надо будет держать ответ, нелегко тебе придется! Дарований у тебя было больше, чем у любого другого, и ничего из тебя не вышло. Ты не должен на меня сердиться, что я так говорю.

Кнульп усмехнулся, искорка прежнего озорства промелькнула в его глазах. Он дружески похлопал каменотеса по плечу и встал.

— Поживем — увидим, Шайбле. Может, господь бог вовсе не станет меня допрашивать: почему ты, такой-сякой, не стал судьей? Может, он только скажет: «Ты снова здесь, Кнульп, дитя неразумное?» — и даст мне работенку полегче — присматривать за ребятишками или еще что.

Андрес Шайбле только пожал плечами под своей синей в белую клетку рубашкой.

— С тобой невозможно говорить серьезно. Ты воображаешь, что стоит явиться Кнульпу, и сам

господь станет шуточки шутить.

— Вовсе нет. Но ведь может и так случиться, не правда ли?

— Не говори этого!

На прощанье они пожали друг другу руки, и каменотес все же ухитрился всучить ему монетку, которую незаметно выгреб из кармана. Кнульп взял ее, не сопротивляясь, чтобы не портить ему радость.

Он кинул прощальный взгляд на родную долину, еще разок кивнул Андресу Шайбле, сильно закашлялся и быстрым шагом зашагал прочь, вскоре исчезнув за верхним выступом леса.

Через две недели, после того как туман и холода еще раз сменились солнечными днями с поздними колокольчиками и переспелой ежевикой, внезапно наступила зима. Ударил сильный мороз, на третий день, когда в воздухе чуть потеплело, начали падать частые тяжелые хлопья снега.

Кнульп все эти дни проскитался без цели по родной округе, он еще дважды, спрятавшись в лесу, видел неподалеку от себя каменотеса Шайбле, наблюдал за ним, но окликать его больше не стал. Слишком много ему приходилось думать — и во время этих долгих, трудных и бесполезных

переходов он все больше запутывался в терновых дебрях своей впустую растраченной жизни, не находя ни смысла, ни утешения. Затем на него с новой силой обрушилась болезнь, и дело дошло до того, что в один прекрасный день он чуть было сам не явился в Герберзау и не постучал в двери больницы. Но когда после многодневного одиночества он снова увидел внизу родной город, все от него исходившее звучало так чуждо и враждебно душе Кнульпа, что ему стало ясно: там ему делать нечего. Время от времени он заходил в деревни и покупал немного хлеба, а лесных орехов было везде вдоволь. Ночи Кнульп проводил в опустевших хижинах лесорубов или просто на поле, зарывшись в скирду соломы.

На этот раз в сильную метель он спустился с Волчьей горы и вышел к нижней мельнице, разбитый и усталый, но все еще на ногах, как будто обязан был до предела прожить недолгий остаток жизни и все мчаться вперед по лесным просекам и дорогам. Как он ни был болен и слаб, его глаза и ноздри сохраняли былую живость, и еще сейчас, безо всякой цели, он приглядывался и принюхивался, как чуткий охотничий пес, не пропуская ни одного бугорка, ни одного звериного следа, ни одного порыва ветра. Он делал это помимо воли,

и ноги его шли сами собой.

В мыслях же своих, как все последние дни, он опять предстоял перед господом богом и непрерывно с ним беседовал. Страха он не испытывал, он знал, что бог ничего не может нам сделать. Они беседовали друг с другом, бог и Кнульп, о бесполезности прожитой Кнульпом жизни и о том, как все могло бы быть по-другому и почему то или это случилось так, а не иначе.

— С той поры все и началось, — упорствовал Кнульп, — с той поры, как мне было четырнадцать и Франциска меня бросила. Тогда из меня еще что угодно могло получиться. Но что-то во мне умерло или сломалось, и я уже был ни на что не годен. Ах, нечего говорить, ошибка в том, что ты не дал мне умереть в четырнадцать лет. Тогда моя жизнь была бы такой же прекрасной и совершенной, как спелое яблоко.

Господь бог, однако, все время улыбался, слушая Кнульпа, и по временам его лицо пропадало в метели.

— Нет, Кнульп, — говорит он назидательно, — вспомни свои юношеские скитания, вспомни лето в Оденвальде и лехштеттенские деньки. Разве же ты не отплясывал там, как молодой олень, не чувствовал, как благодатная жизнь

играет во всех твоих помыслах? Разве ты не пел и не играл на гармонике так, что девушки глаз с тебя не сводили? А помнишь еще летнюю пору в Бауэрсвилле? А первую подружку твою, Генриетту? Разве всего этого не было?

И Кнульп припоминал все это, и, как дальние огни на вершинах гор, смутно и прекрасно мерцали ему радостные дни его юности; от них исходил тяжелый сладкий аромат, как от вина и меда, и пели они низкими голосами, как ночной ветер в пору оттепели в преддверье весны. О, господи, это было прекрасно, и радость была прекрасна и печаль, и мучительно жаль каждого дня, который упущен!

— Да, это было прекрасно, — вынужден признать он, но говорит он это капризно и упрямо, как усталый ребенок. — Тогда было прекрасно. Конечно, и чувство вины бывало, и грусть тоже. Правда твоя, это были славные годы, и немногие, наверно, так осушали стаканы, отплясывали такие танцы и праздновали ночами такие свадьбы, как я тогда. Но потом, потом пусть бы на этом все и кончилось! Уже и тогда на розе были шипы, а после и вовсе не было таких хороших времен. Нет, с тех пор не было.

Господь почти совсем исчез за густой пеленой

снега. Только когда Кнульп остановился ненадолго, чтобы перевести дух и сплюнуть в снег маленькие красные сгустки крови, господь снова был тут как тут и незримо подал голос.

— Скажи на милость, Кнульп, разве ты не неблагодарный человек? Смех берет, до чего ты забывчив! Мы сейчас вспоминали о той поре, когда ты был первым танцором, и о твоей Генриетте, и тебе поневоле пришлось согласиться, что это было и прекрасно, и славно, и уж ничуть не бессмысленно. Но если вспоминать так про Генриетту, мой милый, то что уж сказать про Лизабет? Или ее ты совсем позабыл?

И снова, как дальние горы, встало перед ним прошлое, и хоть выглядело оно теперь не так весело и радостно, зато сияло теплее и задушевнее, словно женщина улыбалась сквозь слезы, и из могил вставали дни и часы, о которых он давно уж не вспоминал. А посреди всего стояла Лизабет, с прекрасными, печальными глазами, и держала на руках крошечного мальчонку.

— Какой я, однако, был негодяй! — снова стал сетовать Кнульп. — Нет, после того как умерла Лизабет, жить мне уж вовсе не следовало!

Но господь не дал ему продолжать. Он посмотрел на него проницательным взглядом светлых

глаз и сказал:

— Оставь, Кнульп! Ты причинил Лизабет много горя, что верно, то верно, но ты ведь прекрасно знаешь, что она видела от тебя больше хорошего, чем плохого, и никогда на тебя не гневалась. Ты все еще не догадался, дитя неразумное, в чем был смысл всего? Ты все еще не догадался, мой милый, зачем тебе суждено было пройти по жизни легкомысленным бездельником и бродягой. Да затем, чтобы внести в мир хоть малую толику детского сумасбродства и детского смеха. Затем, чтобы люди тебя повсюду чуточку любили, чуточку поддразнивали и чуточку были тебе благодарны.

— В конечном счете это правда, — чуть слышно согласился Кнульп, немного помолчав. — Но все это было раньше, когда я был еще молод. Почему, ну почему ничто меня не научило и я так и не стал порядочным человеком? Еще можно было успеть.

Снегопад на некоторое время прекратился. Кнульп передохнул и хотел было смахнуть с одежды и шляпы толстый слой снега, но так и не сделал этого, был слишком утомлен и рассеян. Господь стоял теперь совсем близко, светлые его глаза были широко раскрыты и сияли, как солнце.

— Когда же ты будешь доволен, — наставлял его господь, — к чему эти непрерывные жалобы? Ты что, и в самом деле не понимаешь, что все было хорошо и не могло быть иначе? Неужто тебе сейчас хочется быть почтенным господином или мастером, иметь жену и детей, читать по вечерам газету? Да разве мог бы ты не удрать от всего этого куда глаза глядят, в чащу лесную спать вместе с лисами, ставить ловушки на птиц и дрессировать ящерок?

Кнульп снова побрел вперед, от усталости он качался из стороны в сторону, но не замечал этого. На душе у него стало теперь гораздо легче, и он благодарно кивал головой на все, что говорил господь.

— Слушай, — говорил ему господь, — ты мне был нужен такой, какой ты есть. Во имя мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе. Во имя мое ты делал глупости и бывал осмеян; это я сам был осмеян в тебе и в тебе любим. Ты дитя мое, брат мой, ты частица меня самого, все, что ты испытал и выстрадал, я испытал вместо с тобой.

— Да, — отвечал Кнульп, с трудом кивая головой. — Да, это так, я всегда это знал.

Он спокойно лежал в снегу, усталые члены его

обрели необыкновенную легкость, а воспаленные глаза улыбались.

И когда он их закрыл, чтобы хоть немного поспать, он все еще продолжал слышать голос и видеть ясные глаза господа.

— Значит, жаловаться больше не на что? — спрашивал голос.

— Не на что, — послушно кивал Кнульп и смущенно смеялся.

— И все хорошо? Все как должно быть?

— Да, — кивал он. — Все как должно быть.

Голос господа становился все тише и звучал теперь то как голос его матери, то как голос Генриетты, то как добрый мелодичный голос Лизабет.

Когда Кнульп вновь приоткрыл глаза, сияло солнце и так слепило, что он опять быстро сомкнул веки. Он почувствовал, как на его руках тяжело лежит снег, и хотел было сбросить его, но непобедимое желание уснуть пересилило в нем все другие желания.

Курортник

Заметки о моем лечении в Бадене

Посвящается братьям
Иозефу и Ксаверу
Марквальдерам

Предисловие

Эпиграф:
Праздность — мать всякой психологии.
Ницше

О швабах говорят, что они умнеют лишь к сорока годам, и сами, не очень-то самоуверенные, швабы подчас усматривают в этом нечто постыдное. Тогда как, совсем напротив, им оказывают великую честь, ибо подразумеваемый поговоркой ум (собственно, не что иное, как то, что молодежь именует также «стариковской мудростью», представление о великих антиномиях, о тайне круговорота и биполярности) даже у швабов, как они ни одарены, надо полагать, весьма редко встречается и среди сорокалетних. А вот поближе к пятидесяти, одарен ты или нет, эта самая мудрость, или стариковский склад ума, приходит сама собой, в особенности если этому еще способствует начавшееся телесное старение со всякими немощами и недугами. К наиболее распространенным из таких недугов относятся подагра, ревматизм и ишиас, и как раз эти забо-

левания и приводят нас, курортников, сюда на воды, в Баден. Так что окружающая среда как нельзя более благоприятствует тому складу ума, к которому приобщился сейчас и я, и здесь, как мне кажется, ты сам собой, ведомый genius loci,[7] приходишь к некой скептической вере, простодушной мудрости, очень тонкому искусству все упрощать, очень интеллигентному антиинтеллектуализму, что наряду с теплом принимаемых ванн и запахом серной воды и составляет специфику Бадена. Словом, нам, курортникам и подагрикам, крайне важно сглаживать в жизни острые углы, смотреть сквозь пальцы, не строить себе больших иллюзий, но зато пестовать и лелеять сотни маленьких и утешительных. Нам, курортникам в Бадене, сдается мне, особенно

[7] Примечания: 7
Местным гением *(лат.).*

необходимо представление об антиномиях,[8] и чем неподвижнее становятся у нас суставы, тем настоятельнее требуется нам эластичный, двусторонний, биполярный образ мышления. Наши страдания бесспорно истинны, но они не принадлежат к тому роду героических и картинных страданий, которые страдалец, не теряя нашего уважения, вправе раздувать до мировых масштабов.

Когда я так говорю, когда собственный образ мышления пожилого человека и ишиатика возвышаю до типического, до общей нормы, когда делаю вид, будто выступаю здесь не только от своего имени, но и от имени целой категории людей и возрастной группы, то хотя бы мгновениями все же отдаю себе отчет, что это великое заблуждение и что ни один психолог (разве что

[8] Примечания: 8

Мысль об антиномиях, то есть о противоречии между двумя взаимоисключающими принципами бытия, признаваемыми одинаково доказуемыми логическим путем, лежит в основе всего зрелого творчества Гессе. Эта мысль основана на представлении древних китайцев о биполярности бытия, о непрерывном взаимодействии «инь» (то есть отрицательного, женского, темного начала) с «ян» (то есть положительным, мужским, светлым). При этом искомая гармония мира мыслится как следствие соразмерности и совокупности двух противоположных начал. В творчестве Гессе идея биполярности определяет не только идейно-сюжетную сторону, но и накладывает свой отпечаток на форму произведения, на его архитектонику, конфронтацию ведущих мотивов, на группировку персонажей и даже на подбор лексических средств.

он мне брат и близнец по духу) не сочтет мою душевную реакцию на окружающий мир и судьбу нормальной и типической. Всего вероятнее, он, после краткого выстукивания, признает меня сравнительно одаренным, не требующим изоляции, бирюком из семейства шизофреников. Тем не менее я преспокойно пользуюсь обычным правом всех людей, в том числе и психологов, и переношу не только на людей, но даже на окружающие меня вещи и явления, больше того — на весь мир, свой образ мышления, свой темперамент, свои радости и горести. Считать свои мысли и чувства «правильными», считать их оправданными — этого удовольствия я не дам себя лишить, хотя окружающий мир ежечасно пытается убедить меня в обратном, да будь против меня большинство людей — мне все нипочем, я скорее сочту неправыми их, нежели себя. Тут я поступаю точно так же, как и с моим мнением о великих немецких писателях, которых почитаю, люблю и ценю не меньше оттого, что подавляющее большинство современных немцев поступает наоборот и предпочитает фейерверк звездам. Спору нет, ракеты красивы, ракеты восхитительны, да здравствуют ракеты! Однако звезды! Однако взор и мысль, озаренные

их тихим сиянием, озаренные их уходящей в беспредельность музыкой вселенной, — это же, друзья мои, как хотите, нечто несравнимое!

И, берясь, поздний маленький писатель, сделать набросок своего пребывания на водах, я припоминаю десятки путешествий на воды и поездок в Баден, описанных и хорошими и плохими авторами, и восхищенно и почтительно думаю о звезде среди ракет, о золотом среди кредиток, о райской птице среди воробьев, о «Путешествии на воды доктора Катценбергера»,[9] что не мешает мне, однако, решиться запустить вслед звезде свою ракету, вслед райской птице своего воробышка. Лети же, мой воробышек! Взвивайся, мой маленький бумажный змей!

---

[9] Примечания: 9

«Путешествие на воды доктора Катценбергера» — произведение Жан-Поля Рихтера. Гессе, большой почитатель Жан-Поля, сам называет сочинение, которое во многих отношениях послужило прообразом его «Курортника». Сходство между «Путешествием на воды доктора Катценбергера» и «Курортником» проявляется не столько во внешней сюжетной канве, сколько в выборе лексики, склонности к языковым каламбурам, иронически-юмористический манере повествования и в самой теме этих книг, которую в обоих случаях можно определить как вариации конфликта между идеалом и действительностью, между идеей и ее проявлением.

Курортник

Еще только поезд прибыл в Баден, еще только я кое-как, с трудом, спустился с подножки вагона, как магия Бадена не замедлила обнаружиться. Стоя на сырой бетонированной площадке перрона и высматривая гостиничного портье, я увидел, как с того же самого поезда, с каким прибыл я, сошло по меньшей мере трое или четверо коллег-ишиатиков, их легко было распознать по опасливому подтягиванию зада, нерешительной поступи и несколько беспомощной и плаксивой игре физиономии, сопровождавшей их осторожные движения. Хотя у каждого из них была своя особенность, своя разновидность болезни, а потому и своя манера ходить, замирать, быть скованным и прихрамывать, и у каждого своя индивидуальная, особая игра физиономии, все же общее перевешивало, и я их всех с первого взгляда признал за ишиатиков, за своих братьев, своих коллег. Кто однажды познакомился с проделками nervus ichiadicus[10] не по учебнику, а на опыте, именуемом врачами «субъективные

[10] Примечания: 10
Седалищного нерва *(лат.)*.

ощущения», у того глаз наметан. Я тотчас остановился и стал разглядывать этих заклейменных. И что же, все трое или четверо гримасничали еще страшнее, чем я, тяжелее опирались на палку, с большим трепетом подтягивали окорока, боязливее и нерешительнее переставляли ноги, все были больнее, несчастнее, достойнее жалости, чем я, и это подействовало на меня крайне благотворно, да и на протяжении всего моего пребывания в Бадене неизменно, вновь и вновь, мне служило неиссякаемым источником утешения то обстоятельство, что вокруг люди хромали, люди ползали, люди стонали, люди передвигались в креслах-каталках, были куда более больны, чем я, и имели куда меньше, чем я, оснований для хорошего настроения и надежд! Так я сразу, с первой же минуты, постиг один из главных секретов и магических свойств всех курортов и с истинным удовольствием наслаждался своим открытием: сообщество товарищей по несчастью, socios habere malorum.

А когда я наконец покинул платформу и с удовольствием позволил нести себя плавно спускавшейся под гору улице, ведущей к ванным заведениям, это ценное наблюдение с каждым шагом подкреплялось и усиливалось: всюду

плелись курортники, устало и несколько скособочившись, они сидели на окрашенных зеленой краской скамьях для отдыха, группками проходили мимо, прихрамывая и болтая. В кресле-каталке провезли женщину, она устало улыбалась, держа в болезненной руке полузавядший цветок, а позади выступала пышущая здоровьем и энергией, цветущая сиделка. Пожилой господин вышел из лавки, где ревматики покупают открытки, пепельницы и пресс-папье (почему им требуется такая уйма этого добра, навсегда останется для меня загадкой), — и этот вышедший из лавки пожилой господин тратил на каждую ступеньку крыльца никак не меньше минуты и взирал на расстилавшуюся перед ним улицу, как усталый и потерявший в себе уверенность человек взирает на поставленную перед ним сложнейшую задачу. Молодой еще мужчина в защитного цвета военной фуражке на косматой голове, работая сразу двумя палками, настойчиво, но с трудом продвигался вперед. Ах, уж одни эти палки, попадавшиеся здесь везде и всюду, эти чертовы увесистые больничные палки, оканчивающиеся толстенным резиновым наконечником, и, словно пьявки или паразиты, присасывающиеся к асфальту! Я, правда, тоже ходил с палкой, изящ-

ной ротанговой тросточкой, — не скрою, очень мне помогавшей, — но при нужде вполне мог обойтись без нее, и, уж во всяком случае, никто никогда не видел меня с такой мрачной дубинкой на резине! Нет, это совершенно очевидно и должно было каждому бросаться в глаза, как легко и непринужденно я фланировал по этой милой улице, как редко, скорее играя, пользовался ротанговой тросточкой, собственно предметом щегольства, простым украшением, как неприметно и безобидно у меня проявлялись, вернее были лишь обозначены, лишь едва намечены признаки ишиаса, боязливое подтягивание бедер, да и вообще как подтянуто и ловко я шагал по тротуару, как был молод и здоров по сравнению со всеми этими дряхлыми, несчастными, увечными братьями и сестрами, чьи недуги так явно, так неприкрыто, так неумолимо представали взору! С каждым шагом я набирался уверенности, вкушал сознание своего превосходства, я уже чувствовал себя почти здоровым, во всяком случае неизмеримо менее больным, чем все эти несчастные. Уж если такие полукалеки и хромые еще надеются на исцеление, такие вот люди с палками на резине, если Баден способен помочь таким, тогда мое пустяковое, только начавшееся

заболевание должно здесь исчезнуть, словно снег под горячим дуновением фена, тогда я для врача истинная находка, благодарнейший феномен, своего рода маленькое чудо исцелимости.

Дружелюбно смотрел я на эти ободряющие силуэты, преисполненный сочувствия и доброжелательности. Из кондитерской, переваливаясь, выползла пожилая дама; очевидно давно уже махнув рукой на всякие попытки скрыть свою немощь, она не отказывала себе ни в малейшем рефлекторном движении, прибегала к любому мыслимому облегчению, любой напрашивающейся игре вспомогательной мускулатуры и, размашисто пробиваясь на противоположную сторону улицы, вихляла, балансировала и плыла точь-в-точь морская львица, только помедленнее. Всем сердцем я ее приветствовал и мысленно кричал ей браво, я благословлял морскую львицу, благословлял Баден и счастливую свою судьбу. Ведь меня окружали соперники, окружали конкуренты, над которыми у меня были все преимущества. Как хорошо, что я так своевременно сюда приехал, еще на самой первой стадии легкого ишиаса, еще при самых первых, слабеньких симптомах начинающейся подагры! И, обернувшись, я, опираясь на трость,

долго провожал глазами морскую львицу с тем знакомым каждому приятным чувством, которое доказывает нам, что язык не нашел еще слов для сложных душевных движений, ибо такие языковые противоречия, как злорадство и сострадание, здесь были теснейшим образом переплетены. Господи, несчастная женщина! Вот до чего можно докатиться!

Но даже в самый окрыляющий миг душевного подъема, даже среди блаженной эйфории этих радостных минут во мне не окончательно умолк докучливый голос, к которому мы так неохотно прислушиваемся и который, однако, так нам необходим, голос рассудка, и он неприятно трезвым тоном, тихо и с сожалением, указывал мне, что мои утешительные заключения зиждутся только на ошибке, на порочном методе, что хотя я, слегка прихрамывающий литератор с ротанговой тростью, благословляя судьбу, сравниваю себя с каждым колченогим, каждым сильно хромающим и скрюченным больным, но почему-то не принимаю в расчет бесконечную шкалу симптомов по другую сторону моей персоны и попросту не замечаю тех больных, кто моложе, прямее, подвижнее и здоровее меня. Вернее, я их замечал, но предпочитал не сравнивать с собой,

более того, первые два дня я даже в простоте душевной думал, что все те, кого я встречал весело гуляющими, без палок и видимых телесных изъянов и хромоты, отнюдь не мои братья и коллеги, не курортники и конкуренты, а нормальные, здоровые местные жители. Что могут быть ишиатики, расхаживающие вовсе без палок и вовсе без судорожных телодвижений, что есть немало подагриков, по внешнему виду которых никто, в том числе и психолог, никогда не догадается об их болезни, что я, со своей слегка деформированной походкой и ротанговой тросточкой, отнюдь не нахожусь на первой, безобидной, низшей ступени нарушения обмена веществ, что я возбуждаю не только зависть настоящих хромых и колченогих, но и насмешливую жалость многочисленных коллег, служа им, в свою очередь, утешением и морским львом, — короче говоря, что мои проницательные наблюдения и сопоставления степеней болезни отнюдь не беспристрастное исследование, а единственно оптимистическое самообольщение, — сознание всего этого дошло до меня, как водится, лишь постепенно, по прошествии нескольких дней.

Итак, я черпал радость этого первого дня полной чашей, я предавался оргиям наивного

самоутверждения и был прав. Всматриваясь в попадавшихся мне всюду курортников, более хворых своих братьев, польщенный видом каждого калеки, отзываясь радостным состраданием и участливым самодовольством на каждое встречное кресло-каталку, я легким шагом спускался по улице, этой удивительно покойной, удивительно удобно проложенной улице, по которой прибывающих больных катят с вокзала вниз к ваннам; плавно изгибаясь, с приятным ровным уклоном она ведет вниз к старому ванному заведению, чтобы там, подобно иссякающей реке, затеряться в подъездах курортных гостиниц. Исполненный благих намерений и радужных надежд, я приближался к «Святому подворью»,[11] где думал остановиться. Надо только выдержать здесь три-четыре недели, ежедневно принимать ванны, как можно больше гулять и, по возможности, избегать забот и волнений. Временами, вероятно, будет несколько однообразно, придется и поскучать, поскольку деятельная жизнь здесь противопоказана, и мне, старому нелюдиму, не терпящему и лишь с трудом способному переносить стадную и гостиничную жизнь, конечно,

[11] Примечания: 11

«Святое подворье» — Под этим именем описывается гостиница «Веренахоф» в Бадене.

еще предстоит одолеть немало препятствий и не раз себя осаживать. Но, без сомнения, эта новая, совершенно мне непривычная жизнь, несмотря на, быть может, некоторый налет буржуазности и пошлости, позволит мне также узнать много забавного и интересного — и разве после долгих лет мирно-одичалой, деревенски уединенной жизни, заполненной одной только работой, мне не крайне необходимо на какое-то время вновь побыть среди людей? И главное: за всеми препятствиями, за начинающимися сегодня неделями курортного лечения, маячил день, когда, покинув гостиницу, я по этой самой улице бодро поднимусь в гору, день, когда помолодевший и здоровый, с эластично-подвижными коленями и бедрами, я распрощаюсь с Баденом и, приплясывая, направлюсь по этой приятной улице на вокзал.

Жаль только, что в ту самую минуту, когда я входил в гостиницу, принялся накрапывать дождь.

— Вы привезли нам плохую погоду, — отвечая на мое приветствие, с улыбкой пожурила меня необычайно любезная фрейлейн в конторе.

— Да, — растерянно ответил я. Как же так? Неужели это в самом деле я, вопрошал я себя, вызвал

этот дождь, сотворил его и привез с собою в Баден? Что плоский здравый смысл отвергал такую возможность, не могло мне, теологу и мистику, служить оправданием. Ведь так же как судьба и характер лишь разные наименования одного понятия, так же как я в известном смысле сам избрал и сотворил свое имя и профессию, свой возраст, черты лица, свой ишиас и никого, кроме себя, не вправе считать за них ответственным, так же, видимо, обстояло и с этим дождем. Я был готов взять его на себя.

Сообщив это фрейлейн и заполнив листок для приезжих, я приступил к тем переговорам о номере, которые нормальному человеку просто неведомы, весь ужас которых наивный счастливец даже не подозревает и чья беспросветность известна лишь попавшему на постоялый двор, привыкшему к уединению и полной тишине, страдающему бессонницей отшельнику и писателю.

Снять номер в гостинице — для нормальных людей сущий пустяк, самое обычное, не вызывающее никаких эмоций дело, с которым справляются за две минуты. Но для нашего брата, для подверженных бессоннице невротиков и психопатов, простейшее это дело перегружено

такой бездной воспоминаний, эмоций и фобий, что становится подлинной мукой. Приветливый хозяин гостиницы, симпатичная женщина-администратор, в ответ на нашу робко-настоятельную просьбу показывающие и рекомендующие нам свою самую «тихую комнату», не представляют себе, какую бурю ассоциаций, опасений, иронии и самоиронии будят в нас эти роковые слова. О, как хорошо, как до ужаса знакомы, как известны нам эти тихие комнаты, место наших горчайших мук, наших жесточайших поражений и потаеннейшего нашего позора! Как фальшиво и вероломно, как демонически глядит на нас ее гостеприимная мебель, радушные ковры и веселые обои! Как зловеще, как уничтожающе щерится вон та заложенная дверь в соседний номер, будто назло имеющаяся в большинстве таких комнат и часто, в сознании неблаговидной своей роли, стыдливо прячущаяся за портьеру! Как страдальчески-покорно поднимаем мы глаза к побеленному потолку, который в минуты осмотра склабится в безмолвной пустоте, чтобы затем, вечером и утром, ходить ходуном под шагами живущих наверху постояльцев — ах, если бы только шагов, это знакомые, и, стало быть, не самые страшные враги! Нет, наступает роковой час

и по бесхитростно белой плоскости, так же как сквозь тонкую дверь и стенку, прокатываются нежданные шумы и вибрации: тут и сброшенные башмаки, и уроненная на пол палка, и мощные ритмические сотрясения (указывающие на оздоровительную гимнастику), опрокинутые стулья, свалившаяся с ночного столика книга или рюмка, передвигаемые чемоданы и мебель. Добавьте еще человеческие голоса, диалоги и монологи, кашель, смех, храпение! И наконец, что всего хуже, непонятные, необъяснимые шумы, все те диковинные, призрачные звуки, которые мы не в состоянии определить, чье происхождение и чью возможную длительность никак не угадаешь, этот стук и возня домовых: треск, шепот, тиканье, вздохи, всхлипы, шуршание, стоны, скрипы, постукивания, пыхтение — одному богу известно, какой разнообразный невидимый оркестр скрывается на нескольких квадратных метрах гостиничного номера!

Так что выбор комнаты для нашего брата чрезвычайно щекотливое, ответственное и притом довольно-таки безнадежное дело, тут надо не упустить из виду десятки вещей, сотни возможностей. В одной комнате стенной шкаф, в другой — отопительные трубы, в третьей — дудящий

на окарине сосед готовит тебе акустические сюрпризы. И поскольку, как показывает опыт, ни об одной комнате нельзя с уверенностью сказать, что она обеспечит тебе желанный покой и мирный сон, ибо даже самая, казалось бы, покойная таит в себе сюрпризы (не поселился ли я однажды, ограждая себя сверху и с боков от беспокойных соседей в одинокой каморке для прислуги на шестом этаже и, вместо отвергнутого современника, обнаружил на тряском чердаке над собой полчища резвящихся крыс), не лучше ли вообще отказаться от выбора и попросту очертя голову действовать наобум, предоставив все случаю? Чем мучиться и волноваться, чтобы спустя несколько часов с грустью и разочарованием все равно оказаться лицом к лицу с неизбежным, не разумнее ли предоставить все слепой судьбе и, не выбирая, брать первый же предложенный тебе номер? Несомненно, разумнее. Однако мы так не поступаем или же поступаем в редчайших случаях, потому что если б единственно разум и стремление избегать тревог руководили нашими поступками, что бы это была за жизнь? Разве не знаем мы, что судьба наша с рождения предопределена и неотвратима, и, зная это, тем не менее горячо и страстно цепляемся за иллюзию выбора,

свободу воли? Разве каждый из нас, выбирая врача, когда заболевает, работу и место жительства, возлюбленную и невесту, не мог бы с одинаковым, а может, и большим успехом предоставить все случаю — и тем не менее каждый выбирает, каждый тратит на все это массу энергии, труда, душевных сил! Иной поступает так простодушно, с ребяческой увлеченностью, веря в свое могущество, убежденный в возможности повлиять на судьбу; другой, может, и скептически, глубоко убежденный в бесполезности своих усилий, но в той же мере убежденный, что действовать и стремиться, выбирать и мучиться лучше, жизненней, пристойнее или хотя бы забавнее, чем коснеть в бездеятельной покорности. Точно так же поступаю и я, наивный искатель комнат, когда, несмотря на глубокое убеждение в тщетности и комической бессмысленности своих усилий, всякий раз наново веду нескончаемые переговоры о будущем номере, добросовестно осведомляюсь о соседях, дверях одинарных и двойных… и прочем и прочем. Это игра, в которую я играю, своего рода спорт, когда в таком пустяковом и обыденном вопросе я вновь и вновь доверяюсь иллюзии, фиктивным правилам игры, будто к такого рода вещам вообще возможен разумный

подход и они того достойны. Я действую тут так же умно или так же безрассудно, как ребенок при покупке сластей или игрок, делающий ставку на основе математических выкладок. В подобных ситуациях все мы хорошо знаем, что имеем дело с чистой случайностью, но, следуя глубочайшей внутренней потребности, действуем тем не менее так, будто случайности нет и быть не может и будто все и вся на свете подчинено нашему разумному мышлению и логике.

Итак, я подробно обсуждаю с услужливой фрейлейн все пять или шесть свободных комнат. Об одной я узнаю, что за стенкой живет скрипачка и ежедневно по два часа упражняется — как-никак нечто положительное, теперь, при сократившемся выборе, я руководствуюсь наибольшим удалением от этого номера и этажа. Впрочем, у меня и без того в отношении условий и возможностей гостиничной акустики такое чутье и дар предвидения, которые можно только пожелать многим архитекторам. Короче говоря, я поступил осмотрительно, поступил разумно, я действовал продуманно и добросовестно, как и подобает действовать человеку нервному при выборе номера, с тем обычным итогом, который можно сформулировать примерно так: «Хоть это и бесполезно и

в выбранной комнате меня, без сомнения, ждут те же сюрпризы и разочарования, что и во всякой другой, все же я выполнил свой долг, я старался, ну, а в остальном пусть уж будет воля божья». Но одновременно, как всегда в таких случаях, где-то в самой глубине сознания другой голос потише мне шептал: «А не лучше ли было бы предоставить все богу и отказаться от этой комедии?» Я и слышал привычный голос, и не слышал его, и, так как я находился в превосходном настроении, процедура прошла гладко, я с удовлетворением увидел, как мой чемодан исчез в 65-м номере, и, поскольку приближался час, когда мне следовало явиться к врачу, отправился на прием.

И что ж, здесь тоже все обошлось хорошо. Задним числом признаюсь, я несколько опасался этого визита, не потому, чтоб меня страшил сокрушительный диагноз, а потому, что для меня врачи принадлежат к духовной иерархии, потому что я отношу врача к высшему рангу и, разочаровавшись в нем, тяжело это переношу, тогда как, если меня разочаровывает железнодорожный или банковский служащий или хотя бы адвокат, особенно не расстраиваюсь. Сам не знаю толком почему, я жду от врача какого-то остатка того гуманизма, который предполагает знание латыни и

греческого и известную философскую подготовку, гуманизма, увы, вовсе ненужного для большинства профессий и современной жизни. Вообще, от души радуясь всему новому и революционному, я в данном случае весьма консервативен, я требую от представителей образованного круга известного идеализма, известной готовности понять человека и поспорить с ним, не считаясь с материальной выгодой, короче говоря, проявления гуманизма, хотя знаю, что гуманизма этого в действительности давно уже не существует и даже видимость его скоро встретишь разве что в кабинетах восковых фигур.

После недолгого ожидания меня провели в кабинет; прекрасная со вкусом обставленная комната сразу внушила мне доверие. Поплескав, как принято, водой в соседнем помещении, ко мне вышел врач, интеллигентное лицо обещало понимание, и мы приветствовали друг друга, подобно двум корректным боксерам перед боем, сердечным рукопожатием. Раунд начали осторожно, прощупывали друг друга, нерешительно пробовали первые удары. Пока мы все еще оставались на нейтральной почве, разговор шел об обмене веществ, питании, возрасте, перенесенных болезнях и был совершенно безобиден, лишь

при отдельных словах взгляды наши скрещивались, возвещая готовность к бою. Врач пускал в ход обороты из медицинского тайного языка, которые я лишь весьма приблизительно расшифровывал, но они удачно расцвечивали его речь и давали ему надо мной ощутимое преимущество. Тем не менее уже спустя несколько минут мне стало ясно, что с этим врачом нечего бояться того жестокого разочарования, какое людям моего склада особенно огорчительно терпеть от врачей: когда за подкупающим фасадом ума и знаний наталкиваешься на закоснелую догматику, первое же положение которой постулирует, что взгляды, образ мышления и терминология пациента — чисто субъективные явления, а врача, напротив, обладают строго объективной ценностью. Нет, тут мне попался врач, с которым имело смысл сойтись в словесном поединке, он был не только эрудирован, как того требовала его профессия, он был мудр, в какой степени — я еще не мог определить, то есть способен ощущать относительность всех духовных ценностей. Среди образованных и умных людей сплошь и рядом случается, что каждый воспринимает склад ума и язык, догматику и верования другого как чисто субъективные, как всего лишь приближение,

всего лишь ускользающую параболу. Но чтобы каждый признал то же самое и в себе самом и к себе самому приложил, и каждый как за собой, так и за противником оставил право на только ему присущие, собственные, душевный склад, образ мышления и язык и что, стало быть, двое людей, обмениваясь мыслями, постоянно отдавали бы себе отчет в ненадежности своего оружия, многозначности всех слов, недостижимости действительно точного выражения, а потому и необходимости всячески идти другому навстречу, обоюдной доброй воли и интеллектуального рыцарства такие прекрасные, казалось бы, само собой разумеющиеся между двумя мыслящими существами отношения практически встречаются до того редко, что мы от души рады всякому, даже отдаленному их подобию, всякому, пусть частичному, их осуществлению. Но тут, с этим специалистом по болезням обмена веществ, во мне блеснула какая-то надежда на возможность такого понимания и общения.

Обследование — правда, еще без анализа крови и рентгена — дало обнадеживающие результаты. Сердце в норме, дыхание превосходно, кровяное давление вполне приличное, зато выявились несомненные признаки ишиаса, отдельные по-

дагрические наросты и некоторая общая вялость всей мускулатуры. Пока доктор снова мыл руки, в нашей беседе наступила краткая пауза.

После того, как и следовало ожидать, произошел перелом, нейтральная почва была оставлена, и мой партнер двинулся в наступление осторожно акцентированным, будто невзначай предложенным вопросом:

— А вы не думаете, что ваша болезнь отчасти может вызываться также психикой?

Итак, ожидаемое, заранее предвиденное произошло. Объективные данные осмотра не отвечали полностью моим жалобам, налицо оказался подозрительный излишек восприимчивости, моя субъективная реакция на подагрические боли не соответствовала предусмотренной средней норме, и вот во мне признали невротика. Что ж, примем бой!

Так же осторожно и так же словно бы между прочим я пояснил, что не верю в болезни и недомогания, вызываемые «также психикой», что в моей собственной биологии и мифологии «психическое» является не каким-то побочным фактором рядом с физическим, а первичной силой и что, следовательно, я считаю любое наше состояние, любое чувство радости и печали,

равно как и любую болезнь, любой несчастный случай и смерть психогенными, порожденными душой. Если у меня на пальцах вырастают подагрические шишки, то это моя душа, это высшее жизненное начало, «оно» во мне самовыражается в пластическом материале. Если душа болит, то она способна выражать это самыми различными способами, и что у одного принимает форму мочевой кислоты, готовя разрушение его «я», то у другого оказывает подобную же услугу, выступая в обличье алкоголизма, а у третьего уплотняется в кусочек свинца, внезапно пробивающего ему черепную коробку. При этом я согласился, что задача и возможности лечащего врача, как видно, в большинстве случаев должны поневоле ограничиваться установлением материальных, то есть вторичных изменений и борьбой с ними материальными же средствами.

Я и сейчас вполне допускал, что доктор от меня попросту откажется. Пусть он не скажет напрямик: «Ну и чушь же вы городите, уважаемый!», но, возможно, он с чуть излишне снисходительной улыбкой станет мне поддакивать, говорить банальности о влиянии настроений, особенно на артистическую душу, и помимо этих общих мест еще, того и гляди, вытащит на свет роковое

словечко «фантазерство». Слово это пробный камень, чувствительнейшие весы для духовных величин, которые заурядный ученый спешит окрестить фантазиями. Он прибегает к этому удобному словечку всякий раз, когда надо измерить и описать жизненные явления, для которых и наличные материальные измерительные приборы слишком грубы, и желание и способности говорящего недостаточны. Естествоиспытатель ведь, как правило, мало что знает, в частности, он не знает, что именно для летучих, подвижных ценностей, которые он именует фантазиями, вне естественных наук существуют старые, очень тонкие методы измерения и выражения, что и Фома Аквинский[12] и Моцарт, каждый на своем языке, ничего другого и не делали, как с величайшей точностью взвешивали эти так называемые фантазии. Мог ли я ждать от курортного врача, будь он даже светилом в своей области, такой чуткости мысли? Но я поверил в него и не обманулся в своих ожиданиях. Меня поняли. Молодчина осознал, что в моем лице ему противостоит не

[12] Примечания: 12

Фома Аквинский (1225–1274) — средневековый католический философ и богослов. Гессе, очевидно, имеет в виду учение Фомы Аквинского о соотношении души и тела и, в частности, попытку в точных категориях определить меру соучастия тела в духовной деятельности человека.

чужая догматика, а некая игра, некое искусство, некая музыка, где нет и не может быть правоты и споров, а лишь ответное звучание или уж полное банкротство. И он не сплоховал, меня поняли и признали, признали, разумеется, не в качестве правого, каковым я не являюсь, да на что и не претендую, но ищущим, мыслящим, антиподом, коллегой с другого, очень отдаленного, но столь же полноправного факультета.

И тут мое хорошее настроение, поднятое уже отметками по кровяному давлению и дыханию, повысилось еще больше. Как бы не обернулось теперь дело с дождливой погодой, с ишиасом и с лечением — главное, я не попал в руки к варвару, передо мной был человек, коллега, был врач с гибким и разносторонним мышлением! Не то чтобы я рассчитывал часто и подолгу с ним беседовать, обсуждать с ним всевозможные проблемы. Нет, в этом не было надобности, хотя, как приятная возможность, это меня и радовало; достаточно того, что человек, которому я на какой-то срок давал над собой власть и вынужден был довериться, обладал в моих глазах человеческим аттестатом зрелости. Пусть доктор на сегодняшний день считает меня хотя и мыслящим, но, к сожалению, несколько невротическим пациентом, возможно,

придет час, когда он откроет и верхние этажи моего «я», и подлинная моя вера, личная моя философия вступит в игру, вступит в состязание с его мировоззрением. Тут и моя теория относительно невротиков, опирающаяся на Ницше и Гамсуна, может быть, немножко продвинется вперед. Впрочем, не так уж важно. Рассматривать невротический характер не как болезнь, а как некий, пусть мучительный, но весьма положительный процесс сублимации — мысль заманчивая. Однако важнее с таким характером прожить, нежели его сформулировать.

Очень довольный, с длинным перечнем лечебных предписаний в кармане, я распрощался с врачом. Лежавшая у меня в бумажнике записка с рекомендациями к выполнению их следовало приступить завтра же с раннего утра — сулила мне всевозможные полезные и занимательные вещи: ванны, питье минеральной воды, диатермию, кварц, лечебную гимнастику. Так что скучать особенно не придется.

И если вечер первого моего дня на курорте тоже прошел во всех отношениях хорошо и приятно, то в этом заслуга хозяина гостиницы. Ужин, к удивлению моему, обернувшийся самым что ни на есть изысканным пиршеством, блистал та-

кими лакомыми, давно не пробованными мною блюдами, как «гноччи» с гусиной печенкой, тушеная баранина по-ирландски, земляничное мороженое. А позднее я сидел, потягивая красное вино и оживленно беседуя с хозяином дома, в чудесной старинной горнице, за старым массивным столом орехового дерева и радовался тому, что нахожу отклик у совершенно незнакомого человека, другого происхождения, другой профессии, других устремлений и другого образа жизни, что сам способен разделять его радости и горести и что он разделяет многие мои взгляды. Мы не пели друг другу дифирамбов, но быстро нашли точки соприкосновения и шли друг другу навстречу с той искренностью, которая легко переходит в симпатию.

Выйдя перед сном немного прогуляться, я видел звезды, отраженные в дождевых лужах, видел в ночном ветру над громко шумящим потоком несколько редкостно красивых старых деревьев. Они и завтра будут красивы, но в эту минуту они обладали той магической неповторимой красотой, которая исходит из собственной нашей души и, по убеждению греков, вспыхивает в нас, лишь когда на нас взглянет Эрос.

Распорядок дня

Взявшись описать, как проходит день на курорте, я по справедливости беру самый обыкновенный, будничный день, день, ничем не примечательный, эдакий наполовину заволоченный, наполовину голубой нейтральный денек, без особых происшествий извне и без особых предзнаменований и обольщений изнутри. Ибо, разумеется, в зависимости от состояния и хода лечения, причем не только у нервных литераторов, но и у всего полка ишиатиков, здесь бывают дни боли и уныния и легкие светлые дни хорошего самочувствия и расцветающих надежд, дни, когда мы скачем, и такие, когда мы едва ползаем или, отчаявшись, остаемся лежать в постели.

Но, как бы я ни старался воссоздать такой умеренный, такой нормально-обывательский плюс-минус средний день, мне все же не избежать одного неприятного признания, поскольку любой день, а тем более лечебно-курортный, к сожалению, начинается с утра. Наверно, это у меня связано с моим глубочайшим недостатком и пороком, с плохим сном, да и вообще всячески отвечает моей натуре, моей философии, моему

темпераменту и характеру, иначе как объяснить, что утро, воспетое в стольких чудесных стихах, для меня самое нелюбимое время дня? Конечно, это стыд и срам, и мне тяжело в этом признаться, но какой смысл в писательстве, если за ним не стоит стремление к истине? Утро, прославленное время свежести, обновления, молодого радостного задора, для меня плачевно, оно мне неприятно и мучительно, мы друг друга не выносим. Причем я отнюдь не лишен понимания, способности сопереживать ту лучезарную радость утра, которая так бодряще и светло звучит во многих стихах Эйхендорфа и Мёрике;[13] в стихах, в картинах и в воспоминаниях я воспринимаю утро столь же поэтично, и с детства у меня даже сохранилось не совсем еще изгладившееся воспоминание о настоящем утреннем воздухе, хотя я, уж конечно, много лет ни разу не испытывал по утрам никакой радости. И даже в самой громогласной хвале свежему утреннему воздуху, какую я только знаю, в сочиненной Вольфом музыке к стихам Эйхендорфа «Утро — оно моя радость», мне слышится какая-то фальшивая нотка, и как

[13] Примечания: 13

Эйхендорф Иозеф (1788–1857) и *Мёрике Эдуард* (1804–1875) — поэты позднего романтизма в Германии. Часто воспевали в своем творчестве утро.

чудесно ни звучала бы музыка и как ни убеждает меня утреннее настроение самого Эйхендорфа, в утреннюю радость Гуго Вольфа[14] я что-то не могу целиком поверить и склонен думать, что он разрешил себе здесь мечтательно-поэтическое, воображаемо-желанное, а не пережитое прославление утра. Все, что отягощает и усложняет мне жизнь, превращая ее в отпугивающую, даже неприятную повинность, заявляет о себе по утрам непомерно громко, встает передо мной непомерно большим. Все, что мою жизнь красит, услаждает, делает необыкновенной, все милости ее, все волшебство, вся музыка по утрам отступают и едва различимы, звучат издалека, скорее как сказание и легенда. Из чересчур мелкой могилы своего плохого, короткого, часто прерываемого сна я встаю по утрам не окрыленный и воскресший, а вялый, разбитый и нерешительный, безо всякой защиты и панциря против врывающегося внешнего мира, который сообщает моим восприимчивым утренним нервам все свои колебания, словно через мощный усилительный аппарат, обрушивает на меня все звуки как бы в мегафон. Лишь с полудня жизнь опять становится при-

[14] Примечания: 14

Вольф Гуго (1860–1903) — австрийский композитор, автор цикла песен «Стихотворения Эйхендорфа».

емлемой и ласковой, а в счастливые дни, под вечер и вечером, — чудесной, лучезарной, воспаряющей, озаренной изнутри мягким господним светом, в ней закон и гармония, волшебство и музыка, и она щедро вознаграждает меня за все скверные часы.

В дальнейшем я при случае думаю рассказать, почему муки бессонницы и утренней хандры представляются мне не просто болезнью, но также и пороком, почему я их стыжусь и, однако, чувствую, что так и должно быть, что я не вправе их ни отвергнуть, ни забыть, ни «исцелить» извне, а, напротив, нуждаюсь в них, как в стимуле и постоянном пришпоривании для моей подлинной жизни и ее назначения.

В одном, правда, день на баденском курорте обладает для меня несомненным преимуществом над днями моей привычной жизни: во время курса лечения каждое утро начинается с важнейшей, основной утренней обязанности и дела, и дело это легкое и даже приятно выполнимое. Я имею в виду прием ванны. Когда я по утрам просыпаюсь, безразлично в котором часу, в перспективе у меня, как первое и важнейшее дело, не что-либо обременительное, не одевание, или гимнастика, или бритье, или чтение почты, а

ванна — теплое, приятное, умиротворяющее занятие. Ощущая легкое головокружение, я сажусь в постели, несколькими осторожными движениями вновь привожу в годность закостеневшие ноги, встаю, набрасываю халат и не спеша иду по полутемному, безмолвствующему коридору к лифту, который спускает меня сквозь все этажи в подвал, к ванным кабинам. Здесь внизу очень хорошо. Под каменными, очень старыми, гулкими сводами всегда стоит ровное чудесное тепло, потому что всюду кругом струится горячая вода из источников, и всякий раз меня здесь охватывает то согревающее ощущение пещерной потаенности, какое бывало у меня в детстве, когда я из стола, двух стульев, постельных ковриков или дорожек сооружал себе пещеру. В резервированной мне кабине меня ждет глубокий, утопленный в пол, цементированный бассейн, заполненный горячей водой, только что из источника, я медленно туда спускаюсь по двум каменным ступенькам, переворачиваю песочные часы и, по самый подбородок, погружаюсь в горячую, едкую воду, которая чуточку отдает серой. Высоко надо мной, под цилиндрическим сводом массивно сложенной кабины, очень напоминающей монастырскую келью, в оконце с матовыми стеклами

сочится жидкий дневной свет; там наверху, на целый этаж выше меня, за молочным стеклом мир представляется далеким, млечным, ни единый его звук не доходит сюда. А кругом, облегая меня, играет чудесное тепло таинственной воды, которая уже тысячу лет бьет из неведомых кухонь земли и слабым током непрерывно вливается в мою ванну. Согласно предписанию, мне в воде полагается возможно больше шевелить руками и ногами, делать гимнастические и плавательные движения. По обязанности я так и поступаю минуты две-три, но потом неподвижно вытягиваюсь, закрываю глаза, впадаю в полудремоту и слежу за неслышно, непрерывно сыплющейся струйкой в песочных часах.

Занесенный ветром в окно увядший лист, маленький листик с дерева, чье название не приходит мне на память, лежит на краю бассейна, я гляжу на него, читаю письмена его ребер и жилок, вдыхаю тот особый запах тлена, перед которым мы все трепещем и без которого, однако, не существовало бы и красоты. Удивительно, как красота и смерть, радость и тлен необходимы друг другу и друг друга обуславливают! Явственно ощущаю я, словно нечто физическое, и вокруг себя, и в себе самом, границу между природой и духом. Как

цветы преходящи и красивы, а золото неизменно и скучно, так и все движения природной жизни преходящи и прекрасны, тогда как неизменен и скучен дух. В этот миг я его отвергаю, рассматриваю дух отнюдь не как вечную жизнь, а как вечную смерть, как нечто косное, бесплодное, бесформенное, что может стать формой и жизнью, лишь отказавшись от бессмертия. Золото должно стать цветком, дух стать телом и душой, чтобы обрести жизнь. Нет, в эти минуты утренней разнеженности, между песочными часами и увядшим листом, я знать ничего не желаю о духе, хотя в другое время способен высоко его чтить, я хочу быть преходящим, хочу быть ребенком, цветком.

А что я преходящ, о том, после получасового лежания в теплой влаге, недвусмысленно напоминает мне момент вставания. Я звонком вызываю банщика, он является и расстилает на стуле подогретую купальную простыню. Я порываюсь подняться на ноги, и тут-то расслабляющее ощущение тленности разливается у меня по всему телу, потому что ванны эти очень утомляют, и когда я, после тридцати-сорокаминутного лежания, хочу подняться, колени и руки лишь нескоро и плохо меня слушаются. Выбравшись из

водоема, я набрасываю на плечи простыню, хочу как следует обтереться, хочу сделать несколько энергичных движений, чтобы себя подбодрить, но не могу и вместо того валюсь на стул, чувствуя себя двухсотлетним старцем, и лишь очень нескоро нахожу силы заставить себя встать, надеть рубашку и халат и двинуться в путь.

По тихим сводчатым коридорам, где тут и там за дверьми кабинок журчит вода, я, еле волоча ноги, медленно иду к серному источнику, который под стеклянным колпаком бьется и кипит среди покрытых желтоватым налетом камней. Нельзя не упомянуть загадочную историю, связанную с этим источником. На краю его каменного парапета, к услугам курортников, всегда стоят два стакана, вернее, и в том-то и история, они там не стоят, и каждый жаждущий напиться, подойдя к источнику, обнаруживает, что оба стакана опять исчезли. После чего больной обычно качает головой, в той мере, понятно, в какой курортник после ванны способен выполнить такое движение, и зовет персонал; на его зов прибегает то коридорный, то официант, то горничная или банщица, а то бой, состоящий при лифте, и все точно так же качают головами и ума не могут приложить, куда же опять подевались злополучные стаканы.

Немедленно приносится новый стакан, больной его наполняет, пьет из него, ставит на место и уходит, — а когда, два часа спустя, возвращается повторно выпить водицы, стакана опять нет. Служащие, которым загадочная история со стаканами наскучила и доставляет лишнюю работу, выдвигают каждый свою собственную версию пропажи стаканов, но все они мало убедительны. Бой, например, наивно утверждает, будто курортники сами часто уносят стаканы к себе в номер. Но ведь тогда их всякий день находила бы там горничная! Короче говоря, дело остается нераскрытым, а ведь если взять одного лишь меня, то мне вынуждены были уже раз восемь или десять приносить новые стаканы. Поскольку в нашей гостинице около восьмидесяти постояльцев и курортники, все солидный пожилой народ, страдающий подагрой и ревматизмом, вряд ли воруют стаканы, я прихожу к выводу, что стаканы похищает либо патологический коллекционер, либо сказочное существо, дух источника, или дракон, может быть в наказание людям за эксплуатацию источника, и, может быть, когда-нибудь какой-нибудь заблудившийся счастливчик набредет на вход в потайную пещеру, где будут нагромождены целые горы

стаканов, потому что, по самым скромным моим подсчетам, там за один только год должно бы накапливаться их не менее двух тысяч.

Из этого источника я наполняю себе стакан и с удовольствием пью теплую воду. Чаще всего я при этом снова присаживаюсь, и потом мне очень трудно заставить себя встать. Я тащусь к лифту с приятным сознанием исполненного долга и честно заработанного отдыха, ибо, разделавшись с ванной и питьем воды, я, по существу, выполнил важнейшие дневные процедуры. Но, с другой стороны, еще раннее утро, самое большее семь или полвосьмого, сколько еще остается часов до полудня, и, кажется, я все бы отдал за магическое заклинание, превращающее утренние часы в вечерние.

По счастью, здесь мне опять приходит на помощь лечебное правило, предписывающее после ванны отдых в постели. Растомленный ванной, я ничего лучшего и не желаю, однако к тому времени гостиница давно ожила, половицы стонут под торопливыми шагами горничных и официанток, разносящих утренний завтрак, то и дело хлопают двери. Забыться на секунду забудешься, но о сне нечего и мечтать, поскольку еще не изобретено звукопоглощающих устройств, которые могли бы

по-настоящему защитить сверхчуткий, искушенный слух человека, страдающего бессонницей.

Тем не менее приятно еще раз улечься, еще раз закрыть глаза, пока еще не думать о скучных обязанностях, которые налагает на нас утро: скучном одевании, скучном бритье, скучном повязывании галстука, пожеланиях доброго утра, чтении почты, решении, чем бы сегодня заняться, возобновлении всей автоматики жизни.

Итак, я лежу в постели, слышу, как соседи смеются, ругаются, полощут рты, слышу, как беспрерывно звенит в коридоре звонок и бегает прислуга, и вскоре убеждаюсь, что дольше оттягивать неизбежное бессмысленно. Ничего не попишешь! Я встаю, умываюсь, бреюсь, произвожу все сложные эволюции, какие необходимы, чтобы влезть в одежду и ботинки, едва не душу себя воротничком, засовываю в жилетный карман часы, украшаю себя очками — и все это с ощущением каторжника, знакомого с тюремными правилами и порядками десятки лет и знающего, что это уж пожизненно и навсегда.

Бледный, тихий постоялец, я в девять часов вхожу в столовую, сажусь за свой круглый столик, молча здороваюсь с хорошенькой, веселой подавальщицей, несущей мне кофе, одну булочку

намазываю маслом, другую — прячу в карман, вскрываю лежащую возле прибора почту, завтрак запихиваю в свою утробу, письма в карманы пиджака, замечаю стоящего в коридоре скучающего курортника, который явно желает вступить со мной в разговор и еще издали вкрадчиво улыбается, даже начинает говорить, к тому же по-французски, не долго думая налетаю на него, бормочу «пардон» и выскакиваю на улицу.

Здесь и в кургартене или в лесу мне удается скоротать остаток утра в желанном одиночестве. Иногда, если повезет, мне случается и поработать, то есть, усевшись на скамье в парке, спиной к солнцу и к публике, записать некоторые, оставшиеся во мне еще с ночи, мысли. Но обычно я иду гулять и радуюсь тогда припрятанной в кармане булочке, потому что одна из наибольших утренних радостей для меня (положим, радостей, это слишком сильно сказано) раскрошив хлеб, скормить его бесчисленным синичкам и зябликам. При этом я принципиально не желаю думать о том, что в Германии, всего в немногих милях отсюда, даже богачам не подают к столу такого белого хлеба и тысячи людей вообще хлеба не имеют. Я отгоняю от себя эту саму собой напрашивающуюся мысль, но отогнать ее мне иногда

стоит больших усилий.

Под солнцем или дождем, работая или гуляя, как-нибудь и где-нибудь, я все-таки наконец ухитряюсь убить утро, и тут наступает пик курортного дня обед. Могу заверить, я не обжора, но и для меня, человека знакомого с духовными радостями и аскетизмом, это праздничное и важное событие. Однако вопрос этот требует более тщательного рассмотрения.

Как уже отмечалось мною в предисловии, характеру и мышлению пожилого ревматика и подагрика свойственны: осознание невозможности прямолинейного объяснения мира, появление вкуса и почтения к антиномиям, признание необходимости противоположностей и противоречий. И немало подобных противоречий, не затрагивая, правда, их глубокой философской основы, с поразительной наглядностью являет курортная жизнь в Бадене. Образцов тому можно найти множество, упомяну только, за примером далеко ходить не нужно, расставленные в Бадене повсюду скамьи для отдыха: они зовут быстро устающих, не очень-то полагающихся на свои ноги курортников сесть и отдохнуть, и курортник охотно следует радушному приглашению. Но, не просидев и минуты, в страхе неуклюже взвивает-

ся, так как создатель всех этих многочисленных скамеек, проницательный философ и шутник, соорудил сидения из металла, и присевший ишиатик самой уязвимой частью хворого своего тела ощущает мертвящую волну холода, от которого инстинкт немедля побуждает его бежать. Так скамейка напоминает ему, как нуждается он в отдыхе, а минуту спустя, не менее убедительно, заставляет вспомнить, что суть и источник жизни движение и что неподатливым суставам не столько нужен покой, сколько тренировка.

Таких примеров можно привести сколько угодно. Но воистину монументально предстает дух Бадена, постоянно движущийся в антитезах, за обедом и ужином в столовой. Там собираются десятки больных людей, каждый со своим ишиасом или подагрой, и все приехали в Баден единственно в чаянии избавиться здесь от своего недуга. Простая, прямолинейная, юношески пуританская житейская мудрость должна бы, опираясь на ясные и простые данные химии и физиологии, настоятельно рекомендовать таким больным, наряду с теплыми ваннами, прежде всего спартански простую пищу, без мяса, алкоголя и острых приправ, а возможно, даже строгую лечебную диету. Но так юно, так простодушно и

односторонне в Бадене не мыслят, и Баден уже сотни лет, не меньше чем своими водами, славится своей богатой и изысканной кухней; и в самом деле, мало еще найдется в стране городов и гостиниц, где бы люди так вкусно и плотно питались, как больные обменом веществ в Бадене. Там поливают нежнейший окорок бургундским, а сочнейшие шницели — бордо, между супом и жарким грациозно выплывает голубая форель, а за обильными мясными блюдами следуют чудесные пирожные, пудинги и кремы.

Предшествующие авторы по-разному пытались объяснить эту стародавнюю особенность Бадена. Оценить и одобрить высокую культуру здешней кухни легко; любой из тысячи курортников делает это дважды на дню; а вот объяснить ее намного труднее, ибо причины тут весьма сложного свойства. Важнейшие из них я в дальнейшем укажу, но сперва я хочу со всей решительностью отмести те плоско-рационалистические обоснования, с которыми сталкиваешься постоянно. Часто, например, приходится слышать от вульгарных мыслителей, будто превосходный стол в Бадене, явно противоречащий подлинным интересам курортников, стал таким в ходе истории и проистекает от конкуренции многочисленных

курортных гостиниц, поскольку Баден, мол, истари был известен своей хорошей едой и каждый трактирщик заинтересован в том, чтобы, по крайней мере, не отстать от конкурентов. Эта дешевая и поверхностная аргументация не выдерживает никакой критики уже потому, что обходит самое проблему и пытается подменить вопрос о возникновении хорошей баденской кухни ссылкой на традицию и прошлое. Еще меньше может удовлетворить нас нелепая мысль, будто жажда наживы трактирщиков повинна в хорошей баденской еде! Словно найдется трактирщик, который своей охотой станет увеличивать расходы на мясника, булочника и кондитера, да еще в Бадене, где у каждого содержателя гостиницы уже сотни лет в подвале имеется свой магнит, своя неотразимая, безотказная приманка для постояльцев в виде горячих минеральных источников!

Нет, мы должны копнуть намного глубже, чтобы дать теоретическое обоснование этому феномену. Разгадка лежит не в привычках и традициях прошлого и не в расчетах владельцев гостиниц, она лежит в глубинных основах мироздания, это одна из вечных, долженствующих быть принятой как данность антиномий. Будь еда в Бадене, по традиции, дурной и скудной, хозяева

могли бы на две трети сократить свои расходы и все же не имели бы недостатка в постояльцах, потому что не еда привлекает сюда людей, их сюда гонит дерганье nervus ichiadicus. Но представим себе на миг, так только, на пробу, что в Бадене жили бы разумно, боролись с мочевой кислотой и склерозом не одними ваннами, а также воздержанием от спиртного и диетой — какие бы это имело вероятные последствия? Курортники выздоровели бы, и в недалеком будущем по всей стране вовсе бы исчез ишиас, который, однако же, подобно всем формам природы, тоже имеет право на жизнь и существование. Надобность в ваннах бы отпала, гостиницы пришли бы в упадок. И даже если счесть такой урон не столь важным или его бы можно как-то возместить, то отсутствие подагры и ишиаса в системе мироздания, бьющие впустую ценные источники не приведут к улучшению мира, а как раз наоборот.

А за этим скорее теологическим обоснованием следует и психологическое. Кто из нас, курортников, захотел бы, наряду с ваннами и массажем, наряду с тревогой и скукой, подвергать себя еще посту и умерщвлению плоти? Нет, пусть уж лучше мы выздоровеем лишь наполовину, но зато поживем мало-мальски приятно, будем

хоть пить-есть в свое удовольствие, мы же не какие-нибудь юнцы, предъявляющие к себе и к окружающим бескомпромиссные требования, а пожилые люди, глубоко увязшие в житейских компромиссах и привыкшие на многое смотреть сквозь пальцы. И потом, поразмыслим серьезно над таким вопросом: хорошо ли и желательно, чтобы все мы, пройдя идеальный курс лечения, совершенно и окончательно исцелились и не должны были умирать? Если ответить на этот несколько щекотливый вопрос по совести, то наш ответ будет гласить: «Нет! Нет, мы не хотим совершенно исцелиться, мы не хотим жить вечно».

Конечно, не исключено, что каждый из нас, спрошенный в отдельности, скорее ответит «да». Если б меня, курортника и писателя Гессе, спросили, согласен ли я, чтобы писателя Гессе не коснулись болезнь и смерть, и считаю ли я для него вечную жизнь желательным и необходимым благом, то я, тщеславный, как все литераторы, возможно, сперва ответил бы на вопрос утвердительно. Но стоит задать мне тот же вопрос о ком-либо другом, о курортнике Мюллере, ишиатике Легране, или голландце из 64-го номера, я, не раздумывая, решительно отвечу

«нет». Нет, действительно, не нужно, чтобы мы, пожилые и не очень-то уже привлекательные люди, хоть и без подагры, жили бесконечно. Это было бы даже очень неприятно, было бы очень тоскливо, очень мерзко. Нет, мы охотно умрем, когда-нибудь потом. А сегодня мы предпочитаем после утомительных ванн и старательно убитого утра немножко порадоваться, обглодать куриное крылышко, просмаковать хорошую рыбку, выпить стакан доброго красного вина. Таковы уж мы, старые себялюбцы, — трусливы, мягкотелы, падки на вкусненькое. Такова наша психология, и поскольку душа наша, душа ревматиков и людей стареющих, вместе с тем и душа Бадена, мы и с этой стороны считаем баденскую кухонную традицию вполне оправданной.

Не хватит ли аргументов, не достаточно ли оправданий нашей сладкой жизни? Требуются ли еще доводы? Да их сотни. Приведу хотя бы один простейший: минеральные воды «съедают» человека, то есть они возбуждают аппетит. И поскольку я не просто курортник и обжора и в другое время проповедую воздержание и не раз изведал радости поста, то без малейших угрызений совести, даже зная о царящей в мире нужде и в ущерб собственному обмену веществ, три

недели предаюсь чревоугодию.

Но я уж очень отклонился. Вернемся к распорядку дня! Итак, я сижу за обеденным столом, вижу, как рыба, жаркое, фрукты сменяют друг друга, в перерывах долго и задумчиво гляжу на ноги подающих официанток — все они в черных чулках — и задумчиво, но не столь долго, гляжу на ноги метрдотеля. Они (то бишь ноги метрдотеля) для всех нас, пациентов, вдохновляющее зрелище и великое утешение. Дело в том, что метрдотель, и вообще-то очень приятный господин, когда-то страдал тяжелым и мучительнейшим ревматизмом, так что совсем уже перестал ходить, но, пройдя курс лечения в Бадене, совершенно исцелился. Все мы это знаем, многим он самолично это рассказывал. Потому-то мы часто так задумчиво разглядываем ноги метрдотеля. Однако ножки молоденьких официанток в черных чулках безо всякого лечения, сами по себе, так стройны и подвижны, и последнее обстоятельство кажется нам достойным еще более глубоких раздумий.

Поскольку я держусь особняком, мне только во время общих трапез представляется случай несколько ближе познакомиться со своими собратьями-курортниками. Имен их я, правда, не знаю и лишь с немногими обменялся двумя-тре-

мя словами, но, наблюдая, как они сидят, как едят, я многое о них узнаю. Голландец, мой сосед по комнате, — его голос всякое утро и вечер врывается сквозь стенку и часами мне не дает уснуть — здесь за столом беседует с женой чуть ли не шепотом, так что я так бы никогда и не узнал, какой у него голос, не живи он в 64-м номере. Ох, уж этот мне тихоня!

Некоторые персонажи нашего обеденного спектакля ежедневно радуют меня четкостью рисунка, определенностью амплуа. В частности, есть тут одна великанша из Голландии, метра в два или больше росту и весьма грузная, величественная особа, достойная представлять нашу курфюрстину. Осанка у нее превосходная, но походка оставляет желать лучшего, и когда она вступает в зал, опираясь на тоненькую, хрупкую, почти игрушечную тросточку, которая, кажется, вот-вот переломится, то это выглядит до странности кокетливо и опасно, так что даже становится как-то не по себе. Но, может быть, тросточка из железа.

Есть тут и ужасно серьезный господин, уверен, что он по меньшей мере депутат, насквозь добродетельный, мужественный, патриотичный, с красноватыми и отвисшими нижними веками,

как у верных собак на Сен-Бернаре, с широкой и тугой шеей, способной выдержать любой удар, лбом, полным морщин, бумажником, полным честно нажитыми и хорошо пересчитанными банкнотами, и грудью, полной безупречных, высоких, но нетерпимых идеалов. В одну ужасную ночь мне приснилось, будто человек этот мой отец и я стою перед ним и должен держать ответ: во-первых, за недостаток патриотизма, во-вторых, за карточный проигрыш в пятьдесят франков и, в-третьих, за то, что соблазнил девушку. Наутро после убийственного сна мне не терпелось вновь, уже наяву, встретиться со строгим господином, перед которым я так во сне трепетал. Вид его меня наверняка успокоит, потому что действительность обычно оказывается куда безобидней образов, рисующихся нам в кошмарах, он, возможно, улыбнется, или кивнет мне, или станет шутить с официанткой, или хотя бы телесным своим обликом внесет кое-какие исправления в приснившуюся мне гротескную фигуру. Но когда наступил полдень и я увидел строгого господина за столом, то он не улыбнулся и не кивнул, он мрачно сидел перед своей бутылкой красного вина и каждой складкой на лбу и шее выражал неумолимую добродетель и непре-

клонность, и я ужасно его испугался и молился на ночь, чтобы он опять не привиделся мне во сне.

Зато как возвышен, как мил и прелестен господин Кессельринг, мужчина в цвете лет, профессия его мне неизвестна, но он несомненно гидальго или нечто подобное. Белокурые шелковистые волосы вьются над чистым лбом, нежно манит на щеке лукавая ямочка, мечтательно и восторженно глядят голубые, детские глаза, нежно и лирически поглаживает рука элегантный светлый жилет. Никакая фальшь не может гнездиться в этой груди, никакое низменное побуждение не помрачит благородство этих поэтических черт. С головы до мизинчика ноги весь розовый, словно девушка Ренуара, наш душка Кессельринг в юные годы, вероятно, не чурался шалостей Купидона. И даже слов нет выразить, как поразил и разочаровал меня этот херувимчик, показав мне однажды среди наступающих сумерек в курительной комнате карманную коллекцию непристойных открыток.

Но самой интересной и красивой приезжей, какую я когда-либо видел в этом зале, сегодня здесь нет, лишь один-единственный раз она тут сидела, сидела напротив меня за моим кругленьким столиком, вечером в течение какого-то

часа, с веселым взглядом карих своих глаз и тонкими, умными руками — редкостный цветок, исполненный юности и блеска среди окружающих больных. Любимая, приезжай снова, чтобы вместе со мной полакомиться вкусной снедью, отведать хорошего вина и нашими сказками и нашим смехом немножко оживить этот зал!

Мы, постояльцы, как это вообще водится в местах отдыха, все друг за дружкой наблюдаем, только у нас мода и элегантность играют второстепенную роль. Тем пристальнее следим мы за состоянием здоровья наших собратий, ибо в них мы видим собственное отражение, и если старик из шестого номера чувствует себя сегодня лучше и без посторонней помощи смог добраться от двери к столу, то это всех нас радует, и все мы огорченно качаем головами, если слышим, что фрау Флюри сегодня останется в постели.

Проведя час за хорошей едой и взаимным наблюдением, мы неохотно прерываем это приятное занятие и, ублаготворенные, покидаем зал. Тяжелейшая часть дня теперь для меня позади. В хорошую погоду я отправляюсь в гостиничный сад, где у меня в укромном уголке стоит шезлонг; со мной записная книжка, карандаш и томик Жан-Поля. В три или четыре часа у меня по боль-

шей части «процедуры», то есть я должен идти к врачу и там его ассистентки пользуют меня по наиновейшим методам. Я сижу под кварцевой лампой, причем мне не терпится побыстрее испробовать на себе чудодейственную силу этого магического фонаря, потому-то я держу наиболее нуждающиеся в лечении части тела возможно ближе к свету. Несколько раз я уже обжегся. Затем неутомимая помощница доктора приглашает меня на диатермию. Она привязывает мне к запястьям маленькие подушечки, электрические полюсы, и пропускает сквозь них ток, и одновременно двумя такими же подушечками обрабатывает мне шею и спину, а мне ничего не надо делать, только крикнуть, если будет чересчур жечь. Кроме того — дополнительная приманка — во время этих процедур всегда может заглянуть врач и мы вступим с ним в разговор, и если даже такая удача выпадет лишь раз за двадцать дней, все же ее не следует скидывать со счетов.

Я решаюсь наконец на маленькую прогулку, но, проходя мимо ворот курортного парка, по царящему там оживлению заключаю, что наверху в курзале опять готовится один из бесчисленных концертов, которые постоянно здесь устраивают

и ни на одном из которых я еще не был. Итак, я сворачиваю и нахожу в курзале многолюдное общество, впервые встречаю я здешних лечащихся и больных в полном сборе, так сказать in corpore.[15] Сотни коллег мужского и женского пола сидят тут на стульях, одни за чашечкой кофе или чая, другие с книгой или вязаньем и слушают маленькую группку музыкантов, которая с жаром играет где-то на отшибе в глубине зала. Долго стою я у двери, наблюдаю и слушаю, потому что все места заняты. Я вижу, как стараются музыканты, они играют сложные вещи, большей частью неизвестных композиторов, и не в их умении дело, если вся эта затея мне крайне не по душе. Музыканты играют даже очень хорошо — и именно потому хочется, чтобы они исполняли настоящую музыку вместо этого штукарства, обработок да аранжировок. Но, если на то пошло, я и этого не хочу. Мне ничуть не было бы легче, если бы вместо развлекательного отрывка из «Кармен» или «Летучей мыши» исполнялся бы, например, квартет Шуберта или дуэт Генделя. Упаси бог, это было бы даже много хуже. Мне однажды в сходных условиях уже довелось пе-

[15] Примечания: 15
В полном составе *(лат.)*.

режить такое. В наполовину пустом зале кафе первый скрипач исполнял тогда «Чакону» Баха, и пока он играл, слух мой одновременно воспринимал следующие впечатления: двое молодых людей расплачивались с официанткой, и та отсчитывала им на стол сдачу мелкими монетами; энергичная дама запальчиво требовала в гардеробе зонтик; очаровательный четырехлетний карапуз забавлял целый стол своим звонким щебетом, — кроме того, не смолкал хор бутылок и стаканов, чашек и ложек, а одна пожилая, подслеповатая старуха, к собственному ужасу, столкнула с края стола на пол вазочку с печеньем. Каждое из этих действий, взятое само по себе, было вполне законно и достойно моего сочувствия и внимания, но справиться с таким обилием разом свалившихся и взывавших ко мне впечатлений оказалось превыше моих душевных сил. И повинна в том была единственно музыка, Бахова «Чакона», она одна являлась всему помехой. Нет, честь и слава музыкантам курзала! Но здешний концерт был лишен по-моему главного — смысла. Что две сотни людей скучают и ума не приложат, как скоротать время до ужина, на мой взгляд, недостаточная причина, чтобы оркестру хороших музыкантов играть аранжировки из знаменитых

опер. Так что концерту недоставало, собственно, малого — сердца, нутра: необходимости, живой потребности, накала душ, ждущих от искусства освобождения. Но, может быть, я и ошибаюсь. По крайней мере, я вскоре замечаю, что и эта, скорее безучастная, публика не представляет собой однородной массы, а состоит из множества отдельных душ, и одна из этих душ очень сильно реагирует на музыкантов. Впереди, почти у самой эстрады, сидит страстный любитель музыки, господин с черной бородкой и в золотом пенсне; откинувшись на стуле с закрытыми глазами, он упоенно покачивает в такт музыке красивой головой и, когда пьеса кончается, испуганно распахивает глаза и первым открывает залп аплодисментов. Но ему мало хлопать в ладоши, он еще встает, подходит к эстраде, каким-то образом ухитряется привлечь внимание стоящего спиной дирижера и осыпает его, под продолжительные овации зала, восторженными похвалами.

Устав стоять и не столь увлеченный представлением, как бородатый энтузиаст, я во второй перерыв уже подумываю о том, чтобы уйти, но тут из соседнего помещения до меня доносятся какие-то загадочные звуки. Я осведомляюсь у соседа-ишиатика и узнаю, что там находится

игорный зал. Обрадованный, я спешу туда. Действительно, пальмы по углам, круглые пуфы, а за большим зеленым столом, по всей видимости, играют в рулетку. Я подкрадываюсь к столу, его плотным кольцом обступили любопытные, из-за плеч которых мне удается частично понаблюдать за происходящим. Первое, что приковывает к себе взгляд — это хозяин стола, бритый господин во фраке, без возраста, с каштановыми волосами и невозмутимым лицом философа, обладающий феноменальной способностью одной лишь рукой, при помощи изящной эластичной клюки или лопаточки, молниеносно перегонять монеты с любого квадрата стола на другой. Он орудует гибкой монетной лопаткой, будто опытный ловец форели английским стальным удилищем, а кроме того, умеет веером так бросать монеты в воздух, чтобы они точно падали в нужный квадрат. И при всех этих манипуляциях, ритм которых определяется возгласами его более молодого помощника, обслуживающего шарик, его невозмутимое, чисто выбритое и розовое лицо остается все таким же невозмутимым и спокойным. Долго гляжу я на него, наблюдая, как он неподвижно сидит на особом, специальном стульчике с косо поставленным сиденьем, как

на невозмутимом лице движутся одни лишь быстрые глаза, как он левой рукой, играючи, разбрасывает талеры, а правой, играючи, с помощью лопатки вновь сгребает их и гонит в дальние углы. Перед ним стоят столбики крупных и мелких серебряных монет, у Стиннеса их не могло бы быть больше. Без конца запускает его помощник шарик, падающий в нумерованную клетку, без конца выкрикивает цифру клетки, приглашает играть, сообщает, что ставки сделаны, предупреждает: «Rien ne va plus»,[16] и без конца играет и работает невозмутимый господин за столом. Не раз я все это уже видел в былые годы, в далекое легендарное предвоенное время, в годы своих путешествий и странствий; во многих городах света видал я эти пальмы и пуфы, эти же самые зеленые столы и шарики, неизменно вспоминал прекрасные, гнетущие повести об игроках Тургенева и Достоевского и затем снова возвращался к своим делам и занятиям. Лишь одно поразило меня тут при ближайшем рассмотрении, а именно, что вся игра велась только ради собственного удовольствия господина во фраке. Он бросал свои талеры, перемещал их с пятерки на семерку, с

[16] Примечания: 16
Больше не ставить *(франц.).*

чета на нечет, отсчитывал выигрыши, загребал проигрыши — но это были все его собственные деньги. Никто из публики ничего не ставил; всё курортники, преимущественно из сельских местностей, они, подобно мне, с радостью и глубоким восхищением следили за эволюциями философа и внимали холодным, будто замороженным, французским выкрикам помощника. А когда я, охваченный жалостью, положил два франка на краешек стола, до которого мне удалось дотянуться, на меня завороженно уставилось полсотни широко раскрытых глаз, и мне стало до того неловко, что, едва дождавшись, когда лопатка крупье загребет мои франки, я тут же поспешно удалился.

Вот и сегодня я опять провожу несколько минут перед витринами на Бадештрассе. Там множество магазинов, где курортники могут приобрести кажущиеся им столь необходимыми вещи, а именно: открытки с видами, бронзовых львов и ящериц, пепельницы с изображением знаменитостей (так что покупатель, например, волен доставить себе удовольствие ежедневно тыкать горящей сигарой в глаза Рихарду Вагнеру) и уйму всяких других предметов, о которых я не решаюсь высказаться, поскольку даже после пристального

рассмотрения не смог раскрыть их природу и назначение; некоторые с виду похожи на предметы культа примитивных племен, но может быть, я и ошибаюсь, а все вместе наводят на меня грусть, ибо ясно показывают, что, при всей доброй воле к общению с людьми, я все-таки живу вне буржуазного и реального мира, ничего о нем не знаю и так же мало смогу когда-либо по-настоящему его понять, как и надеяться, несмотря на весь свой долголетний литературный труд, быть когда-либо понятым им. Когда я смотрю на эти витрины, где выставлены не товары бытового обихода, а так называемые предметы роскоши, подарки, шуточные изделия, меня ужасает чуждость этого мира; среди сотен предметов от силы найдется двадцать, ну, тридцать, назначение, смысл и способ употребления которых я маломальски смутно бы себе представлял, и нет ни одного, который желал бы иметь. Там есть вещи, рассматривая которые долго гадаешь: носят ли это на шляпе? В кармане? Кладут ли в пивную кружку? Или это принадлежность какой-то карточной игры? Тут имеются картинки и надписи, девизы и цитаты, порожденные совершенно незнакомым, недоступным моему пониманию миром представлений, и в то же время такое

применение хорошо известных и почитаемых мною символов, которое я не способен ни понять, ни одобрить. Мне, например, всегда было и будет дико, чуждо и тягостно, даже жутковато, видеть резную фигуру Будды или китайского божества на рукоятке модного дамского зонтика; намеренным и сознательным богохульством это вряд ли может быть, но какие представления, потребности и душевное состояние побуждают предпринимателя делать, а покупателя покупать эти несуразные предметы — вот что я жаждал бы знать и чего никогда не узнаю. Или взять модное кафе, где в пять часов собирается избранное общество! Я вполне могу понять, что состоятельные господа находят удовольствие пить чай, кофе, шоколад и лакомиться дорогими пирожными со сбитыми сливками. Но почему свободные люди, находясь в здравом рассудке, позволяют назойливо-заискивающей, приторной музыке мешать им за едой, почему соглашаются совсем не по-господски сидеть тесно скученные в переполненных тесных помещениях, украшенных к тому же без всякого чувства меры лепниной и позолотой, точнее говоря, почему все эти помехи, неудобства и противоречия не только не воспринимаются людьми как зло, а, напротив, нравятся

и любимы ими — вот чего я никак не пойму и уже привык приписывать такое непонимание своему слегка шизофреническому, как было сказано, складу ума. Тем не менее это не перестает меня тревожить. И те же самые элегантные и состоятельные господа, что сидят в таких кафе, где липуче-сладкая музыка не дает думать, не дает беседовать, почти не дает дышать, окруженные тяжеловесной, аляповатой роскошью, обилием мрамора, серебра, ковров, зеркал, — те же самые люди вечером с видимым восхищением слушают доклад о благородной простоте японского быта и держат у себя дома на полках жития святых и речи Будды в прекрасных изданиях и переплетах. Я отнюдь не фанатик и не моралист, я и сам не прочь предаваться иным безумствам и опасным порокам и радуюсь, когда люди веселы и довольны, потому что с довольными людьми приятнее жить, — но разве они довольны? Окупается ли весь этот мрамор, сбитые сливки, музыка? Обслуживаемые официантами в ливреях и перед тарелками с кексом и пирожными, разве не читают эти самые господа в своих газетах бесчисленные сообщения о голоде, восстаниях, перестрелках, казнях? И разве за гигантскими зеркальными стеклами шикарных кафе не лежит

мир жестокой нужды и отчаяния, сумасшествия и самоубийств, страха и ужаса? Ну да, я знаю, все это неизбежно, все в каком-то смысле правильно и богу так угодно. Но я это только так знаю, как знают таблицу умножения. Знание это меня не убеждает. В действительности я вовсе не нахожу все это правильным и угодным богу, а безумным и чудовищным.

Огорченный, я поворачиваю к лавкам, где выставлены открытки. Тут уж я достаточно хорошо разбираюсь и могу смело сказать, что всесторонне изучил баденские открытки, и всё единственно из стремления по этому показателю потребностей лучше ознакомиться со средним курортником и проникнуть в его душу. В витринах довольно много хороших открыток со старинными видами Бадена, в частности репродукции старинных полотен и гравюр, изображающих сцены купания, из которых явствует, что в прошлые столетия в Бадене жили и купались, пусть менее серьезно и благопристойно и, возможно, менее гигиенично, чем сейчас, но зато не в пример веселей. От этих старых картинок с их башнями и шпилями, национальными костюмами и нарядами, от всего этого тебя словно бы берет тоска по дому, хотя ты, разумеется, вовсе не хотел бы жить в те вре-

мена. Все эти городские виды, сценки купания, относятся ли они к шестнадцатому или восемнадцатому столетию, тихо и неприметно навевают ту светлую грусть, которая исходит от всех таких картин, ибо все на этих картинах прелестно, на всех природа и человек живут в мире между собой и между домами и деревьями не идет войны. Все красиво, и все друг другу соответствует, от ольховой рощицы до наряда пастушки, от зубчатого венца на башне крепостных ворот до моста и колодца, вплоть до поджарой собачонки, что мочится на ампирную колонну. Иное на этих старинных картинках бывает смешным, глуповатым, тщеславным, но там не увидишь ничего безобразного, ничего кричащего; дома стоят друг подле друга, будто межевые камни или птицы, сидящие рядком на жерди, меж тем как в нынешних городах почти каждый дом кричит на соседа, тягается с ним, хочет его оттеснить.

Мне вспоминается, как однажды, на чудесном балу, где все кружились, наряженные в костюмы времен Моцарта, у моей возлюбленной вдруг навернулись на глаза слезы, и когда я в испуге стал допытываться, что с ней, она ответила: «Отчего же сейчас все так безобразно?» Тогда я старался утешить ее, доказывая, что наша жизнь

ничуть не хуже, что она свободнее, богаче и значительнее, чем у наших прадедов, что под пышными париками скрывались вши, а за роскошью зеркальных залов и хрустальных люстр — голодающий и угнетенный народ и что-де вообще очень хорошо, что от того прежнего времени у нас сохранилась память именно о самом прекрасном, о его веселой, праздничной стороне. Но не всегда же рассуждаешь так разумно.

Вернемся к открыткам! Здесь в стране существует особая их разновидность, которой не откажешь в оригинальности. Здешняя местность именуется в просторечии свекольным краем, и вот имеется целая серия открыток со всевозможными народными сценками. Сценки в школе, в армии, семейные пикники, потасовки, и все люди на этих картинках изображены в виде бураков. Бураки — влюбленные, бураки — дуэлянты, бураки — депутаты. Эти открытки пользуются большой популярностью, несомненно с полным на то правом, но и они что-то не радуют. Помимо видов старого Бадена и бурачных картинок, следует еще упомянуть третью обширную категорию — открытки эротического содержания. В этой области, уж казалось бы, можно что-то создать, внеся в скучный мир витрин хоть какой-то

темперамент, какую-то яркость и свежесть. Но с этой надеждой я вынужден был распроститься в первые же дни. К своему удивлению, я обнаружил, что в мире открыток именно любовным отношениям особенно не повезло. Все десятки и сотни открыток этой категории отличались вызывающей жалость стыдливостью и целомудрием, и тут я вновь увидел, насколько мой вкус расходится с общепризнанным, потому что если бы мне кто-нибудь заказал собирать картинки любовной жизни, я, право же, представил совсем другие, чем предложенные здесь. Тут не найдешь ни пафоса чистой эротики, ни поэтической игры кокетства, а безраздельно царит стыдливо-слащавая атмосфера помолвки, все до одной любовные парочки были тщательнейшим образом и помодному одеты: жених, как правило, в сюртуке и цилиндре, с букетом цветов в руках, иногда при этом светил месяц, а под картинкой стишок пытался разъяснить происходящее, например:

О ангел чистый, в месяца сиянье
Прочел в очах я счастья обещанье.

Я был очень разочарован этой серией, изготовители подобных открыток, очевидно, восприняли в любовных отношениях лишь одну официаль-

ную и самую малоинтересную сторону. Тем не менее я записал себе несколько стишков, как образец фольклора нашей эпохи, например, такие:

С любимым существом рука с рукой —
Вот идеал, союз сердец святой.

Какими беспомощными ни кажутся нам эти вирши, они еще классика по сравнению с картинкой, под которой подписаны. Юная девица — лицо и прическа у нее явно позаимствованы у воскового манекена в витрине парикмахерской сидит на скамье под деревьями, а перед ней стоит молодой человек в отличном костюме и то ли надевает, то ли снимает лайковые перчатки.

Перед этими открытками я и сегодня опять постоял некоторое время, ощущая такую безысходность и скуку и такое жгучее желание уйти от всего этого, может быть и достойного уважения, мира концертов, игроков, корректных женихов и невест и открыток с бураками, что закрыл глаза и от всего сердца стал молить бога о спасении, так как, по всем признакам, был весьма близок к приступу глубокой разочарованности и отвращения к жизни, каковые приступы, будто назло, непременно приключаются со мной всякий раз, как я серьезно и с наилучшими намерениями

пытаюсь покончить со своим отшельничеством и нелюдимостью и делить радость и горе с большинством своих ближних.

И господь мне помог. Едва я закрыл глаза и отвратил сердце от курортного и бурачного мира, томясь по знаку или зову из других, более мне близких и священных сфер, как меня осенила спасительная мысль. В гостинице имелся не всем постояльцам известный укромный уголок, где наш хозяин — в нем много таких милых черт — держал двух пойманных молодых куниц в проволочной тюрьме гуманных размеров. Мне внезапно пришла охота взглянуть на куниц, и я, не рассуждая, поспешил обратно в гостиницу и прямиком направился к их темнице. Едва я их увидел, как все встало на место, я нашел именно то, что мне требовалось в эту критическую минуту. Обоих благородных и красивых зверьков, доверчивых и любопытных, как дети, без труда удалось выманить из спальной норы, и, опьяненные собственной силой и ловкостью, они стали бешеными скачками носиться по всей просторной клетке, потом внезапно остановились возле меня у сетки, усиленно втягивая воздух розовыми носиками и обдавая мою руку влажным теплом. Большего мне и не требовалось. Заглянуть в эти

ясные зверушечьи глаза, увидеть эти облеченные в мех дивные творения божественной мысли, почувствовать их теплое живое дыхание, услышать их острый первозданный запах хищников — этого было достаточно, чтобы меня успокоить и убедить в нерушимом существовании всех планет и неподвижных звезд, всех пальмовых рощ и девственных лесов и рек. Куницы были мне порукой в том, чему достаточной порукой вполне могло бы служить созерцание любого облачка, любого зеленого листочка; но мне потребовалось более сильное доказательство.

Куницы оказались сильнее открыток, концерта, игорного зала. Пока есть еще куницы, пока есть еще аромат первозданного мира, есть еще инстинкт и природа, до тех пор мир будет еще приемлем для поэта, еще прекрасен и обольстителен. Вздохнув полной грудью, я почувствовал, как спадает гнет, посмеялся над собой, раздобыл для куниц кусочек сахару и с облегчением вышел пройтись на воздух. Вечерело. Солнце стояло почти у самой кромки лесистых гор, и прочерченная легкими золотистыми облачками голубизна младенчески ясно осеняла долину моих блужданий, с улыбкой почувствовал я близость блаженного часа, подумал о любимой,

стал перебирать возникающие строки, ощутил музыку, ощутил дуновение разлитого в мире счастья и благости, просветленный скинул с плеч груз прожитого дня и птицей, мотыльком, рыбой, облаком устремился в радостный, изменчивый, ребяческий мир форм и образов.

Об этом вечере — я тогда, усталый и счастливый, очень поздно возвратился домой — я не стану здесь рассказывать. Не то вся моя философия ишиатика пойдет прахом. Счастливый, усталый, что-то напевая, вернулся я ночью, и, гляди-ка, даже сон не бежал от меня сегодня, даже он, пугливейшая птица, доверчиво спустился и унес меня на синих своих крылах в рай.

Голландец

Долго увиливал я от написания этой главы. Но ничего не поделаешь.

Когда я две недели назад со всей тщательностью и осторожностью выбрал в гостинице свой 65-й номер, то, в общем, не прогадал. Светлая, оклеенная приятными обоями комната с альковом, где стоит кровать, порадовала меня непривычной, оригинальной планировкой; снаружи никакие строения не заслоняют света и даже открывается неплохой вид на реку и виноградники. Кроме того, комната на самом верхнем этаже, так что надо мной никто не живет, и шум с улицы почти сюда не доходит. Словом, выбрал удачно. Тогда же я справился о соседях и получил самые успокоительные сведения. С одной стороны жила старая дама, которую в самом деле никогда не было слышно. Зато с другой, в номере 64, жил голландец! На протяжении двенадцати дней, на протяжении двенадцати горестных ночей, господин этот владел всеми моими мыслями, ах, чуть не овладел всем моим существом, обратился для меня в некий мифический персонаж, в идола, демона, злого духа, которого я лишь несколько

дней назад наконец поборол.

По его виду никогда этого не скажешь. Столько дней не дававший мне работать, столько ночей не дававший мне спать, господин из Голландии вовсе не какой-нибудь неистовый буян или одержимый музыкант, он не является домой в неурочные часы пьяный, не колотит жену и не ругается с ней, он не свистит и не поет, даже не храпит, во всяком случае не настолько громко, чтобы меня потревожить. Он солидный, благовоспитанный, не первой молодости человек, ведущий размеренную, как часы, жизнь, и не подвержен каким-либо из ряда вон выходящим дурным привычкам — так возможно ли, чтобы этот примерный гражданин заставлял меня так страдать?

Возможно и, к сожалению, факт. Две главные причины, два краеугольных камня моего несчастья заключаются вот в чем: между номерами 64 и 65 имеется дверь, хоть и заложенная, и столиком замаскированная, но отнюдь не звуконепроницаемая дверь. Это первое несчастье, к тому же неустранимое. Второе, худшее: у голландца есть жена, и дозволенными средствами ее тоже не уберешь ни со света, ни из 64-го номера. К тому же, на мою беду, соседи, подобно мне, принадлежат

к сравнительно редкой категории гостиничных постояльцев, которые проводят большую часть времени у себя в комнате.

Будь у меня тоже тут с собой жена, или будь я учителем пения, или имей я рояль, скрипку, валторну, гаубицу или литавры, я бы еще мог вступить в борьбу с голландским соседом в надежде на успех. А так что же получается: чета голландцев за все двадцать четыре часа не слышит с моей стороны ни единого звука, я обхожусь с ними, можно сказать, как с коронованными особами или тяжелобольными, я непрестанно изливаю на них неизмеримое благодеяние полной и абсолютной тишины. А чем отвечают они на такое благодеяние? Они предоставляют мне, поскольку спят каждую ночь от двенадцати до шести, ежедневную передышку в шесть часов. Я волен по своему усмотрению употребить это время на работу или сон, на молитву или медитацию. А остальными восемнадцатью часами я не распоряжаюсь, они мне не принадлежат, они, эти каждодневные восемнадцать часов, проходят в известном смысле вовсе даже не у меня в комнате, а в 64-м номере. Восемнадцать часов на дню в 64-м номере болтают, смеются, делают туалет, принимают гостей. Нет, там не забавляются огне-

стрельным оружием, не увлекаются музыкой, не дерутся, это я признаю. Но там и не задумываются, не читают, не предаются размышлениям и не молчат. Неиссякаемым током текут разговоры, подчас там собирается по пяти-шести человек, а вечером супружеская чета болтает до половины двенадцатого. Потом следует звяканье стекла и фарфора, шурканье зубных щеток, передвижка стульев и мелодии полосканья. Потом трещат кровати и потом настает и воцаряется тишина (это я опять-таки признаю), воцаряется до раннего утра, примерно часов до шести, когда один из супругов, не знаю он или она, встает, идет, сотрясая паркет, принимать ванну и вскоре возвращается обратно; между тем и для меня настал час приема ванны, а после моего возвращения нить разговоров, шума, смеха, передвижка стульев и так далее уже не прерывается почти до полуночи.

Будь я рассудительным, нормальным человеком, как другие, я легко бы примирился со своим положением. Сдался бы, понимая, что двое сильнее одного, и, по примеру большинства курортников, проводил день где-нибудь вне номера, в читальне или курительной комнате, в коридорах, в курзале, в ресторане. Ночью же без

помех спал. Но я одержим неуемной, безрассудной, изматывающей страстью просиживать днем по многу часов в одиночестве за письменным столом, напряженно думать, напряженно писать, часто лишь для того, чтобы затем уничтожить все написанное; а ночью, хоть я только и мечтаю уснуть, засыпание для меня дело сложное, полудремота длится часами, да и сон очень не крепок, очень легок и тонок, достаточно дуновения, чтобы его оборвать. И как бы я к десяти или одиннадцати часам ни уставал и как бы меня ни клонило ко сну, ничего не поможет, все равно я не смогу спать, если рядом голландцы принимают у себя гостей. И пока я, измученный, томлюсь, дожидаясь полуночи, дожидаясь, когда приезжий из Гааги, может быть, дозволит мне уснуть, от ожидания, прислушивания, мыслей о завтрашней работе я уже разогнал сон и настолько взвинчен, что проходит большая часть отпущенных мне шести часов отдыха, прежде чем я в конце концов ненадолго засыпаю.

Надо ли особо объяснять, что я прекрасно сознаю всю необоснованность своих претензий к голландцу — дать мне возможность выспаться? Надо ли говорить, что я прекрасно знаю, что не он виноват в моем плохом сне и в моих интел-

лектуальных пристрастиях, а лишь я один? Ведь пишу я свои заметки из Бадена не затем, чтобы кого-либо упрекать или себя выгораживать, а чтобы запечатлеть наблюдения, пусть даже нелепо преломленные наблюдения психопата. Другого, несравненно более запутанного вопроса о правомерности психопатии, этого страшного и ошеломляющего вопроса о том, не достойнее ли, благороднее, правильнее при известных исторических и духовных обстоятельствах сделаться психопатом, нежели, жертвуя всеми идеалами, приспосабливаться к этим историческим обстоятельствам — этого трудного вопроса, вопроса всех независимых умов со времен Ницше, я здесь касаться не стану; он и без того является темой почти всех моих трудов.

По изложенным выше причинам голландец сделался для меня настоящей проблемой. Мне не совсем ясно почему, и в мыслях и на словах, я всегда имею дело только с голландцем в единственном числе. Ведь это чета, их же двое. То ли я из инстинктивной галантности терпимее отношусь к жене, чем к мужу, то ли голос и тяжелые шаги мужчины в самом деле особенно меня раздражают, так или иначе мучают меня не «они», а мучает именно «он», голландец. Отчасти же то,

что я в своем чувстве ненависти инстинктивно обхожу женщину и мифологизирую мужчину, обращая его в своего врага и антипода, определяется весьма глубокими, стихийными импульсами: голландец, мужчина с крепким здоровьем, преуспевающим видом, внушительной осанкой и тугим кошельком, для меня, аутсайдера, по самому типу своему враждебен.

Это господин лет сорока трех, среднего роста, крепкого, коренастого сложения, производящий впечатление здоровья и нормальности. Лицо и фигура жирноваты и округлы, впрочем, не настолько, чтобы привлекать внимание. Тяжелые веки, крупная мощная голова, кажущаяся массивной и придавливающая фигуру, оттого что посажена на коротковатую шею, которую сразу и не разглядишь. Хотя двигается голландец размеренно и у него отличные манеры, здоровье и вес придают, к сожалению, его движениям и шагам нежелательную для его соседей грузность и громкость. Голос у него низкий и ровный, почти не меняющийся ни в тональности, ни в силе, и весь облик его, если подойти беспристрастно, вызывает ощущение солидности, надежности, успокоителен и скорее симпатичен. Несколько беспокоит то, что он склонен к легкой простуде

(как, впрочем, все курортники в Бадене) и часто громко кашляет и чихает, выражая и в этих звуках свойственную ему мощь и избыток сил.

Так этот вот господин из Гааги, на свое несчастье, оказался моим соседом, днем — враг, бич и гонитель моих литературных трудов, а часть ночи — враг и гонитель моего сна. Конечно, не каждый день воспринимал я его существование, как бремя и кару. Выпадали теплые и солнечные дни, когда мне удавалось работать на воле; укрывшись за кустами в гостиничном саду, с папкой на коленях, я строчил страницу за страницей, думал свои думы, предавался мечтам или с наслаждением читал любимого Жан-Поля. Но в холодные и дождливые дни, а таких было предостаточно, я на целый день оказывался бок о бок с врагом; и в то время, как я за письменным столом безмолвно и напряженно склонялся над работой, голландец за стенкой топал взад и вперед, лил в умывальнике воду, обхаркивал всю раковину, бросался в кресло, переговаривался с женой, хохотал с ней над анекдотом, принимал знакомых. Для меня это зачастую были очень трудные часы. Правда, у меня имелось могущественнейшее подспорье, а именно — моя работа. Я никакой не героический труженик и не заслуживаю наград

за прилежание, но уж если я в какой-то степени дал себя увлечь и обворожить возникшему образу или ряду мыслей, если уж, внутренне противясь, поддался искушению и попробовал облечь эти мысли в форму, то ни за что не отступлюсь от задуманного и нет для меня ничего важней. Бывали часы, когда, празднуй вся Голландия карнавал в 64-м номере, меня бы это не тронуло, настолько я был околдован и поглощен оседлавшей меня одинокой, удивительной и опасной игрой-головоломкой; разгорячившись, судорожно сжимая перо, гнался я за своими мыслями, строил фразы, выбирал среди нахлынувших ассоциаций, упорно нащупывал подходящие слова. Читатель, возможно, посмеется, но для нас, пишущих, писание самое азартное, волнующее приключение — плаванье на утлой лодке по бурному морю, одинокий полет сквозь вселенную. Пока ищешь одно-единственное слово, выбирая из трех пришедших на ум, слышать и чувствовать всю фразу, которую строишь; пока куешь фразу, пока отрабатываешь избранную конструкцию и стягиваешь болты остова, каким-то таинственным путем всегда ощущать тон и пропорции всей главы, всей книги какое это захватывающее занятие! Равное напряжение и концентрация мне,

по собственному опыту, известны только еще при занятии живописью. Сходство тут полное. Тщательно и точно согласовывать каждый цвет с соседним легко и просто, этому можно научиться и затем сколько душе угодно практиковать. Но, помимо того, постоянно видеть перед собой и принимать в расчет все части картины, даже вовсе еще ненаписанные и невидимые, ощущать все хитросплетение перекрещивающихся тонов и полутонов — вот что невероятно трудно и редко удается.

Поэтому литературный труд требует от тебя такой концентрации, что при сильном творческом накале вполне мыслимо преодолеть внешние препятствия и помехи. Автор, которому кажется, будто он может работать только за удобным столом, при хорошем освещении, привычными письменными принадлежностями, на особой бумаге и т. п., мне подозрителен. Разумеется, инстинктивно ищешь всякие внешние удобства и облегчения, но если их нет, обходишься и без них. Так что мне частенько удавалось пером проложить расстояние или воздвигнуть глухую стену между собой и 64-м номером, позволявшие мне час-другой продуктивно поработать. Но едва я начинал уставать, чему немало способство-

вало постоянное недосыпание, помехи вновь возникали.

Много хуже, чем с работой, обстояло дело со сном. Я не намерен тут излагать свою чисто психологически обосновываемую теорию бессонницы. Скажу лишь, что временный иммунитет к Голландии, то отключение от 64-го номера, которое с помощью окрыляющих сил мне порой удавалось достичь в работе, не распространялось на мои попытки уснуть.

Страдающий бессонницей, если она преследует его длительное время, подобно большинству людей в состоянии нервной перегрузки, начинает испытывать отвращение, ненависть, даже кровожадность равно как к себе, так и к ближайшему своему окружению. А поскольку ближайшее окружение для меня представляла Голландия, то в бессонные ночи во мне постепенно накапливалось отвращение, злоба и ненависть к голландцу, которые не могли рассеяться за день, так как помехи и раздражение не прекращались и тут. Бывало, лежа по вине голландца без сна, чувствуя, что меня бьет лихорадка от переутомления и неутоленной жажды покоя, и прислушиваясь к самоуверенным, твердым, солидным шагам соседа, к его самоуверенным, бравым движениям,

к мощным раскатам его голоса, я преисполнялся достаточно-таки острой ненавистью к нему.

Все же и в такой ситуации я всегда до известной степени сознавал всю абсурдность своей ненависти, сохранял способность в какой-то миг над ней посмеяться и тем самым ее притупить. Совсем уж плохо стало, когда эта по сути дела безличная ненависть, направленная только на лишавшие меня сна помехи, на собственную нервозность, на неплотную дверь, со дня на день стала все меньше поддаваться нейтрализации и разделению, постепенно становясь все более слепой, все более односторонней и личной. Я мог сколько угодно себе напоминать и доказывать личную непричастность голландца — под конец ничего уже не помогало. Я попросту его ненавидел, и совсем не только в те минуты, когда он мне действительно мешал, когда среди ночи его громкие шаги, разговоры, смех, может, и в самом деле были бесцеремонны. Нет, я ненавидел его теперь по-настоящему, той настоящей, примитивной, глупой ненавистью, какой незадачливый мелкий лавочник-христианин ненавидит евреев, той глупой, животной, бессмысленной и в основе своей трусливой или завистливой разновидностью ненависти, которую я постоянно осуждаю

в других, которая отравляет политику, деловую и общественную жизнь и на какую я никак не считал себя способным. Я ненавидел уже не только его кашель, его голос, а его самого, всего реального человека, и когда, веселый и ничего не подозревающий, он встречался мне днем, это была для меня встреча с заведомым врагом и негодяем, всей моей философии хватало лишь на то, чтобы не давать волю своим чувствам. Его гладкое, улыбающееся лицо, толстые веки, толстые улыбающиеся губы, брюшко, обтянутое модным жилетом, его походка и манера держаться, все вместе было мне противно и ненавистно, а всего больше я ненавидел бесчисленные свидетельства его силы, здоровья и несокрушимости, его смех, благодушие, энергию движений, лениво-превосходительный взгляд, все эти свидетельства его биологического и социального превосходства. Конечно, легко быть здоровым и благодушным, легко разыгрывать из себя добряка, если днем и ночью живешь за счет сна и сил других людей, если днем и ночью пользуешься деликатностью, молчанием и выдержкой своих соседей, а сам без стыда и совести, когда вздумается, шумишь днем и ночью, сотрясая воздух и весь дом звуками и вибрациями. Чтоб его черти съели, этого господи-

на из Голландии! Тут мне смутно представлялся Летучий голландец[17] — не был ли он тоже проклятым злодеем и мучителем? Но особенно припоминался мне голландец, которого изобразил когда-то писатель Мультатули,[18] тот тучный сибарит и накопитель, чье богатство и сытое добродушие зиждилось на высасывании последнего сока из малайцев. Молодец, Мультатули!

Друзья, которым лучше известны мои чувства и образ мыслей, мои верования и взгляды, могут себе представить, как я страдал в этом недостойном положении, как должна была меня тревожить и мучить такая непроизвольная, всем сердцем отвергаемая мною ненависть к невинному — причем не из-за невиновности моего «врага» и несправедливости моего к нему отношения, но прежде всего из-за нелепости собственного образа действий, из-за глубокого, принципиального противоречия между моим реальным поведени-

---

[17] Примечания: 17

Летучий голландец — главное действующее лицо оперы Р. Вагнера «Летучий голландец», мятущийся и беспокойный морской демон.

[18] Примечания: 18

Мультатули — псевдоним голландского писателя Э.-Д. Деккера (1820–1887), служившего в Нидерландской Индии чиновником и уволенного за смелые выступления в защиту угнетаемого местного населения. В романе «Макс Хавелар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» нарисовал яркие образы голландских колонизаторов.

ем и всем тем, что утверждали мой разум, мои убеждения, моя вера. Ведь самая глубокая моя вера, самое священное для меня убеждение заключается в единстве, в божественном единстве вселенной, все страдания, все зло происходит лишь из-за того, что мы, каждый в отдельности, перестали воспринимать себя как неразрывные части целого, что наше «я» преувеличивает свое значение. Много в своей жизни я страдал, много сотворил дурного, много натерпелся по собственной вине тяжелого и горького, но всегда и неизменно мне удавалось спастись, забыть свое «я» и поступиться им, почувствовать единство, признать иллюзией разлад между внутренним и внешним, между «я» и миром и с закрытыми глазами смиренно раствориться в единстве. Легко мне это никогда не давалось, меньше всего я гожусь в святые, и все же всегда и неизменно повторялось со мной чудо, которому христианские теологи дали прекрасное имя «благодати» — божественное состояние умиротворенности, непротивления, добровольного приятия, являющегося не чем иным, как христианским самоотрешением или индусским осознанием единства. И вот — увы и ах! — я опять оказался вне всякого единства, стал разобщенным,

страдающим, ненавидящим, враждующим «я». Конечно, имелись и такие, я и тут не был одинок, существовало множество людей, вся жизнь которых была постоянной борьбой, воинственным самоутверждением своего «я» в противовес окружающему миру и которым мысль об единстве, любви и гармонии неведома и чужда, показалась бы глупостью и слабостью, да что там, вся практическая общепризнанная религия современного человека состоит именно в возвеличении своего «я» и его борьбы. Но хорошо себя чувствовать при таком выпячивании своего «я» и борьбе за него способны разве что натуры примитивные, сильные, нетронутые первобытные существа, тогда как знающим, через страданье прозревшим, через страданье одухотворившимся не дано найти в этой борьбе счастья, для них счастье мыслимо лишь в забвении себя, в ощущении единства. Эх, хорошо простакам, которые могут любить себя и ненавидеть своих врагов, хорошо патриотам, которым нет нужды сомневаться в себе, потому что сами они-де ни на столечко не виноваты в бедствиях и нищете своей страны, а, конечно же, только французы, или русские, или евреи, все равно кто, но всегда кто-то другой, всегда «враг»! Может, люди эти, девять десятых живущих на

земле, в самом деле счастливы в своей варварской первобытной религии, может, им на зависть легко и весело живется в их панцире глупости или на редкость изобретательного умоненавистничества — хоть и это весьма сомнительно, ибо где взять общее мерило для счастья тех людей и моего собственного, для их и моего страданий?

Долгую, мучительно долгую ночь провел я в таких размышлениях. Жертва голландца, который рядом кашлял, харкал и топал взад и вперед по комнате, я лежал потный и изнемогающий в постели, глаза у меня ломило от долгого чтения (а что другого мне оставалось делать?), и я сознавал: довольно, надо немедленно положить конец этому состоянию, этой муке и позору. Но едва эта ясность, это убеждение или решение, озарила меня с холодной беспощадностью утреннего света, едва в душе ясно и твердо определилось: «Это нужно теперь же до конца выстрадать и разрешить», как поначалу выплыли обычные глупые фантазии, хорошо знакомые всякому нервному человеку в особо мучительные минуты. Лишь два пути, как казалось, могли вывести меня из моего жалкого состояния, и один из них мне предстояло избрать: либо покончить с собой, либо объясниться с голландцем, взять его за гор-

ло и победить. (Он тут как раз снова принялся внушительно кашлять.) Обе идеи были прекрасны и спасительны, хоть и несколько ребячливы. Прекрасна была мысль покончить с собой одним из общепринятых способов, которые не раз прикидываешь, с характерным для всех самоубийц ребячливым чувством: «Вот я себе сейчас горло перережу, вам же будет хуже!» Но прекрасна была и другая картина разделаться не с собой, а с голландцем, задушить его или пристрелить и, оставшись в живых, восторжествовать над его грубым, неодухотворенным жизнелюбием.

Эти наивные фантазии уничтожения себя или своего врага скоро, впрочем, иссякли. Можно было какое-то время себя ими тешить, искать прибежище в картинах желаемого, которые, однако, быстро блекли и теряли свою привлекательность, ибо после краткого блуждания по такому лабиринту желание утрачивало силу, и я должен был признаться в том, что оно было лишь данью мгновенной экзальтации и что ни своей смерти, ни смерти голландца я на самом деле всерьез не желал. Его удаление отсюда вполне бы меня удовлетворило. Тогда я попытался облечь это удаление в конкретные образы, зажег свет, достал из ящика ночного стола железнодорож-

ный справочник и не поленился составить для голландца безукоризненно расписанный маршрут, согласно которому ему завтра же чуть свет надлежало отсюда отбыть и возможно быстрее очутиться у себя на родине. Занятие это доставило мне некоторое удовольствие: я представлял себе, как голландец в холодной предрассветной тьме встает, видел и слышал, как он в последний раз совершает в 64-м номере утренний туалет, обувается, захлопывает за собой дверь, видел, как, поеживаясь, он едет на вокзал и отбывает, видел, как в восемь утра он в Базеле ругается с французскими таможенниками, и чем дальше я мысленно его спроваживал, тем легче мне становилось на душе. Однако уже в Париже воображение мне отказало, и еще задолго до того, как я доставил голубчика на голландскую границу, вся картина рассыпалась на части.

Все это было игрой, забавой. Так дешево и просто мне не одолеть врага врага во мне самом. Ведь дело заключалось не в том вовсе, чтобы как-то отомстить голландцу, а в том, чтобы найти осмысленную и достойную меня позицию по отношению к нему. Задача была ясна: я должен побороть свою бессмысленную ненависть, должен полюбить голландца. Тогда, сколько бы он

ни харкал и ни гремел, превосходство будет на моей стороне, я буду неуязвим. Если мне удастся его полюбить, ему уже не поможет никакое здоровье, никакая его энергия, тогда он в моей власти, тогда его образ не вступит в противоречие с моей идеей единства. Цель достойная, так за дело, надо с толком использовать бессонную ночь!

Задача была столь же простой, сколь и сложной, и я действительно потратил почти всю ночь на то, чтобы ее разрешить. Голландца надо было преобразить, переработать, из объекта моей ненависти, из источника моих страданий пересоздать, переплавить его в объект моей любви, участия, братских моих чувств. Не удастся мне это, не найду я в себе нужного для такой переплавки внутреннего жара, тогда я пропал, тогда голландец по-прежнему будет стоять у меня поперек горла, и я еще много дней и ночей буду давиться этой костью. То, что мне предстояло сделать, было всего лишь выполнением чудесной заповеди «любите врагов ваших». Я уже давно привык воспринимать все эти удивительно покоряющие евангельские речения не просто как мораль, как приказание, как «ты должен», а как дружеские советы истинного мудреца, который подмаргивает нам: «А ты хоть разик попробуй

точно выполнить эту заповедь, увидишь, как тебе станет легко». Я понимал, что в этих словах заключено не только высшее из моральных требований, но и высшее и мудрейшее учение о душевном благополучии и что вся евангельская теория любви, помимо всех прочих ее значений, имеет значение и прекрасно продуманной душевной терапии. В данном случае это было совершенно очевидно, самый неискушенный психоаналитик, только что со студенческой скамьи, мог бы подтвердить, что между мной и спасением стояло единственное еще не выполненное требование — возлюбить врага своего.

Так вот, я преуспел, он не остался стоять у меня костью в горле, он был переплавлен. Но далось мне это нелегко, стоило больших усилий и труда, стоило двух-трех ночных часов огромного душевного напряжения. Но дело было сделано.

Начал я с того, что возможно яснее и отчетливее вызвал в душе пугающий образ голландца, вплоть до рук и каждого пальца на руке, вплоть до ботинок, бровей, каждой морщинки на висках, пока явственно не увидел его всего, внутренне полностью не овладел им и волен был заставить его ходить, сидеть, спать. Я представлял его себе утром чистящим зубы и вечером засыпающим

в постели, видел, как у него устало смыкаются веки, видел, как вяло клонится шея и голова падает на подушку. Пожалуй, с час пришлось мне для этого с ним провозиться. Но я многого достиг. Полюбить что-то означает для писателя вобрать в себя, в свою фантазию, греть и лелеять там, играя, поворачивать туда и сюда, вложить частицу собственной души, оживить собственным дыханием. Так я и поступил со своим врагом, покуда им не овладел и он не вошел в меня. Если б не его коротковатая шея, ничего бы, вероятно, не получилось, но меня выручила шея. Я мог сколько угодно одевать и раздевать голландца, совать его в шорты или сюртук, в байдарку или за обеденный стол, делать из него солдата, короля, нищего, раба, старика или ребенка, в любом, даже в самом измененном облике, у него сохранялась короткая шея и несколько выпученные глаза. Эти признаки были его слабым местом, тут и следовало его атаковать. Долго не удавалось мне скинуть голландцу годы, увидеть его молодым супругом, увидеть женихом, студентом и школьником. Но когда мне наконец удалось превратить его в маленького мальчика — шея его впервые пробудила во мне участие. Через жалость и сострадание нашел он путь к моему сердцу достаточно мне было

увидеть, как у крепкого подвижного мальчика, к великой тревоге родителей, обнаружились первые признаки предрасположения к одышке. По тому же пути жалости и сострадания двинулся я дальше, и тогда не потребовалось особого искусства, чтобы набросать себе также будущие годы и ступени. А когда я достиг того, что наконец увидел, как постаревшего на десять лет беднягу хватил первый удар, то все в нем вдруг стало трогательно взывать ко мне, толстые губы, тяжелые веки, невыразительный голос — все заговорило в его пользу, и еще прежде чем голландца в неуемной моей фантазии настигла воображаемая кончина, его человеческое естество, его слабость, неизбежная смерть стали мне до того по-братски близки, что я давно уже перестал питать к нему какое-либо зло. Тут я обрадовался, закрыл ему навеки глаза, смежил свои собственные, потому что уже светало, и, вконец разбитый долгими ночными муками творчества, я, как бледная тень, маячил над подушками.

На следующий день и в следующую ночь мне неоднократно представлялся случай убедиться в своей победе над Голландией. Сосед мог смеяться или кашлять, как угодно щеголять своим здоровьем, как угодно громко расхаживать по

комнате, мог двигать стульями или отпускать шутки — меня уже ничто не выводило из равновесия. Днем я довольно сносно работал, а ночью довольно сносно спал.

Я торжествовал, но торжество мое длилось недолго. На вторые сутки после победоносной ночи голландец внезапно уехал, тем самым вновь одержав надо мной победу и оставив меня, как ни странно, даже несколько разочарованным, ибо моя трудно завоеванная любовь и неуязвимость не находили уже себе применения. Отъезд его, о котором я прежде страстно мечтал, чуть ли не огорчил меня.

Вместо него в 64-м номере поселилась маленькая, серенькая дама, опиравшаяся на палку с резиновым наконечником, которую я редко когда видел или слышал. Идеальная соседка, она никогда мне не мешала, никогда не возбуждала во мне злобы и ненависти. Но теперь, задним числом, могу признаться. С неделю, а то и больше, новое соседство несло мне одно разочарование, я предпочел бы, чтобы за стеной вновь жил голландец, тот, кого я наконец оказался способен любить.

Уныние

Когда я сейчас думаю об оптимизме первых своих дней в Бадене, о тогдашних своих детски радужных надеждах, наивном доверии к здешнему водолечению и тем более о почти фривольном самообольщении и мальчишеском тщеславии, с какими я себя тогда почитал сравнительно молодым и бодрым, вполне обнадеживающим легким больным; когда я вспоминаю все это игриво-легкомысленное настроение тех первых дней, свою примитивно-дикарскую веру в Баден, в безобидность и излечимость своего ишиаса, свою веру в теплые источники, в курортного врача, в диатермию и кварцевую лампу — тогда я лишь с трудом удерживаюсь от искушения подойти к зеркалу и показать себе язык. Боже ты мой, и как же рассыпались эти иллюзии, как угасли эти надежды, что осталось от того стройного, эластичного, благожелательно улыбающегося приезжего, который, играя ротанговой тросточкой и любуясь самим собой, пританцовывая, спускался по Бадештрассе! Что же я был за дурак набитый! Более того, что осталось от столь оптимистичной, лакированной, приспособленческой, светской философии,

которой я тогда играл и рисовался не хуже, чем своей ротанговой тростью!

Правда, трость пока, какой была, такой и осталась. Не далее, как вчера я с возмущением отверг предложение банщика насадить на мою изящную тросточку проклятый резиновый наконечник. Но кто поручится, что я не приму это предложение, если мне его повторят завтра?

У меня жуткие боли, и не только при ходьбе, я и сидеть не в состоянии, так что с третьего дня все больше лежу. Когда я утром вылезаю из ванны, две крохотные каменные ступеньки доставляют мне немало трудов — пыхтя и обливаясь потом, я подтягиваюсь за перила вверх, едва нахожу силы накинуть на себя купальную простыню и надолго поникаю на стуле. Надевание ночных туфель и халата стало ненавистной, тяжкой обязанностью, путь до серного источника, затем от источника к лифту и от лифта к спальне — кропотливейшим делом, нескончаемым, мучительным путешествием. Я пользуюсь в свое утреннее путешествие всеми доступными мне подсобными средствами, цепляюсь за банщика, за дверные косяки, за перила, держусь за стенки и, пренебрегая всякой эстетикой, двигаю ногами и ворочаю тазом в той же тяжеловесно-обреченной, полуплавающей

манере, что была с насмешливым сочувствием подмечена мною когда-то (о, как бесконечно давно это было!) у старой дамы, которую я счел возможным сравнить с морской львицей. Если когда-либо фривольная шутка оборачивалась против самого шутника, то тут, без сомнения, это имело место.

Утром, когда я сижу на краю кровати, страшась болезненной задачи нагнуться за ночными туфлями, или, смертельно усталый после ванны, оседаю в полудремоте на стуле, память подсказывает мне, что еще недавно, еще несколько недель назад, я, бывало, по утрам, едва вскочив с постели, энергично и точно выполнял дыхательные упражнения, расширял грудную клетку, доской втягивал живот и, уверенно и ритмично, как из гобоя, выпускал набранный в легкие воздух. Вероятно, это правда, но сейчас трудно поверить, что я когда-то мог на прямых ногах, не сгибая колен, подолгу пружинить на носках, медленно и низко приседать и выполнять всякие другие сложные гимнастические штуки!

Правда, меня в самом начале курса сразу же предупредили, что подобные обострения возможны, что ванны очень утомляют и у многих пациентов во время лечения боли сперва даже

усиливаются. Ну что ж, кивал я. Но что усталость будет такой ужасной, боли настолько сильными и гнетущими, этого я никак не предполагал. Всего за неделю я превратился в дряхлого старика, рассиживающего в доме или на скамейке в саду, лишь с трудом встающего опять на ноги, неспособного уже подняться по лестнице и вынужденного прибегать к помощи боя, чтобы войти и выйти из кабинки лифта.

Внешний мир тоже припас мне всевозможные разочарования. Совсем рядом, в Цюрихе, живет много моих близких друзей, и они знают, что я болен и нахожусь здесь на лечении, двое даже твердо обещали меня проведать, когда я по пути сюда навестил их. А приехать — никто не приехал и, конечно, не приедет; что я на это рассчитывал и заранее радовался, опять-таки следует приписать моей неистребимой ребячливости. Нет, разумеется они не приедут, я же знаю, как они заняты, все эти бедные, загнанные люди, и как поздно они почти ежедневно ложатся спать по возвращении из театра, ресторана, гостей; глупо было с моей стороны об этом не подумать и, как малое дитя, легковерно ожидать, что им доставит бог весть какое удовольствие навестить меня, больного, скучного старика. Но я всегда

предполагаю самое невероятное, жду самого несбыточного; едва познакомлюсь с человеком и найду его симпатичным, как уже приписываю ему все достоинства, мало того, требую их от него и бываю разочарован и огорчен, если мои ожидания не оправдываются. Так получилось у меня и с довольно красивой молодой дамой в нашей гостинице, с которой я несколько раз беседовал и которая мне очень понравилась. Правда, когда в качестве любимых своих книг она перечислила мне несколько пошлейших развлекательных романов, я на миг смутился, но тут же сказал себе, что я, специалист и знаток в вопросах литературы, не вправе предполагать в других подобной же осведомленности и понимания в этой области. Я проглотил книжные заглавия, осудил себя самого и продолжал ожидать от дамы лишь самых прекрасных и благородных слов и поступков. А вчера вечером в гостиной она совершила убийство! Такая милая, приятная, даже красивая дама, женщина, которая, уж конечно, в моем присутствии никогда бы не ударила ребенка и не стала мучить животное, усевшись за рояль, с ясным челом и невинными глазами, в моем присутствии неумелыми, но сильными руками изнасиловала и прикончила прелестнейший

менуэт восемнадцатого века! Я пришел в ужас, сидел подавленный, красный от стыда, но никому и в голову не пришло, что случилось что-то дурное, я был одинок в своих нелепых претензиях. О, как тосковал я по привычному одиночеству, по своей берлоге, которую мне вообще не следовало бы покидать, где хоть достаточно бед и страданий, но зато нет роялей, нет литературных разговоров, нет моих культурных ближних!

Да и все это лечение, весь этот Баден, до чего они мне опостылели. Большинство постояльцев нашей гостиницы, как мне известно, в Бадене не впервые, многие приезжают на здешние воды в шестой, а то и в десятый раз, и, по теории вероятностей, со мной будет то же, что и с ними, что и со всеми больными обменом веществ: болезнь от года к году будет прогрессировать, и надежда на выздоровление сменится более скромной надеждой — ежегодными поездками в Баден хоть на время получать какое-то облегчение. Правда, врач по-прежнему тверд в своих заверениях, но ведь такова уж его профессия, а что мы, пациенты, внешне хорошо выглядим и производим впечатление цветущего здоровья, то этому в отношении объема — способствует роскошная пища, а в цветовом — кварцевая лампа,

придающая нам декоративный загар, так что нас легко принять за только что спустившихся с гор альпинистов.

Вдобавок еще морально опускаешься в этой ленивой и расслабляющей курортной атмосфере. Те немногие добрые спартанские привычки, которые я прививал себе на протяжении многих лет, дыхательные упражнения и гимнастика, умеренность в еде, пошли прахом, причем с прямого благословения врача; точно так же почти вовсе угасло мое первоначальное намерение наблюдать и работать. Не то чтобы я сожалел об этой Psychologia balnearia, напротив, она с самого начала не являлась опусом, целеустремленной попыткой создать художественное произведение, а всего лишь занятием, маленькой ежедневной тренировкой для глаза и руки. Но и тут возобладала лень, я потребляю ныне мало чернил. Если б не победа над голландцем, которая тоже далась мне несоразмерно тяжело, я вынужден был бы прямо-таки констатировать застой и загнивание. И в некоторых отношениях мне ничего другого и не остается. Прежде всего мною овладела вялость, унылая лень, удерживающие меня от всего доброго и полезного, а именно от всякого, даже ничтожного, физического усилии. Я едва могу

принудить себя совершить краткую прогулку, а после еды, так же как и после ванны и процедур, часами валяюсь в постели и в шезлонге; что же касается моего душевного состояния — то о нем я составлю себе более точное представление позднее, когда перечитаю когда-нибудь эти дурацкие заметки, над которыми, не полностью еще утратив чувство долга, время от времени просиживаю час-другой. Я весь сплошная вялость, тупая скука, сонливая лень.

Однако мне не миновать еще более постыдного признания. Что меня не тянет ни работать, ни думать, ни даже читать, что я духовно и физически утратил всякую бодрость и энергию — уже само по себе достаточно плохо, но есть нечто и похуже. Я начал входить во вкус именно самой что ни на есть поверхностной и оглупляющей, пустой и порочной стороны нашей праздной курортной жизни. За обедом, например, я съедаю все подаваемые нам деликатесы отнюдь уже не просто так, шутки ради, с ощущением внутреннего превосходства или по меньшей мере с иронией, как было поначалу, — нет, я ем, я жру, хотя давно забыл, что такое голод, расправляюсь со всем изысканным длиннейшим меню дважды в день с невоздержанной тупой прожорливостью

скучающего человека, жирного, равнодушного буржуа, как правило, пью к ужину вино, а перед сном взял себе в привычку опоражнивать бутылочку пива, от которого почти двадцать лет назад совершенно отказался. Вначале я принимал пиво в качестве снотворного, мне его рекомендовали, но вот уже много дней пью его чисто по привычке и невоздержанности. Просто диву даешься, до чего быстро усваивается все дурное и неразумное и до чего легко превратиться в разленившегося пса и жирного борова — чревоугодника!

Но мои порочные наклонности отнюдь не ограничиваются обжорством и выпивкой, ничегонеделанием и лежанием на боку. Рука об руку с физической изнеженностью и ленью идет и духовная. То, что я никак не считал возможным, произошло: я не просто избегаю в духовной сфере все трудные, неровные и опасные пути, но и в духовной сфере лениво и прожорливо ищу те самые пошлые, извращенные, идиотски помпезные и бессодержательные развлечения, какие всегда избегал и ненавидел и за пристрастие к которым постоянно обвинял и презирал буржуа и особенно горожанина, наше время, да и всю нашу цивилизацию. Я теперь настолько приблизился к среднему уровню курортника, что не только

не ненавижу и не избегаю этих развлечений, а сам ищу их и в них участвую. Еще немного, и я начну читать списки приезжих на воды (из всех времяпрепровождений пациентов последнее для меня самое загадочное), буду часами обсуждать с фрау Мюллер ее ревматизм и все виды помогающих от этой болезни травяных настоев, буду посылать друзьям открытки с новобрачными или отважными людьми-бураками.

Теперь я часто посещаю концерты в курзале — долгое время я старательно их избегал, — сижу, как и все остальные, на стуле, слушаю, как течет и течет легкая музыка, и с удовольствием ощущаю, как с ней, слышимо и ощутимо, протекает отрезок времени, отрезок того самого времени, которого у нас, курортников, в таком избытке. Подчас меня завлекает и околдовывает сама музыка, чисто чувственное воздействие нескольких хорошо звучащих инструментов, причем ни характер, ни содержание исполняемых вещей вовсе не доходит до моего сознания. Пустые пьески, весь стиль и почерк которых всегда вызывал во мне отвращение, я теперь безропотно выслушиваю до конца. Я сижу четверть, а то и полчаса, усталый и обмякший, среди толпы других скучающих людей, тоже слушаю, как течет время, тоже

делаю скучающее лицо, тоже бездумно почесываю себе шею или затылок, упираю подбородок в набалдашник тросточки или зеваю, и лишь в отдельные мгновения душа моя испуганно и непокорно вздрагивает, будто пойманный степной хищник, внезапно пробудившийся в неволе, но вскоре вновь погружается в дремоту, и спит, и грезит дальше, подспудно, без меня, потому что я отделился от души с тех пор, как рассиживаю на этих концертных стульях.

И лишь теперь, когда я сам целиком и полностью сделался частью толпы, средним курортником, скучающим, усталым обывателем, лишь теперь я сознаю, как смехотворно и легкомысленно было на первых страницах этих заметок разыгрывать из себя нормального представителя этого мира и этой психологии. Я иронизировал, и лишь теперь, когда в самом деле принадлежу к этому нормированному, обезличенному миру повседневности, когда без души сижу в зале, вкушая легкую музыку, как кушают чай или пильзенское пиво, лишь теперь я снова целиком и полностью сознаю, как сильно, как люто ненавижу этот мир. Ибо сейчас я ненавижу, презираю и высмеиваю в нем не что иное, как самого себя. Нет, быть заодно с этим миром, к нему принадлежать, пользовать-

ся в нем признанием и чувствовать себя хорошо — сейчас я это ощущаю всеми фибрами своего существа — не для меня, заказано мне, есть грех против всего доброго и святого, что мне известно и участвовать в чем для меня счастье. И лишь потому, лишь из-за того, что я сейчас совершаю этот грех, из-за того, что я заодно с этим миром и его приемлю, мне сейчас так тошно! И все же я ничего не предпринимаю, инертность сильнее сознания, жирное, ленивое брюхо сильнее робко скулящей души.

Теперь я иногда позволяю другим постояльцам гостиницы втянуть меня в разговор; мы задерживаемся после трапезы где-нибудь в коридоре и высказываем совершенно одинаковые мнения о положении в политике и на бирже, о погоде и лечении, а также о житейской философии и семейных заботах. Что молодежь, как ни верти, нуждается в авторитетах, и очень даже иногда полезно столкнуться с трудностями и проглотить горькую пилюлю, и еще много такого, с чем я заранее охотно соглашаюсь и чему с желудком, набитым хорошей пищей, выражаю полное свое одобрение. Время от времени душа вздрагивает, слово во рту оборачивается желчью, и я вынужден поспешно и бесцеремонно спасать-

ся бегством, ища уединения (о, как трудно его здесь найти!), но в общем и целом я повинен и в этом преступлении против духа, грешу глупой, пустой болтовней, ленивым, бездумным поддакиванием.

Другое развлечение, к которому я здесь стал привыкать, — это кинематограф. Я провел несколько вечеров в кино, и если в первый раз пошел туда лишь затем, чтобы как-то уединиться, избежать докучливых разговоров и вырваться из-под наваждения голландца, то во второй отправился туда уже ради удовольствия, ради рассеяния (вот я и приучился к словечку «рассеяние», раньше вовсе отсутствовавшему в моем лексиконе!). Я был там неоднократно и, совращенный соблазнительной для глаз сменой картин, утратив всякую разборчивость, не только безропотно мирился с самым возмутительным и неряшливо состряпанным суррогатом искусства и псевдодраматизмом, наряду с ужасающей музыкой, но терпел и зловредную, как физически, так и духовно, атмосферу зрительного зала. Я начинаю все терпеть, проглатываю все, даже самое глупое, самое безобразное. Я часами сидел на бесконечно длинном фильме, и мне показывали императрицу древнего мира, вкупе с театром,

цирковой ареной, храмом, вкупе с гладиаторами и львами, святыми и евнухами, и я терпел, когда высочайшие ценности и символы, трон и скипетр, мантия и ореол святого, крест и держава, наряду со всеми вообразимыми и невообразимыми свойствами и состояниями человеческой души, с сотнями людей и зверей валилось в одну кучу и выставлялось напоказ ради никчемной цели и все это само по себе пышное зрелище, обесцененное длиннейшими идиотскими титрами, отравленное ложным драматизмом и униженное бессердечной и безголовой публикой (в том числе и мной), превращалось в балаган. Минутами это было просто ужасно, и не раз я готов был убежать, но ишиатикам не так-то легко бегать, я остался и досмотрел эту пошлятину до конца и, вероятно, завтра или послезавтра снова отправлюсь в тот же самый зал. Несправедливо было бы отрицать, что я видел в кино также и прелестные вещи, в частности, обаятельнейшего французского акробата и юмориста, чьим находкам могли бы позавидовать большинство писателей. Если я что обвиняю, если что вызывает у меня досаду и отвращение, так это не кино, а единственно я сам, его посетитель. Кто заставляет меня туда ходить, выносить отвратительную музыку, читать

идиотские титры, слышать гогот своих более простодушных братьев? В упомянутом выше боевике я видел, как волокли по песку окоченелые трупы целой дюжины красавцев-львов, которых мы всего две минуты перед тем видели живыми, и слышал, как половина зала встретила это гнусное и печальное зрелище громким хохотом! Неужели в здешних термальных водах содержится нечто такое, какая-нибудь соль, кислота, известь, нечто нивелирующее человека, тормозящее в нем все высокое, благородное, ценное и, напротив, стимулирующее низменное и пошлое? Что ж, склоняюсь и стыжусь, а на будущее, ко времени возвращения в свою степь, даю себе несколько обетов.

Кончается ли на этом перечень моих дурных привычек и благоприобретенных пороков? Нет, еще не кончается. Я приобщился также к азартным играм, неоднократно с удовольствием и увлечением играл за зеленым столом и развлекался у автомата, которому через маленькие отверстия даешь заглатывать серебряные франки. К сожалению, играть по-настоящему я не могу, для этого у меня мало денег, но что мне по карману, я все же всадил туда, и дважды мне посчастливилось играть целый час кряду и в

конечном итоге потерять не более одного-двух франков. Разумеется, это не были переживания настоящего игрока, но все же я и тут, так сказать, нюхнул пороху и должен признаться: игра доставила мне большое удовольствие. Должен также признаться, что не испытывал при этом никаких моральных угрызений, как на концертах, при разговорах с курортниками и знакомстве с кино-львами, напротив, предосудительный и антибуржуазный душок данного порока мне весьма нравился, и я искренне сожалею, что не могу ставить более солидные куши.

Мои ощущения при игре были примерно следующие: сперва я некоторое время стоял у края зеленого стола, глядя на поля с цифрами и слушая голос человека у рулетки. Цифра, которую выкликал этот человек, избранная катящимся шариком цифра, еще секунду назад слепая и бессмысленная среди множества других, вдруг жарко и светло вспыхивала в голосе человека, в занятой шариком клетке, в ушах и сердцах публики. «Quatre» называл он, или «cinq» или «trois», и не только в моих ушах и сознании, не только на круглой вогнутой колее шарика вспыхивала цифра, но и на зеленом столе. Когда вышла семерка, чопорно подтянутая черная цифра семь в отве-

денном ей зеленом поле на секунду празднично засияла, оттеснив в безвестность все остальные цифры, потому что все другие были всего-навсего возможностями, и лишь она стала осуществлением, действительностью. Осуществление возможного, ожидание этого и сопричастность — вот в чем была душа игры. Стоило мне несколько минут понаблюдать и послушать, начать интересоваться игрой, как наступил первый восхитительный и сладостно волнующий миг: выкликнули шесть, и цифра эта меня нисколько не удивила, она возникла так закономерно, так естественно, так реально, словно я ее наверняка ждал, больше того, словно я сам ее выкликнул, ее сделал, ее сотворил. С этой секунды я всей душой принадлежал игре, предугадывал судьбу, чувствовал себя на дружеской ноге со случаем, а это, скажу прямо, блаженное чувство, в нем стержень и магнетическая сила всей игры. Итак, я услышал, как вышла семерка, потом единица, потом восьмерка, не почувствовал себя ни удивленным, ни разочарованным, поверил, что именно эти цифры я и ожидал, и вот уже связь установилась, меня втянуло в поток, и я ему доверился. Теперь я смело оглядывал зеленую гладь стола, читал цифры, и какая-нибудь из них меня притягивала,

я слышал, как она тихонько зовет (иногда это были даже две сразу), видел, как она украдкой мне кивает, и ставил свои франки на эту цифру. Если она не выходила, я не огорчался и не разочаровывался, я мог ждать, моя шестерка или девятка непременно еще выскочит. И она выскакивала, во второй или в третий раз она в самом деле выскакивала. Сам момент выигрыша чудесен. Ты воззвал к судьбе и положился на нее, тебе кажется, ты сопричастен великой тайне, у тебя как бы смутное предчувствие, что ты с ней в союзе и в дружбе, — и что же, это правда, это подтверждается, твое робкое затаенное предположение, твоя маленькая сокровенная мечта вспыхивает, происходит чудо, предчувствие обращается в действительность, твоя цифра избирается всемогущим стеклянным шариком, человек у колеса громко ее выкликает, и крупье бросает тебе веером горсть сверкающих серебряных монет. Это необыкновенно хорошо, это чистое счастье, и дело тут не в деньгах, поскольку пишущий эти строки из всех выигранных франков не сохранил ни единого, рулетка все их вновь поглотила, и тем не менее прекрасные мгновения выигрыша, эти удивительно непосредственные, по-детски цельные и насыщенные осуществления светятся

все так же ярко и восхитительно, каждое было сияющей, пышно украшенной рождественской елкой, каждое было чудом, каждое — праздником, причем праздником души, подтверждением, признанием, взлетом сокровеннейшего, глубочайшего жизненного инстинкта. Конечно, можно ощутить ту же радость, то же несказанное счастье на более высоких уровнях, в более благородных и утонченных формах: при озарении глубокой жизненной истиной, в момент внутренней победы над собой и особенно в минуты творчества, в минуту нахождения, блеснувшего наития, торжествующе нащупанной цели в работе художника, все это в более высоких сферах сходно с ощущением выигрыша, подобно образу и отражению. Но как редко переживает такие высокие, божественные минуты даже счастливец, даже талант, как редко зажигается в нас, усталых поздних людях, удовлетворение, насыщающее чувство счастья, которое по силе и великолепию могло бы сравниться с радостными переживаниями детства! За этими-то переживаниями и гонится игрок, пусть с виду его привлекают деньги. Эту райскую птицу радости, ставшую столь редкой в нашей плоской, пресной жизни, он и старается добыть, к ней устремлена пылающая в его взоре

страсть. Теперь игра шла с переменным счастьем, временами мы были с ним едины, я сам сидел в катящемся шарике, выигрывал, и меня ознобом пробирал восхитительный трепет возбуждения. Потом высшая точка была пройдена. В брючном кармане у меня бренчала солидная пригоршня выигранных монет, я раз за разом продолжал ставить, но прежняя уверенность постепенно стала меня покидать, выскочила единица, затем четверка, которых я никак не ждал, явно враждебные и словно бы издевавшиеся надо мной. Я стал неспокоен и боязлив, ставил на цифры, не испытывая никакого смутного предчувствия, долго колебался между четом и нечетом, но, будто по принуждению, продолжал ставить, пока не просадил всех выигранных денег. И не спустя какое-то время, а тут же, еще играя, я ощутил всю глубину сравнения, увидел в игре картину жизни, где происходит буквально то же самое, где необъяснимое, неразумное предчувствие дает нам в руки сильнейшие чары, развязывает могущественнейшие силы и где, когда добрые инстинкты ослабевают, вмешиваются здравый смысл и рассудок, какое-то время лавируют и сопротивляются и в конечном итоге происходит то, что и должно произойти, безо всякого наше-

го участия и вовсе помимо нас. Переваливший за высшую свою точку и все же неспособный остановиться, ослабевший духом игрок, не руководимый никакой интуицией, никакой глубокой верой, точь-в-точь походит на человека, который, не видя выхода в серьезных жизненных вопросах, вместо того чтобы подождать и закрыть глаза, неизбежно попадает впросак от излишних расчетов, стараний и мудрствований. Вернейшее правило игры за зеленым столом следующее: если видишь, что какой-нибудь усталый и невезучий игрок много раз кряду ставит то на одну, то на другую цифру и затем все-таки отступается — смело ставь на цифру, которую он долго и безуспешно осаждал и, отчаявшись, бросил, она непременно выскочит.

Игра на деньги до странности отличается от всех прочих городских и курортных развлечений. Здесь за зеленым столом и книжек не читают, и не ведут пустопорожних разговоров, и не вяжут чулок, как на концертах и в кургартене, тут не зевают и не почесывают себе шею, даже ревматики и те не думают здесь садиться, а стоят, подолгу и с трудом, прямо-таки героически стоят на собственных, обычно столь щадимых ногах. Здесь, в игорном зале, не услышишь ни шуток, ни

разговоров о своих болезнях или о Пуанкаре,[19] тут почти никогда не смеются, обступившая стол толпа зрителей серьезна и разве что перешептывается, приглушенно и торжественно звучит голос помощника крупье, приглушенно и нежно звенят друг о друга монеты на зеленом столе, и уж это одно, это благоговение и относительная сдержанность и достоинство, придает в моих глазах игре неизмеримое преимущество над другими видами развлечений, при которых люди ведут себя так шумно, так развязно и необузданно. Здесь, в игорном зале, царит строгая торжественность и праздничность, посетители входят сюда словно в храм, тихо и несколько робея, говорить решаются лишь шепотом, благоговейно взирают на господина во фраке. А тот ведет себя выше всяких похвал, не как живой человек, а как бесстрастный носитель высокой должности или сана.

Я не стану здесь разбирать психологические причины такого праздничного настроения и прекрасной, благотворной торжественности, поскольку давно отказался от фикции, будто моя Psychologia balnearia повествует о чьей-либо посторонней, а не моей собственной психике.

---

[19] Примечания: 19

Пуанкаре, Раймон (1860–1934) — французский государственный деятель, в 1922–1924 гг. был премьер-министром Франции.

По-видимому, исполненная достоинства и набожности атмосфера шепчуще-молитвенной святости в игорном зале вызвана просто тем, что здесь дело идет не о музыке, драмах и прочих ребячествах, а о самом важном, любимом и святом в представлении людей — о деньгах. Но, как сказано, я не намерен в это вникать, последнее не входит в мою задачу. Я только отмечаю, что, в противоположность другим публичным увеселениям, здесь, в игорном зале, атмосфера не лишена благочестия. И если, например, в кино публика не очень-то стесняется и словесно, да и всякими иными способами, выражает свое одобрение и неодобрение, здесь даже главный персонаж, игрок, в минуты наисильнейшего, обоснованнейшего и вполне дозволенного волнения, а именно при выигрыше или проигрыше денег, почитает себя обязанным проявлять выдержку и достоинство. Я вижу, как люди, сопровождающие при ежедневной карточной игре потерю несчастных двадцати сантимов взрывами досады, бранью, проклятиями, проигрывают здесь в сотни раз больше, не хочу сказать «не моргнув глазом», потому что глаза даже очень моргают, но не поднимая голоса и не докучая окружающим непристойным выражением своих чувств.

Поскольку мудрые правительства заботятся обо всем, могущем способствовать подъему народного просвещения, и поощряют и поддерживают все служащие тому учреждения, я возьму на себя смелость, хоть я и совершенный профан в данной области, указать специалистам на тот факт, что из всех игр, развлечений и забав ничто так не воспитывает в участниках самообладание, спокойствие и благопристойность, как азартная игра в открытых игорных залах.

Но какой бы привлекательной и даже благотворной ни казалась мне игра, я все же нашел возможность поразмыслить также и над ее теневыми сторонами, точнее, испытать их на собственном опыте. Горячо и с морализующим пафосом выдвигаемые политэкономами возражения против рулетки, с моей точки зрения, сплошь несостоятельны. Что игроку грозит опасность слишком легко разбогатеть и потому утратить всякое уважение к святости труда, что, с другой стороны, ему грозит потеря всех собственных денег и, в-третьих, что, долго наблюдая круговращение шариков и талеров, он может даже лишиться основы основ всей экономической буржуазной морали — безграничного почтения к деньгам, — пусть это и справедливо, но я не

могу признать все эти опасности такими уж серьезными. Мне как психологу представляется, что для очень многих тяжело душевно больных людей быстрая потеря всего состояния и крушение их веры в святость денег означало бы отнюдь не несчастье, а вернейшее, даже единственно возможное спасение, и совершенно так же мне представляется, что при теперешней нашей жизни, в противовес исключительному культу работы и денег, было бы весьма желательно приятие случая, доверие к прихотям судьбы и ее превратностям, чего всем нам очень недостает.

Нет, если что является, по-моему, недостатком азартной игры и, несмотря на ее положительные стороны, все же превращает ее в конечном счете в порок, это нечто чисто духовное. По моему личному, весьма приятному опыту, ежедневное двадцатиминутное погружение в азарт рулетки и нереальную атмосферу игорного зала всегда радостно возбуждает. Для скучающей, оскудевшей, усталой души это истинный бальзам, лучший из всех, мною испробованных. Недостаток лишь в том (и этот недостаток азартная игра разделяет с тоже весьма приятным алкоголем) — недостаток в том, что при игре это возбуждение идет извне и оно чисто механическое и материальное; вот

тут-то и возникает большая опасность: положившись на такое безотказное механическое возбуждение, начнешь пренебрегать, а затем и вовсе забросишь собственную тренировку и душевную активность. Приводить душу в движение не размышлением, не мечтами, не фантазированием или медитацией, а чисто механически — рулеткой — все равно что для тела пользоваться ванной и услугами массажиста, но отказаться от собственных усилий, от спорта и тренировки. На том же обмане основывается и возбуждающий механизм кинематографа, подменяющий собственную творческую работу глаза, открытие, выбор и запоминание прекрасного и интересного, чисто материальным зрительным кормом.

Нет, так же как помимо массажиста ты нуждаешься в гимнастике, так и душа, вместо или наряду с рулеткой и всеми этими прекрасными возбудителями, нуждается в собственных усилиях. Поэтому во сто крат предпочтительнее азартной игре любая активная тренировка души: дисциплинированное, четкое упражнение ума и памяти, упражнение по воспроизведению с закрытыми глазами виденных предметов, вечернее припоминание всего случившегося за день, свободное ассоциирование и фантазирование. Я

это добавляю также для ревнителей народного благополучия и, возможно, во исправление данного выше дилетантского совета — ибо в данной области, в области чисто душевного опыта и воспитания, я отнюдь не дилетант, а старый, чуть ли не слишком опытный профессионал.

Вот я и опять далеко отклонился от темы, но таков уж, видно, удел этих заметок, что, неспособные довести до разрешения ни одной проблемы, они скорее ассоциативно и случайно нанизывают приходящие в голову мысли. Но, быть может, думается мне, это как раз и присуще психологии курортника.

Я отвлекся от своей темы, своей весьма неутешительной темы, ради небольшого панегирика азартным играм, каковой панегирик я склонен был бы еще продолжить, ибо возвращение к теме дается мне нелегко. Но ничего не поделаешь. Вернемся же к курортнику Гессе, взглянем еще раз на этого расслабшего пожилого господина, на его поникшую, усталую фигуру, ковыляющую походку! Он нам не нравится, этот субъект, мы не можем его полюбить, не можем искренне, от всего сердца, пожелать ему долгого, а тем более бесконечного продления его и необразцовой и неинтересной жизни. Мы не будем возражать,

если этот господин однажды сойдет со сцены, где давно не представляет отрадного зрелища. Если он, например, однажды утром ненароком уснет в ванне, нырнет под воду и захлебнется, мы не станем особенно по этому поводу горевать.

Однако если мы с таким безразличием высказываемся о вышеупомянутом курортнике, то относится это исключительно к его нынешней жизнедеятельности, его сегодняшнему агрегатному состоянию. Нам нельзя упускать из виду никогда не исчезающую возможность того, что состояние его изменится, что существо его будет приведено к новому знаменателю. Такое чудо, не раз уже пережитое, может произойти ежечасно. Когда мы, покачивая головой, глядим на курортника Гессе и считаем его созревшим для исчезновения, то не следует забывать, что исчезновение, в какое мы можем верить, подразумевает не уничтожение, а лишь метаморфозу, ибо основой и питательной почвой всех наших взглядов, а следовательно, и нашей психологии является вера в бога — в единство, а единство, как путем озарения, так и познания, даже в самых безнадежных случаях всегда может быть восстановлено. Нет такого больного, который одним-единственным шагом, пусть даже шагнув

через смерть, не мог бы обрести исцеления и вернуться к жизни. Нет такого грешника, который одним-единственным шагом, возможно даже через казнь, не мог бы очиститься и обрести божественность. И нет такого хмурого, сбившегося с пути и, казалось бы, пропащего человека, которого внезапное озарение не могло бы в один миг обновить и превратить в счастливое дитя. Эту мою веру, это мое убеждение, не следует никогда забывать ни пишущему, ни читающему эти строки. И автор этих строк действительно не знал, откуда бы ему черпать мужество, право, решимость для своих порицаний и настроений, пессимизмов и психологий, если бы всему этому в душе его постоянно не противостояла вера в единство, как в некое нерушимое равновесие. Напротив, чем больше я себе позволяю и дальше захожу по одну сторону, чем беспощаднее порицаю, чем легче поддаюсь настроениям, тем ярче сияет по другую, противоположную сторону свет примирения. Не будь этого бесконечного, постоянно колеблющегося равновесия, откуда взял бы я мужество сказать хоть слово, судить о чем-либо, чувствовать и выражать любовь и ненависть и хотя бы час прожить на земле?

Выздоровление

Курс лечения приходит к концу. И, слава богу, мне лучше, мне уже совсем хорошо. Целую неделю я погибал, пал духом, погрузился с головой в свою болезнь, свою усталость, свою хандру и самому себе вконец опротивел. Еще немного, и я попросил бы приделать к трости резиновый наконечник. Еще немного, и я стал бы читать список приезжих. Еще немного, и я слушал бы легкую музыку не четверть и не полчаса, а вкушал весь часовой или даже двухчасовой концерт полностью, и вечером вместо одной бутылки пива — выпивал две. Еще немного, и я спустил бы в курзале все наличные деньги. К тому же я поддался обаянию своих соседей по столу в гостинице, милых, приятных людей, достойных всякого уважения, от которых я мог бы многое узнать, если б не совершил обычной ошибки, не попытался этого достичь путем разговоров. А разговоры с людьми, если у тебя нет с ними глубокой внутренней близости, за редким исключением, всегда крайне бессодержательны и только разочаровывают. Вдобавок незнакомые люди, вступая со мной в разговор, к сожалению, всегда

видят во мне писателя и считают себя почему-то обязанными заводить со мной речь о литературе и искусстве и, разумеется, несут всякую чепуху, так что очаровательнейших людей узнаешь как раз с той стороны, с какой они ничем не отличаются от самых дюжинных.

Потом еще боли и дурная погода, из-за которой я ежедневно заново простужался (теперь мне понятно, откуда у голландца его вечные простуды), и страшная усталость от процедур — словом, ряд денечков, которыми мне гордиться нечего. Но, как ото бывает, однажды им все-таки пришел конец. Наступил день, когда мне все настолько опостылело, что я вообще остался лежать в постели и даже не пошел принимать каждодневную ванну. Я забастовал, попросту остался лежать в постели, правда, всего на один день, а на следующий мне уже стало лучше. День, когда наступил перелом, мне очень памятен, потому что перелом и перестройка произошли очень уж внезапно и неожиданно. Человек, если только захочет, может выйти из любого, даже самого мерзкого положения, так вот и я, даже в самые безотрадные и гнетущие дня лечения, хоть и впал в хандру, никогда не сомневался в том, что выкарабкаюсь и из этого болота. Выкарабкивание, медленное,

трудное преодоление внешнего мира, медленные поиски и нахождение разумнейшей позиции — это был, как я хорошо знал, всегда открытый, весьма проторенный, весьма рекомендуемый путь разума. Но по прежнему опыту мне был известен также другой путь, тот, которого нельзя искать, а можно только найти, путь счастья, благодати, чуда. Но что чудо так от меня близко, что я выйду из унизительного состояния последних жутких дней не запарившийся и пыльный по проселку разума, сознательной тренировки, а окрыленный, по устланному цветами пути благодати — о такой удаче я даже не смел и мечтать.

В день, когда я очнулся от оцепенения и решил продолжать лечиться и жить, я, правда, чувствовал себя несколько отдохнувшим, но настроение у меня было не из лучших. Ноги болели, спину ломило, шея одеревенела, мне было трудно встать с постели, трудно тащиться к лифту и к ванной кабине, трудно возвращаться обратно. Но вот наконец наступил полдень, и я, не в духе, безо всякого аппетита, поплелся в столовую; и тут я вдруг увидел себя со стороны, сделался вдруг не только курортником, на негнущихся ногах и с недовольным видом спускавшимся по гостиничной лестнице, а одновременно как бы сторонним

наблюдателем самого себя. Произошло это внезапно на одной из многих ступенек, я внезапно расщепился надвое, наблюдая за собой, видел, как этот ничуть не проголодавшийся курортник плетется вниз по лестнице, видел, как он беспомощно опирается рукой о лестничные перила, видел, как он проходит мимо приветствующего его метрдотеля в ресторан. Мне уже часто приходилось переживать подобное состояние, и я сразу воспринял как добрый знак то, что оно вдруг опять возникло в такую бесплодную и неблагоприятную для меня пору.

Я уселся в высоком светлом зале за свой отдельный круглый столик и в то же время наблюдал со стороны, как я сажусь, как поправляю под собой стул и чуть закусываю губу, потому что движение причинило мне боль; как потом машинально беру в руку вазу с цветами и переставляю к себе поближе, как медленно и нерешительно вытягиваю салфетку из кольца. Один за другим входили другие постояльцы, рассаживались за свои столики, будто гномы в «Белоснежке», и выдергивали салфетки из колец. Однако курортник Гессе был главным объектом моего наблюдающего «я». Курортник Гессе с невозмутимым, но глубоко скучающим лицом налил в стакан

немного воды, отломил кусочек хлеба всё одного времяпрепровождения ради, — потому что вовсе не собирался ни пить воду, ни есть хлеб; он рассеянно вычерпал ложкой суп, обвел тупым взглядом другие столики в большом зале, обвел взглядом расписанные ландшафтами стены, поглядел на метрдотеля, как тот проворно снует по залу, и на хорошеньких официанток в черных платьицах с белыми фартучками. Некоторые постояльцы сидели компанией или парами за столами больших размеров, но в массе своей, подобно вышеназванному, сидели в одиночку перед единственным прибором, с невозмутимыми, но глубоко скучающими лицами, не спеша наливали себе в стаканы воду или вино, отщипывали хлеб, обводили тупым взглядом другие столики, обводили взглядом расписанные ландшафтами стены, глядели вслед спешащему метрдотелю и хорошеньким официанткам в черных платьицах и белых фартучках. На стенах дружелюбно, бесхитростно и чуть сконфуженно дожидались красивые ландшафты, а с потолка — фантазия давно забытого художника-декоратора, — дружелюбно и не конфузясь, глядели четыре раскрашенных головы слонов, в прошедшие дни доставлявшие мне много радости, ибо

я друг и поклонник индусских богов и видел в каждом из этих изображений мудрого и лукавого бога Ганеша[20] со слоновьей головой, которого весьма почитаю. И часто, глядя со своего столика вверх на слонов, я размышлял над тем, отчего мне в детстве внушали, будто преимущество христианства прежде всего состоит в том, что оно не признает никаких богов и идолов, тогда как я, чем старше и мудрее становлюсь, вижу главный недостаток этой религии как раз в том, что, за исключением чудесной католической девы Марии, она, по существу, не имеет никаких богов и божественных изображений. Я бы многое дал, чтобы, например, апостолы, вместо скучноватых и внушающих страх проповедников, были богами, наделенными той или иной могущественной силой и атрибутами природы, и вижу, хоть и слабое, но все же приятное возмещение тому в животных наших евангелистов.[21]

А тот, кто наблюдал за мной и другими, за всем происходящим, за скучливо жующим Гессе,

---

[20] Примечания: 20

Ганеш — древнеиндийский бог мудрости.

[21] Примечания: 21

Средневековая символика связывает четырех евангелистов с образами, выступающими их символами и постоянными атрибутами: ангел (человек) — символ Матфея, бык — Луки, лев — Марка, а орел — Иоанна.

скучливо жующими постояльцами гостиницы, был не курортник и ишиатик Гессе, а старый довольно-таки неприязненно относящийся к обществу отшельник и чудак Гессе, старый любитель странствий и поэт, друг бабочек и ящериц, древних книг и религий, тот Гессе, который решительно и твердо противопоставлял себя миру и которому мучительно было идти к властям за удостоверением о гражданстве или даже просто заполнить листок переписи. Этот старый Гессе, это в последнее время несколько отдалившееся и утраченное «я», вдруг снова пожаловал и наблюдал за нами. Он видел, как курортник Гессе безо всякого аппетита, нехотя ковыряя вилкой, разделывал прекрасную рыбу и, не испытывая голода, тем не менее кусок за куском отправлял в недовольно кривившийся рот; он видел, как тот безо всякой необходимости и безо всякого смысла передвигал с места на место стакан и солонку и то вытягивал, то подбирал ноги под стул; как другие постояльцы поступали совершенно так же, как метрдотель и хорошенькие девушки-официантки внимательно и заботливо обслуживали и кормили этих скучающих людей, хотя никто из них не был голоден, и как снаружи, за торжественно-высокими сводчатыми окнами зала в

другом мире, по небу проплывали облака. Все это тайный наблюдатель видел, и внезапно зрелище это показалось ему ужасно странным, нелепым и комическим или даже жутковатым, какой-то пугающий, застывший кабинет восковых фигур нереально существующих людей, — этот скучный, без аппетита обедающий Гессе, эти скучные его сотрапезники. До чего же смехотворным, до чего же дурацким был этот исполненный бессмысленной торжественности спектакль, вся эта уйма пищи, фарфора и хрусталя, вина, хлеба, прислуги — и все для горстки давно сытых курортников, чью скуку и хандру не могли исцелить ни еда, ни питье, ни вид плывущих в вышине облаков.

Но только курортник Гессе поднял стакан, просто так, со скуки, поднес ко рту и даже как следует не отхлебнул, добавив ко всем нерешительным и машинальным призрачным жестам трапезы еще один, как произошло слияние обоих «я», обедающего и наблюдающего, и мне пришлось поспешно поставить стакан, такое меня разобрало изнутри внезапное желание расхохотаться, чисто детская веселость, внезапное понимание безмерного идиотизма всего происходящего. На какой-то миг мне представилось, что в этом зале,

полном больных, скучающих, изнеженных и вялых людей (причем, по моему предположению, в их душах творилось то же, что и в моей), как в зеркало, отражена вся наша цивилизованная жизнь, жизнь без сильных побуждений, принудительно катящаяся по установленным рельсам, безрадостная, лишенная всякой связи с богом и с облаками на небе. Я подумал о сотнях тысяч кафе с закапанными мраморными столиками и сладкой, переперченной, будящей похоть музыкой, о гостиницах и конторах, обо всей архитектуре, музыке, привычках, в которых живет нынешнее человечество, и все показалось мне сходным по значению и ценности с ленивым ковырянием праздной моей руки рыбной вилкой, с неудовлетворенным, пустым блужданием моего равнодушного взгляда по залу. Но всё вместе, столовая и наш мир, курортники и человечество, показалось мне на какой-то миг отнюдь не ужасным и трагическим, а всего лишь невероятно смешным. Достаточно лишь засмеяться — и чары рассеются, вся хитрая механика рассыплется, и бог, и птицы, и облака поплывут сквозь скучный наш зал, а мы из угрюмых постояльцев за курортным столом, обратимся в веселых постояльцев господа за красочным столом вселенной.

Поспешно поставил я, как уже говорилось, в эту секунду стакан, такой меня разбирал и тряс изнутри смех. Мне стоило большого труда этот смех обуздать, не дать ему вырваться. Ах, как часто случалось с нами в детстве, сидишь где-нибудь за столом, где-нибудь в классе или в церкви и по самый нос и глаза заряжен сильнейшим, законнейшим желанием рассмеяться, а смеяться нельзя, и ты как-то должен со смехом справиться, из-за учителя, из-за родителей, из-за порядка и правил. Неохотно верили и повиновались мы этим учителям, этим родителям, и нас очень удивляло и продолжает удивлять, что для подкрепления своих порядков, вероучений и нравоучений они в качестве авторитета ссылались на того самого Иисуса, который как раз детей-то и назвал безгрешными. Неужели же он имел в виду только примерных детей?

Но и на сей раз мне удается с собой справиться. Я сижу тихо, и ощущаю только, как мне распирает горло и щекочет в носу, и страстно ищу какую-нибудь отдушину или выход, дозволенный и приемлемый выход тому, что меня душит. Может, легонько ущипнуть за ногу метрдотеля, когда он опять пройдет мимо меня, или обрызгать водой из стакана официанток? Нет, нельзя,

все под запретом, та же история, что и тридцать лет назад.

Пока я так размышлял и смех подбирался мне к самой гортани, глаза мои были устремлены прямо перед собой на соседний столик и в лицо незнакомой женщины, седовласой, болезненного вида дамы; рядом с ней к стенке была прислонена палка, а она развлекалась тем, что крутила кольцо от салфетки, так как ждали следующего блюда и каждый прибегал к привычному средству, чтобы заполнить паузу. Один увлеченно читал старую газету; видно было, что он давно изучил ее от корки до корки и тем не менее он со скуки в который раз проглатывал сообщение о болезни господина президента и отчет о деятельности ученой комиссии в Канаде. Сидящая неподалеку старая дева размешивала два порошочка в стакане — лекарство, чтобы принять его сразу же после еды. Она немного напоминала одну из тех устрашающих пожилых дам в сказках, которые намешивают волшебное зелье во вред другим, более привлекательным особам. Элегантный и утомленный с виду господин, будто сошедший со страниц романа Тургенева или Томаса Манна, с грустным изяществом рассматривал один из стенных ландшафтов. Всех более мне еще по-

нравилась, пожалуй, наша великанша: держась безукоризненно прямо и в хорошем настроении, как почти всегда, она сидела перед пустой тарелкой и не выглядела ни злой, ни скучающей. Зато строгий добродетельный господин с морщинами и крепкой шеей восседал на стуле, словно целый суд присяжных, и строил такое лицо, будто только что приговорил к смертной казни собственного сына, тогда как всего-навсего съел перед тем полную тарелку спаржи. Господин Кессельринг, наш розовый паж, и сегодня выглядел все таким же возвышенным и розовым, хоть и несколько постаревшим и подзапылившимся; видимо, ему сегодня нездоровилось, и ямочка на его младенческой щеке казалась сейчас столь же невероятной и неуместной, как и пачка пикантных открыток в его нагрудном кармане. Как все это было странно и нелепо! Почему мы все бездеятельно тут сидим, ждем и склабимся? Почему едим и ждем следующего блюда, когда давно сыты? Почему Кессельринг приглаживает свою поэтическую шевелюру крохотной карманной щеточкой, почему носит те идиотские открытки в кармане и почему карман этот подбит шелком? Все было так необъяснимо и неправдоподобно. И все чудовищно смешно.

Итак, я уставился в лицо старой дамы. И тут она вдруг отложила кольцо от салфетки и посмотрела на меня, и пока мы друг на друга пялились, смех добрался до моего лица, и я ничего не мог поделать, я дружелюбнейше ухмыльнулся даме всем скопившимся во мне смехом, и он растянул мне губы и брызнул из глаз. Что она обо мне подумала — не знаю, но реагировала она превосходно. Сперва она быстро опустила веки и поспешно опять взяла в руку свою игрушку, но лицо ее утратило спокойствие, и под моим любопытным взглядом оно все больше и больше дергалось и кривилось самыми причудливыми гримасами. Она смеялась! Гримасничая и давясь, она боролась с приступом смеха, которым я ее заразил! И так мы сидели оба, в представлении других постояльцев почтенные пожилые люди, сидели, будто два школьника за партами, глядели прямо перед собой, косились друг на друга, и лица у нас дергались и морщились от мучительного усилия совладать со смехом. Двое-трое из обедающих это заметили и тоже стали весело и несколько насмешливо улыбаться; и тут, словно разбили оконное стекло и к нам влилось бело-голубое небо, по всему залу на несколько минут распространилось радостно-насмешливое настроение,

эдакая ухмылка, словно каждый вдруг тоже заметил, до чего тупоумно и идиотски мы сидим в своей курортной важности и хмурой скуке.

С этой минуты мне снова стало хорошо, я уже не просто курортник, специализировавшийся на своей болезни и лечении, а болезнь и лечение вновь стали чем-то второстепенным. Больно мне по-прежнему, тут никуда не денешься. Ну и бог с ним, что больно; я предоставляю болезнь самой себе, не для того же я существую, чтобы весь день с ней нянчиться.

После обеда со мной заговорил один из наших постояльцев, весьма мне несимпатичный господин с обилием мнений, который уже неоднократно предлагал мне газеты и навязывался с разговорами; еще недавно в длиннейшей и скучнейшей беседе о школьном образовании и воспитании я безоговорочно и малодушно вторил всем его испытанным принципам и мнениям. И вот он опять ко мне направлялся, этот тип, из обычной своей засады в коридоре и заступил мне дорогу.

— Добрый день, — сказал он. — Вы сегодня, кажется, чем-то очень довольны!

— Конечно, доволен. За обедом я видел, как плыли по небу облака, а поскольку до сих пор я

предполагал, что облака эти из бумаги и входят в архитектурное украшение зала, то очень обрадовался, обнаружив, что это самый настоящий реальный воздух и облака. Они у меня на глазах унеслись и не были занумерованы, и ни на одном не висел ярлык с продажной ценой. Действительность еще существует, и это в Бадене! Великолепно!

О, с каким злым лицом выслушал этот господин мои слова!

— Так, так, — произнес он врастяжку, на что ему потребовалась почти целая минута. — Значит, вы считали, что действительности больше не существует! Тогда разрешите спросить, что же вы подразумеваете под действительностью?

— О, философски, — сказал я, — это сложный вопрос. Но практически я могу ответить на него очень просто. Под действительностью, сударь, я понимаю примерно то же самое, что обычно также называют «природой». Во всяком случае, я понимаю под действительностью не то, что нас постоянно окружает здесь в Бадене, не курортные сплетни и истории болезней, не ревматические романы и подагрические драмы, не променады и концерты, меню и программы, не банщиков и курортников.

— Как, стало быть, и курортники не являются для вас действительностью? Например, я, человек, который сейчас с вами разговаривает, не действительность?!

— Весьма сожалею, я, конечно, отнюдь не желаю вас обидеть, но вы в самом деле лишены для меня действительности. Вы лишены, как мне представляется, тех убедительных черт, которые обращают для нас воспринятое в пережитое, происходящее в действительное. Вы существуете, сударь, этого я отрицать не стану. Но существуете в плоскости, которой в моих глазах недостает временно-пространственной действительности. Вы существуете, сказал бы я, в бумажной плоскости, плоскости денег и кредита, морали, закона, духа, почтенности, вы сотоварищ по времени и пространству добродетели, категорическому императиву и разуму и, может быть, даже сродни вещи в себе или капитализму. Но в вас нет той действительности, в какой меня сразу убеждает любой камень или дерево, любая жаба, любая птица. Я могу вас, сударь, беспредельно одобрять, уважать, могу соглашаться с вами или отвергать, но мне невозможно вас почувствовать и уж совершенно невозможно вас любить. Вы разделяете тут судьбу ваших родственников и уважаемых

близких — добродетели, разума, категорического императива и прочих идеалов человечества. Вы замечательны. Мы вами гордимся. Но вы не действительны.

У господина глаза полезли на лоб.

— Ну а если вы сейчас ненароком ощутите на своем лице мою ладонь, вы тогда убедитесь в моей действительности?

— Если вы решитесь на такой эксперимент, то, во-первых, вам же будет хуже, потому что я сильнее вас и в данную минуту удивительно свободен от всяких моральных тормозов; а кроме того, вы своим столь любезно предложенным доказательством никак не достигнете цели. Я хоть и ответил бы на ваш эксперимент всем данным мне прекрасно слаженным аппаратом самосохранения, но нападение ваше отнюдь не убедило бы меня в вашей действительности, в существовании у вас личности и души. Когда я рукой или ногой заполняю пространство между двумя электрическими полюсами, то также подвергаю себя разряду, однако же мне не придет в голову принимать электрический ток за личность, за существо того же порядка, что и я.

— Вы артистическая натура, что ж, таким многое дозволено. По-видимому, дух и абстрактное

мышление вам ненавистны, и вы с ними воюете. Пожалуйста, сделайте одолжение. Но как это согласуется у вас, писателя, со многими другими вашими высказываниями? Мне известны заявления, статьи, книги, в которых вы проповедуете как раз обратное и объявляете себя сторонником разума и духа, а не лишенной разума и случайной природы, где вы выступаете в защиту идей и признаете духовное высшим началом. Как же это так получается, а?

— Разве? Я так поступаю? Что ж, весьма возможно. Беда моя, видите ли, в том, что я постоянно сам себе противоречу. Действительность всегда так поступает, а вот дух — нет, и добродетель — нет, и вы тоже, весьма малоуважаемый сударь. Например, после прогулки быстрым шагом по жаре я могу быть одержим мыслью о кружке воды и объявить воду величайшим благом на свете. А четверть часа спустя, утолив жажду, потерять всякий интерес к воде и питью. Так же обстоит и с едой, со сном, с мышлением. Мое отношение к так называемому «духу», например, совершенно сходно с моим отношением к еде и к питью. Временами нет ничего на свете, что меня бы так привлекало и казалось необходимым, как дух, как возможность абстракции, логика, идея.

А потом, когда я ими насытился и нуждаюсь, жажду противоположного, меня от всякого духа мутит, будто от испорченной пищи. Я знаю по опыту, что подобное поведение якобы говорит о бесхарактерности и считается сумасбродным, более того, непозволительным, но я так никогда и не мог понять отчего? Потому что совершенно так же, как я постоянно вынужден сменять еду и пост, сон и бодрствование, совершенно так же вынужден я постоянно раскачиваться туда и сюда между природным и духовным, между опытом и платонизмом, между порядком и революцией, католицизмом и духом реформации. Чтобы человек всю свою жизнь всегда и неизменно мог почитать дух и презирать природу, неизменно мог быть революционером и никогда консерватором или же наоборот, представляется мне хоть и весьма добродетельным, хоть и признаком характера и стойкости, но столь же ужасным, отвратительным и безумным, как если бы человек всегда только хотел есть или всегда только хотел спать. И, однако же, все объединения, политические и духовные, религиозные и научные, основываются на предположении, будто такое безумное поведение возможно, будто оно естественно! Вот и вы, сударь, считаете неправильным, что в

одно время я страстно влюблен в дух и считаю его всесильным, а в другое — дух ненавижу и его изрыгаю, и вместо него обращаюсь к безвинности и изобилию природы! Почему же? Почему вы считаете природное отсутствием характера, здоровое и естественное — непозволительным? Если вы сумеете мне это объяснить, я охотно и устно и письменно засвидетельствую, что разбит по всем пунктам. Тогда я признаю за вами столько реальности, сколько в моих силах, окружу вас целым ореолом действительности. Но, видите, вы ведь не можете мне этого объяснить! Вы стоите тут, и под вашим жилетом хоть, без сомнения, имеется обед из пяти блюд, но нет сердца, и в вашем искусно подделанном черепе хоть и есть дух, но нет природы. Эх вы, ревматик, курортник, никогда не видал я ничего более смехотворно-нереального, чем вы! Да у вас, милейший, бумага просвечивает сквозь петлицы, из всех швов сочится дух, внутри ничего, кроме газеты и налоговой квитанции, Канта, Платона да процентной таблицы! Стоит мне дунуть, и вы исчезнете! Стоит мне подумать о моей возлюбленной или даже самой простенькой желтой примуле, и этого достаточно, чтобы вовсе вытеснить вас из реальности! Вы не вещь, вы не человек, вы — идея, скучная абстракция!

И в самом деле, когда я, несколько разгорячившись, но в прекрасном настроении, выбросил вперед кулак, чтобы доказать схеме ее нереальность, кулак прошел через него насквозь, и он исчез. Только тут, остановившись, я заметил, что вышел из дому без шляпы и оказался на пустынном берегу реки; я стоял один под прекрасными деревьями, а вода неслась и шумела. И вновь я был страстно предан противоположности духа, был глубоко и без памяти влюблен в глупый, беспорядочный мир случая, в игру света и тени на розоватом песке, в бесконечные мелодии бегущей воды. Ах, то были знакомые мелодии! Мне припомнилась река,[22] на берегу которой я однажды сидел в Индии, возле товарища моего, старика перевозчика, имя его не приходит мне на память, тысячу лет назад, упоенный мыслью о единстве и не менее упоенный игрой многообразия и случая. Я подумал о своей возлюбленной, об ушке, мило выглядывающем из-под пряди ее волос, и от всего сердца был готов отречься

[22] Примечания: 22

Гессе намекает на реалии своей индийской повести «Сиддхарта», где герой к концу рассказа становится помощником перевозчика Васудевы. В постоянном общении с рекой, символизирующей мировое Единство, на Сиддхарту находит озарение, заключающееся в интенсивном ощущении собственной жизни частичкой непрерывного потока становления мира.

и разрушить все алтари, воздвигнутые мною когда-либо разуму и идее, и построить новый алтарь во славу этой наполовину видимой таинственной ушной раковины. Тому, что мир есть единство и тем не менее исполнен многообразия, что красота возможна лишь в преходящем, что благодать дано испытывать лишь грешнику — этому и сотням других глубочайших и вечных истин могло бы служить символом и священным свидетельством, наравне с Изидой,[23] Вишну, цветком лотоса, и это прелестное ушко.

Как шумел подо мной в каменистом ложе поток, как пело полуденное солнце, пробегая вверх и вниз по пятнистым стволам платанов! Как хорошо жить! Прошло и забыто напавшее на меня в столовой безумное желание смеяться, в глазах у меня стояли слезы, вещим напоминанием звучал для меня шум священной реки, и сердце мое было исполнено мира и благодарности. Лишь теперь, после долгой прогулки под платанами, мне открылась вся бездна ипохондрии и путаницы, страданий и глупости, в которой я жил все последнее время! Господи, какое жалкое зрелище я

[23] Примечания: 23

Изида — одна из наиболее почитаемых богинь Древнего Египта, ей поклонялись как божеству плодородия и материнства, Вишну — божество индуистского пантеона, олицетворяющее вечно живую природу.

собой представлял, как мало требовалось, чтобы превратиться в омерзительного, малодушного труса! Небольшое недомогание и боли, две-три недели курортной жизни, период бессонницы, и вот уже я по горло увяз в хандре и отчаянии. И это я, слышавший голоса индусских богов! Как хорошо, что злые чары наконец рухнули, что меня опять окружает воздух, солнечный свет и действительность, что я опять слышу божественные голоса, опять чувствую в сердце любовь и благоговение!

Внимательно перебрал я в памяти эти унизительные дни, расстраиваясь и дивясь, печалясь, но и посмеиваясь над всей той чепухой, что меня опутала. Нет, теперь мне незачем больше ходить в курзал и даже в столь исполненный достоинства игорный зал; теперь я не затруднял себя вопросом, куда употребить свое время. Чары рассеялись.

И когда я сейчас, всего за несколько дней до конца лечения, задумываюсь над тем, как же это могло случиться, когда ищу причину своего падения и всех постыдных своих переживаний, мне достаточно прочесть любую страницу этих записок, чтобы ясно увидеть причину. Не мои фантазерство и мечтательность, не мой недоста-

ток морали и буржуазности были в том повинны, а как раз напротив. Я именно был чересчур морален, чересчур разумен, чересчур буржуазен! Старая вечная моя ошибка, которую я сотни раз совершал и всегда горько в ней раскаивался, приключилась со мной и на сей раз. Я хотел подладиться под норму, хотел выполнить требования, которые никто мне не ставил, хотел быть или представиться тем, кем вовсе не был. Вот и получилось снова, что я совершил насилие над собой и над жизнью.

Хотел быть тем, чем не был. Каким образом? Я сделал из своего ишиаса специальность, играл роль ишиатика, курортника, подлаживающегося под буржуазное окружение постояльца гостиницы, вместо того чтобы просто оставаться самим собой. Я придал чрезмерное значение Бадену, лечению, окружающей меня среде, болям в суставах; я вбил себе в голову претерпеть этот курс лечения и непременно выздороветь. Путем покаяния, епитимьи, ханжества, посредством ванн и омовений, врача и браминских чар я хотел достичь того, что может быть достигнуто лишь путем озарения.

Вечно со мной та же история. И эта знаменитая ванная психология, которую я себе придумал,

лежа в теплой воде, — тоже такой фокус, попытка мысленно овладеть жизнью; она неизбежно должна была кончиться провалом и за себя отомстить. Никакой я не представитель некоей особой философии ишиатиков, как одно время воображал, да такой философии и не существует вовсе. И нет также мудрости пятидесятилетних, о которой я фантазировал в предисловии. Возможно, мое нынешнее мышление несколько отличается от свойственного мне лет двадцать назад, но чувства и сущность, желания и надежды не изменились, не стали ни умнее, ни глупее. Сейчас, как и тогда, я могу быть то ребенком, то стариком, то двухлетним, то тысячелетним. И мои попытки подладиться к нормированному миру, изображать пятидесятилетнего ишиатика остались столь же бесплодны, как и моя попытка примириться с ишиасом и Баденом посредством моей психологии.

Есть два пути ко спасению: путь праведности для праведников и путь благодати для грешников. А я, грешник, опять совершил ошибку, попытавшись достичь чего-то праведностью. Никогда у меня ничего с ней не получится. Бальзам для праведников, для нас, грешников, праведность — яд, она нас озлобляет. Видно, мне

суждено опять предпринимать такие попытки, делать такие промахи, так же как в духовной области мне, писателю, суждено всякий раз наново пытаться овладеть миром не силой искусства, а мыслью. Опять и опять отправляюсь я в эти дальние и трудные одинокие путешествия, настойчиво пытаюсь чего-то достичь разумом, и всегда это кончается болью и потерянностью. Но всегда за этой смертью вновь рождаешься на свет, всегда на меня нисходит озарение, и боль и потерянность уже переносимы, блуждания были не напрасны, поражения были драгоценны, ибо они отбросили меня на лоно матери, вновь дали мне возможность испытать озарение.

Итак, я прекращаю читать себе мораль, не стану хулить свои умозрительные и психологические попытки, свои попытки вылечиться, поражение и подавленность, не стану ни о чем жалеть и не стану больше обвинять себя. Все было к лучшему. Я вновь слышу голос божий, все хорошо.

Когда я сейчас оглядываю свой 65-й номер, со мной творится что-то странное; при мысли о близком расставании я испытываю к этой комнате какую-то нежность, и расставанье заранее причиняет мне боль. Как часто я здесь, за этим самым столиком, исписывал страницу за стра-

ницей, иногда с радостью и сознанием того, что я делаю нечто ценное, иногда, впав в уныние и неверие и все же полностью отдаваясь работе, пытаясь понять и объяснить или хотя бы чистосердечно исповедаться! Как часто я в этом кресле читал Жан-Поля! Сколько часов и ночей провел без сна на этой кровати в алькове, погруженный в себя, споря с собой, оправдываясь, воспринимая себя и свои страдания как притчу, как ребус, смысл и разгадка которых мне когда-нибудь непременно откроются! Сколько писем я здесь получил и написал, писем от незнакомых и к незнакомым, которым мое отраженное в книгах «я» показалось родственным, которые в вопросах и утверждениях, обвинениях и исповедях человеку, показавшемуся им родственным, искали того же, что и сам я ищу в своих признаниях и творчестве: ясности, утешения, оправдания и новой радости, новой чистоты, новой любви к жизни! Сколько мыслей, сколько настроений, сколько грез посетили меня в этой комнате! Здесь, пересиливая хмурую утреннюю разбитость, я заставлял себя встать, чтобы принять ванну, и в ноющих, негнущихся суставах заранее предчувствовал смерть, различал пугающие знаки бренности; здесь я во многие хорошие вечера фантазиро-

вал или сражался с голландцем. Здесь, в тот счастливый день, прочел своей возлюбленной предисловие к «Психологии» и видел, как ее обрадовала маленькая почесть, оказанная Жан-Полю, которого и она очень любит. И ведь в конце-то концов время, проведенное в Бадене, это лечение, этот кризис, потеря и обретение внутреннего равновесия были для меня важным этапом.

И как жаль, что я не сумел полюбить эту гостиничную комнату и к ней привязаться еще три или четыре недели назад! Но тут ничего уже не поделаешь. Хорошо, что я хотя бы сейчас оказался способен принять и полюбить эту комнату и гостиницу, голландца и лечение и сроднился с ними. Теперь, когда срок моего пребывания в Бадене подходит к концу, я вижу, что здесь, в Бадене, совсем неплохо. Мне кажется, я мог бы месяцами здесь жить. Да мне, собственно, и следовало бы — хотя бы чтобы загладить многое из того, что я здесь нагрешил против себя, против разума, против курортной жизни, против своих соседей по комнате и по столовой. Разве в некоторые особенно пессимистические дни я не сомневался даже в докторе, в искренности его заверений, в цене надежд, которые он мне подавал? Нет, многое следовало бы тут загладить.

И что, например, давало мне право возмущаться тайной картинной галереей господина Кессельринга? Что я за моралист такой? Словно у меня самого нет собственных причуд, которые тоже не всякий одобрит? И почему я усмотрел в том добродетельном господине с морщинами непременно буржуа, эгоиста и самонадеянного судью над другими? Я совершенно так же мог бы сделать из него римлянина, стилизованного под монумент трагического героя, гибнущего от собственной твердости, страдающего от собственной справедливости. И так далее; надо бы загладить сотни упущений, покаяться в сотнях грехов, d сотнях жестокостей — если б я только что не покинул этот путь и не предоставил все озарению. Так что пусть грехи так и остаются грехами, и будем рады, если нам посчастливится в ближайшее время не нагромоздить новых!

Склоняясь еще раз над бездной прошедших недобрых дней, я вижу в глубине, совсем далеким и крохотным, призрачное видение: курортник Гессе, бледный и скучный, с брезгливой миной сидит за трапезой, бедняга, лишенный юмора и фантазии, серый от недосыпания, равнодушный, больной человек, который не только не держит в узде свой ишиас, а сам им одержим. Содрога-

ясь, я отворачиваюсь, довольный, что бедняга этот наконец умер и никогда уже мне больше не встретится. Мир праху его!

Если воспринимать евангельские речения не как заповеди, а как выражения необычайно глубокого знания тайн человеческой души, то мудрейшее из всего когда-либо сказанного, суть всей жизненной мудрости и учения о счастье, заключена в словах: «Люби ближнего твоего, как самого себя!», встречающихся уже и в Старом завете. Можно любить ближнего меньше самого себя — тогда ты эгоист, стяжатель, капиталист, буржуа, и хотя можно стяжать себе деньги и власть, но нельзя этого делать с радостным сердцем, и тончайшие и самые лакомые радости души будут тебе заказаны. Или же можно любить ближнего больше самого себя — тогда ты бедолага, проникнутый чувством собственной неполноценности, стремлением любить все и вся и, однако же, полный терзаний и злобы на себя самого и живешь в аду, где сам же себя день за днем и поджариваешь. И как прекрасно, напротив, равновесие в любви, способность любить, не оставаясь в долгу ни тут, ни там, — такая любовь к себе, которая ни у кого не украдена, такая любовь к другому, которая, однако же, не ущемляет

и не насилует собственное «я»! Тайна истинного счастья, истинного блаженства заключена в этом речении. А если хочешь, можно повернуть его и на индусский лад и толковать так: люби ближнего, ибо это ты сам! — христианский перевод изречения «tat twam asi».[24]Ах, истинная мудрость так проста, была уже так давно, так точно и недвусмысленно высказана и сформулирована! Почему же она нам доступна только временами, только в хорошие дни, а не всегда?

[24] Примечания: 24
Это ты *(санскр.).*

Оглядываясь назад

Эту последнюю страницу я пишу уже не в Бадене. Я уже покинул его и, полный новых попыток и планов, опять у себя в степи, в своем уединении и затворничестве. Курортник Гессе, слава богу, умер, и нам нет больше до него дела. Вместо него появился совсем новый Гессе, правда, тоже человек с ишиасом, но этот ишиас его принадлежность, а не он принадлежность ишиаса.

Когда я покидал Баден, мне и в самом деле было грустно с ним расставаться. Я привязался здесь ко многим вещам и людям, и нити эти пришлось рвать; привязался к своей комнате, к хозяину гостиницы, к деревьям на берегу реки, к врачу, который в прощальную аудиенцию опять оказался на высоте; к куницам, к приветливым и хорошеньким официанткам Резли, Труди и другим; к игорному залу, к лицам и внешнему облику многих своих собратьев больных. Прощай, приветливая, всегда веселая, всегда услужливая, сестра в процедурной! Прощай, великанша из Голландии, и ты, светлокудрый герой, Кессельринг!

Очень мило прошло прощание с хозяином

«Святого подворья». С улыбкой выслушал он мою благодарность, мои похвалы его гостинице, а затем спросил, остался ли доктор доволен мною и моим лечением; и когда я ему рассказал, что врач меня очень похвалил и я надеюсь на полное выздоровление, так что могу теперь спокойно покинуть Баден, улыбка моего хозяина сделалась лукаво-благодушной, и, дружески положив мне руку на плечо, он сказал:

— Вот и хорошо, поезжайте с легким сердцем! Поздравляю. Но, видите ли, я знаю кое-что, чего вы, может быть, не знаете: вы вернетесь!

— Я вернусь? Сюда, в Баден? — спросил я.

Он весело рассмеялся.

— Да-да. Все возвращаются, выздоровевшие и невыздоровевшие; пока что все возвращались. В следующий раз вы уже будете у нас завсегдатаем.

Я не забыл этих прощальных слов. По всей вероятности, он прав. По всей вероятности, я вернусь однажды, а может быть, и не однажды. Но никогда я уже не буду тем, чем был в этот приезд. Я буду опять принимать ванны, меня будут опять лечить электризацией, опять отменно кормить, может, я опять буду впадать в депрессию и приходить в уныние, пить вино или играть в рулетку, и,

однако, все будет по-другому, совершенно так же, как нынешнее мое возвращение к себе в глушь отличалось от каждого предыдущего. В отдельности все будет таким же, все очень схожим, но в целом будет по-новому и по-другому, будет протекать под другими звездами. Потому что жизнь не арифметическая задача и не геометрическая фигура, а чудо. Так было на протяжении всей моей жизни: все опять повторялось, те же печали, те же желания и радости, те же соблазны; опять и опять расшибал я себе лоб о ту же притолоку, сражался с теми же чудовищами, гнался за теми же мотыльками, постоянно попадал в те же положения и обстоятельства, и, однако, всегда это была новая игра, всегда наново восхитительная, наново опасная, наново захватывающая. Тысячи раз я бывал самонадеян, тысячи раз смертельно уставал, тысячи раз был ребячлив, тысячи раз стар и бесстрастен — и ничто долго не длилось, все повторялось опять и, однако, никогда не было тем же самым. Единство, чтимое мною за этой множественностью, не скучное, не серое, умозрительное, теоретическое единство. Оно есть сама жизнь, полная игры, боли, смеха. Оно

изображено в пляске бога Шивы,[25] пляшущего и в пляске разносящего вдребезги мир, да и во многих других картинах; оно не чурается никакого изображения, никаких сравнений. Ты волен во всякое время в него вступить, оно твое с того мгновения, как ты отказался от времени, пространства, знания, незнания, как вышел из крута условностей, как ты в любви и служении принадлежишь всем богам, всем людям, всем мирам, всем эпохам. В такие мгновения ты испытываешь вместе единство и множественность, видишь проходящих мимо тебя Будду и Иисуса, беседуешь с Моисеем, ощущаешь на своей коже тепло цейлонского солнца и видишь закованные в лед полюсы. Десятки раз я уже там побывал после своего возвращения из Бадена.

Итак, я не «выздоровел». Мне лучше, врач мною доволен, но я не излечился, это может повториться в любое время. Помимо действительного улучшения, я привез из Бадена еще нечто весьма ценное, я перестал слишком уж беспощадно преследовать свой ишиас. Я понял, что он моя

[25] Примечания: 25

Шива — один из главных богов индуистского пантеона, составляющий вместе с Брахмой и Вишну священную триаду. Будучи верховным богом, устанавливающим ритм вселенной, Шива в начале каждого периода танцем пробуждает мир к жизни, а в конце — уничтожает его.

принадлежность, что он мною благоприобретен, как начинающаяся седина у меня на висках, и что неразумно пытаться просто его уничтожить или изгнать его здешней магией. Постараемся жить с ним в мире, завоюем его уступчивостью!

И если я однажды снова вернусь в Баден, то буду по-другому входить в теплую воду, по-другому страдать от соседей, по-другому мучиться и забавляться, по-другому писать. По-новому буду грешить и новыми путями приходить в согласие с богом. И всегда буду думать, что это я действую, думаю, живу, тогда как знаю, что это Он.

Когда я сейчас оглядываюсь на эти несколько проведенных на курорте недель, во мне возникает, как и при всяком взгляде на прошлое, та приятная иллюзия превосходства, понимания и проницательности, какими в молодости так искренне наслаждаешься на каждой новой своей жизненной ступени. Страдания моего недавнего «я», физическая боль и душевные муки остались позади, мучительный этап пройден, и тот Гессе, который недавно столь нелепо вел себя в Бадене, кажется мне стоящим неизмеримо ниже озирающегося на него сейчас мудрого Гессе. Я вижу, как курортник Гессе преувеличенно реагирует на смешные мелочи, понимаю забавную механику

его скованности и комплексов и забываю, что мелочи эти кажутся мне мелкими и смешными лишь потому, что они теперь позади.

Но что значит мелко или велико, важно или неважно? Психиатры объявляют человека душевно больным, если он болезненно и бурно реагирует на мелкие беспокойства, мелкие раздражения, мелкие оскорбления, ранящие самолюбие, тогда как тот же человек, возможно, стойко выносит беды и потрясения, которые большинству кажутся ужасными. И человек считается здоровым и нормальным, когда ему можно сколько угодно наступать на ногу, и он этого даже не замечает, когда он безропотно и не жалуясь выносит отвратительнейшую музыку, сквернейшую архитектуру, испорченнейший воздух, но стучит кулаком по столу и чертыхается, проигрывая в карты сущий пустяк. В гостиницах мне частенько приходилось видеть и слышать, как добропорядочные господа, считающиеся вполне нормальными и достойными уважения, проиграв партию в карты, особенно если они пытались свалить вину на партнера, так грубо и безобразно ругались и неистовствовали, что во мне вспыхивало желание обратиться к ближайшему врачу и потребовать госпитализации этих несчастных.

Существуют самые различные мерила, которые все можно признать обоснованными; но считать какое-либо из них, будь это даже мерило науки или общепринятой в данный момент морали, для себя священным я решительно неспособен.

И человек, который, возможно, посмеется над автопортретом курортника Гессе и сочтет его смешным чудаком (в чем будет прав), очень бы удивился, доведись ему прочитать точное и детальное описание и анализ какого-нибудь своего собственного хода мыслей, какой-нибудь своей собственной привычной реакции на окружающий мир. Как под микроскопом что-то обычно невидимое или гадкое, комочек грязи, может обратиться в прекрасное звездное небо, точно так же под микроскопом истинной психологии (пока еще несуществующей) малейшее движение души, каким бы ни было оно дурным, или глупым, или безумным, стало бы священным, торжественным зрелищем, ибо мы увидели бы в нем лишь пример, лишь аллегорическое отражение самого священного, что мы знаем, — жизни.

Было бы самонадеянностью с моей стороны сказать, что все мои литературные попытки уже много лет не что иное, как поиски, как нащупывание этой далекой цели, слабое, робкое

предчувствие той истинной психологии всевидящего ока, под чьим взором ничто не бывает мелким, или глупым, или безобразным, или злым, а все свято и достойно. И тем не менее это так.

И когда сейчас, прощаясь с этими страницами, я обозреваю напоследок все мое пребывание в Бадене, во мне возникает неудовлетворенность, досада, грусть. Грусть не по поводу собственных глупостей, нетерпеливости, нервозности, своих чересчур поспешных и резких суждений, — короче говоря, не по поводу тех человеческих недостатков и ошибок, которые, как я знаю, имеют свое глубокое основание и необходимость. Нет, моя грусть, чувство пустоты и боль вызваны этими заметками, этой попыткой возможно более правдиво и честно раскрыть крохотный кусочек жизни. Я стыжусь и меня огорчают, надо сказать прямо, не мои грехи и пороки, а исключительно неудача, постигшая мой языковый эксперимент, весьма малый результат моих литературных усилий.

Причем есть вполне определенная причина для такого разочарования. Попытаюсь объяснить это на примере.

Будь я музыкантом, я без труда мог бы написать

двухголосную мелодию, мелодию, состоящую из двух линий, из двух тональностей и нотных рядов, которые бы друг другу соответствовали, друг друга дополняли, друг с другом боролись, друг друга обуславливали, во всяком случае, в каждый миг, в каждой точке ряда находились бы в теснейшем и живейшем взаимодействии и взаимосвязи. И всякий умеющий читать ноты мог бы прочесть мою двойную мелодию, всегда бы видел и слышал к каждому тону его противотон, брата, врага, антипода. Так вот, то же самое, эту двухголосность и вечно движущуюся антитезу, эту двойную линию я и стремлюсь выразить в своем материале — с помощью слов, бьюсь над этим, и все напрасно. Я пытаюсь снова и снова, и если что заставляет меня работать увлеченно и меня подталкивает, так это единственно упорное стремление достичь невозможного, ожесточенная борьба ради недосягаемого. Я хотел бы найти выражение для двуединства, хотел бы написать главы и периоды, где постоянно ощущалась бы мелодия и контрмелодия, где многообразию постоянно сопутствовало бы единство, шутке — серьезность. Потому что единственно в том и состоит для меня жизнь, в таком раскачивании между двумя полюсами, в непрерывном

движений туда и сюда между двумя основами мироздания. Постоянно хотел бы я с восхищением указывать на благословенную многокрасочность мира и столь же постоянно напоминать, что в основе этой многокрасочности лежит единство; постоянно хотел бы раскрывать, что прекрасное и уродливое, свет и мрак, грех и святость всегда лишь на мгновенье предстают как противоположности, что они беспрерывно переходят друг в друга. Для меня высшее из всего сказанного человечеством — те скупые речения, где эта двоякость выражена как бы в магических знаках, те немногие афоризмы и притчи, в которых великие противоречия мироздания постигнуты и как необходимость, и как иллюзия. Китаец Лао-цзы составил много таких афоризмов, в которых оба полюса жизни в мгновенной вспышке словно бы соприкасаются. Еще благороднее и проще, еще сердечнее то же чудо сотворено во многих притчах Иисуса. Разве поистине не потрясающе, что религия, учение, теория тысячелетиями все тоньше и строже разрабатывает учение о добре и зле, правде и неправде, ставит все более высокие требования праведности и покорности, чтобы в конце концов, достигнув вершины, прийти к магической истине, что девяносто девять пра-

ведников меньше перед богом, нежели один кающийся грешник!

Но, может быть, большая ошибка и даже грех с моей стороны считать, будто я должен служить глашатаем этих великих прозрений. Быть может, несчастье нашего времени в том и состоит, что эта высшая мудрость предлагается на всех углах, что всякая признанная государством церковь наряду с верой во власть предержащую, в денежный мешок и национальную исключительность проповедует веру в чудо Христово и что Евангелие, кладезь ценнейшей и опаснейшей мудрости, можно купить в любой лавке, а миссионеры раздают его совсем задаром. Быть может, такие неслыханные, дерзостные, даже ужасающие истины и прозрения, какие содержатся во многих речах Иисуса, следовало бы тщательно скрывать и хранить за семью замками. Быть может, было бы хорошо и правильно, чтобы человек, дабы узнать хотя бы одно из этих могучих слов, вынужден был тратить долгие годы и рисковать жизнью, подобно тому, как делает это в жизни ради других высших ценностей. Если это так (а временами мне кажется, что это именно так), тогда последний кропатель развлекательных романов поступает правильнее и лучше, чем тот,

кто тщится выразить вечное.

Вот стоящая передо мной дилемма и задача. Можно много говорить об этом, а вот разрешить нельзя. Пригнуть оба полюса жизни друг к другу, записать на бумаге двухголосность мелодии жизни мне никогда не удастся. И все-таки я буду следовать смутному велению изнутри и снова и снова отваживаться на такие попытки. Это и есть та пружина, что движет мои часы.

Степной волк

Предисловие издателя

Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которое не раз употреблял он сам, называли «Степным волком». Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать; у меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам Степного волка некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания, с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое, мне так и неизвестны. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности.

Степной волк был человек лет пятидесяти, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим, набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев девять-десять. Жил он очень тихо и замкнуто, и если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверное, так и не по-

знакомились бы, поскольку общительностью он не отличался, он был в высшей, неведомой мне дотоле степени необщителен, он был и правда, как он иногда называл себя, Степным волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих, оставшихся от него записей; но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал и нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем соответствует той, более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства.

Случайно я присутствовал при том, как Степной волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время, тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь,

предварительно позвонив в нее, и в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, Степной волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал:

— О, здесь хорошо пахнет.

Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась, а я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь.

— Ну да, — сказал он, — я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете.

Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась, в ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому, резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая

тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены, и окна, и старые высокие шкафы в лестничной клетке, все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье и завтрак и прочее, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, со всем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление, и оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего — лицо нового жильца, которое

мне с самого начала понравилось; несмотря на что-то диковинное во взгляде,[26] оно понравилось мне, это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия — напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу; объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему.

Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв, и мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но

---

[26] Примечания: 26

Впечатление диковинности, отчужденности, чужеродности сближает образ Галлера с традиционным изображением романтического героя. Гессе нарочито это подчеркивает, он не раз замечал, что основополагающим настроением романтизма является, по его мнению, ощущение заброшенности, бездомности и бесприютности. В статье, посвященной Клеменсу Брентано, мироощущение которого весьма близко Гарри Галлеру, Гессе писал: «Гениальный комедиант и разочарованный, упрямый кающийся Клеменс, оба смотрят в мир с глубоко таинственным отчуждением, оба не видят в нем дома. Один высмеивает его, другой бежит из него, и оба страдают, оба живут в иной реальности, чем наша…».

попросил не прописывать его в полиции, потому что он, по своему нездоровью, терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя, его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому и вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем, ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже — материнского отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались. Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его.

Поскольку эта история с уклонением от прописки мне не понравилась, я пожелал хотя бы

выяснить, что знает тетка о незнакомце, о его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего полуденного ухода он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но он явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное появление. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали.

— С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет? — спросил я.

Тогда моя тетушка, у которой иногда бывали довольно верные догадки, сказала:

— Мне это совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, что он к этому не привык и в этом нуждается.

Ну, что ж, подумал я, вполне возможно.

— Однако, — сказал я, — если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты сделаешь, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или

являться по ночам пьяный?

— Посмотрим, — сказала она и засмеялась, и я оставил эту тему.

Мои опасения оказались и правда напрасными. Хотя наш квартирант отнюдь не вел упорядоченной и размеренной жизни, он не обременял нас и не причинял нам никакого ущерба, мы и поныне любим о нем вспоминать. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как мешал и был еще каким бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека, по сути, мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки полюбил.

Два дня спустя извозчик доставил вещи незнакомца, которого звали Гарри Галлер.[27] Очень красивый кожаный чемодан произвел на меня хорошее впечатление, а большой плоский

[27] Примечания: 27

Можно предположить, что фамилию героя Гессе позаимствовал у швейцарского скульптора Германа Галлера (1880–1950), с которым его связывали приятельские отношения. Весной 1926 г. Гессе вместе с Галлером участвовал в маскараде, устроенном цюрихской богемой в отеле «Бор о Лак». В то же самое время обращает на себя внимание совпадение инициалов героя с инициалами автора. Подобная игра в имена, не раз использованная Гессе и ранее, указывает на явную автобиографичность образа.

кофр свидетельствовал о прежних дальних поездках, — во всяком случае, он был облеплен пожелтевшими ярлыками отелей и транспортных агентств разных стран, даже заморских.

Потом появился он сам, и началась та пора, когда я постепенно узнавал этого необычного человека. Сначала я со своей стороны ничего для этого не предпринимал. Хотя Галлер заинтересовал меня, едва я его увидел, в первые несколько недель я не сделал ни шагу, чтобы встретиться с ним или вступить с ним в разговор. Однако, признаюсь, я с самого начала немного за ним наблюдал, даже захаживал в его отсутствие к нему в комнату и вообще немножко шпионил из любопытства.

О внешности Степного волка я уже кое-что сообщил. Он безусловно и с первого же взгляда производил впечатление человека значительного, редкого и незаурядно одаренного, лицо его было полно ума, а чрезвычайно тонкая и живая игра его черт отражала интересную, необыкновенно тонкую и чуткую работу духа. Когда он, что случалось не всегда, выходил в беседе из рамок условностей и, как бы вырвавшись из своей отчужденности, говорил что-нибудь от себя лично, нашему брату ничего не оставалось, как подчи-

ниться ему, он думал больше, чем другие, и в вопросах духовных обладал той почти холодной объективностью, тем продуманным знанием, что свойственны лишь людям действительно духовной жизни, лишенным какого бы то ни было честолюбия, не стремящимся блистать, или убедить другого, или оказаться правыми.

Мне вспоминается одно такое высказывание последней поры его пребывания здесь, собственно даже и не высказывание, ибо состояло оно только в брошенном им взгляде. В актовом зале университета должен был выступить с докладом один знаменитый философ и историк культуры, человек с европейским именем, и мне удалось уговорить Степного волка, который сперва всячески отнекивался, послушать этот доклад. Мы пошли вместе и в зале сидели рядом. Взойдя на кафедру и приступив к лекции, оратор разочаровал многих слушателей, ожидавших увидеть чуть ли не пророка, своим щеголеватым и суетным видом. Когда он для начала сказал несколько лестных слов слушателям, поблагодарив аудиторию за ее многолюдность, Степной волк бросил мне короткий взгляд, выразивший критическое отношение к этим словам и вообще к оратору, — о, взгляд незабываемый и ужасный, о смысле

которого можно написать целую книгу! Его взгляд не только критиковал данного оратора, уничтожая знаменитого человека своей убийственной, хотя и мягкой иронией, это еще пустяк. Взгляд его был скорее печальным, чем ироническим, он был безмерно и безнадежно печален; тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда. Своей отчаянной ясностью он просвечивал не только личность суетного оратора, высмеивал не только сиюминутную ситуацию, ожидания и настроения публики, несколько претенциозное заглавие объявленной лекции — нет, взгляд Степного волка пронзал все наше время, все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность, всю мелкую возню мнимой, поверхностной духовности — да что там, взгляд этот проникал, увы, еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем только на безнадежные изъяны нашего времени, нашей духовности, нашей культуры. Он был направлен в сердце всего человечества, в одну-единственную секунду он ярко выразил все сомнения мыслителя, может быть мудреца, в достоинстве, в смысле человеческой жизни вообще. Этот взгляд говорил: «Вот какие мы шуты гороховые! Вот каков человек!» — и любая знаменитость, любой ум,

любые достижения духа, любые человеческие потуги на величие и долговечность шли прахом и оказывались шутовством!

Я сильно забежал вперед и, собственно, вопреки своему намеренью и желанью, в общем-то уже сказал самое существенное о Галлере, хотя сперва собирался нарисовать его портрет лишь исподволь, путем последовательного рассказа о моем с ним знакомстве.

Раз уж я так забежал вперед, то не стоит больше распространяться насчет загадочной «диковинности» Галлера и подробно излагать, как я постепенно почувствовал и узнал причины и смысл этого чрезвычайного и ужасного одиночества. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать истории, ни пускаться в психологию, а хочу лишь как очевидец прибавить кое-какие штрихи к портрету этого странного человека, от которого остались эти записки Степного волка.

Уже с первого взгляда, когда он вошел через тетушкину застекленную дверь, запрокинул по-птичьи голову и похвалил хороший запах нашего дома, я заметил в незнакомце что-то особенное, и первой моей наивной реакцией было

отвращение. Я почувствовал (и моя тетка, человек, в отличие от меня, совсем не умственный, почувствовала примерно то же самое) — я почувствовал, что он болен, то ли как-то душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил меня обороняться. Со временем это оборонительное отношение сменилось симпатией, основанной на большом сочувствии к тому, кто так глубоко и долго страдал и чье внутреннее умирание происходило у меня на глазах. В этот период я все больше и больше осознавал, что болезнь этого страдальца коренится не в каких-то пороках его природы, а, наоборот, в великом богатстве его сил и задатков, не достигшем гармонии. Я понял, что Галлер — гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше,[28] выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию. Одновременно я понял, что почва его пессимизма — не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо, при всей уничтожающей беспощадности его суждений о заведенных порядках или о людях, он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую

[28] Примечания: 28

Гессе имеет в виду отдельные изречения философа, рассматривающие страдание как обязательное условие формирования «сверхчеловека».

очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь…

Тут я должен вставить одно психологическое замечание. Хотя я мало что знаю о жизни Степного волка, у меня есть все причины полагать, что любящие, но строгие и очень благочестивые родители и учителя воспитывали его в том духе, который кладет в основу воспитания «подавление воли». Так вот, уничтожить личность, подавить волю в данном случае не удалось, ученик был для этого слишком силен и тверд, слишком горд и умен. Вместо того чтобы уничтожить его личность, удалось лишь научить его ненавидеть себя самого. И против себя самого, против этого невинного и благородного объекта, он пожизненно направлял всю гениальность своей фантазии, всю силу своего разума. Ибо в том-то он и был, несмотря ни на что, истинным христианином и истинным мучеником, что всякую резкость, всякую критику, всякое ехидство, всякую ненависть, на какую был способен, обрушивал прежде всего, первым делом на себя самого. Что касалось остальных, окружающих, то он упорно предпринимал самые героические и самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо

«люби ближнего твоего» въелось в него так же глубоко, как ненависть к самому себе, и, таким образом, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе самому невозможна и любовь к ближнему, а ненависть к себе — в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм.

Но пора мне отставить собственные домыслы и перейти к фактам. Итак, первое, что я узнал о Гарри Галлере, — отчасти благодаря своему шпионству, отчасти из замечаний тетушки, — касалось его образа жизни. Что он человек умственно-книжный и не имеет никакого практического занятия, выяснилось вскоре. Он всегда залеживался в постели, часто вставал чуть ли не в полдень и проделывал в халате несколько шагов, отделявших маленькую спальню от его гостиной. Эта гостиная, большая и приятная мансарда с двумя окнами, уже через несколько дней приобрела другой вид, чем при прежних жильцах. Она наполнилась — и со временем наполнялась все больше. Вешались картины, прикалывались к стенам рисунки, иногда вырезанные из журналов иллюстрации, которые часто менялись. Южный пейзаж, фотографии немецкого про-

винциального городка, видимо родины Галлера, висели здесь вперемешку с яркими, светящимися акварелями,[29] о которых мы лишь впоследствии узнали, что они написаны им самим. Затем фотография красивой молодой женщины или девушки. Одно время на стене висел сиамский Будда, смененный сперва репродукцией «Ночи» Микеланджело,[30] а потом портретом Махатмы Ганди.[31] Книги заполняли не только большой книжный шкаф, но и лежали повсюду на столах, на красивом старом секретере, на диване, на стульях, на полу, книги с бумажными закладками, постоянно менявшимися. Книги непрестанно прибавлялись, ибо он не только приносил целые кипы из библиотек, но и получал весьма часто бандероли по почте. Человек, который жил в

---

[29] Примечания: 29

Автобиографическая деталь. В 20-х гг. Гессе интенсивно занимался живописью. Его акварели выставлялись в Цюрихе, а также были несколько раз изданы отдельно.

[30] Примечания: 30

«Ночь» Микеланджело — речь идет о скульптурном изображении Ночи на овальной крышке саркофага Джулиано Медичи во Флоренции, принадлежащем величайшему итальянскому скульптору и живописцу эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475–1564).

[31] Примечания: 31

Махатма Ганди — Мохандас Кармчанд Ганди (1869–1948), по прозванию Махатма (то есть «Великая душа»), выдающийся мыслитель и деятель индийского национально-освободительного движения.

этой комнате, мог быть ученым. Такому впечатлению соответствовал и сигарный дым, все здесь окутывавший, и разбросанные повсюду окурки сигар, и пепельницы. Однако изрядная часть книг была не ученого содержания, подавляющее большинство составляли сочинения писателей всех времен и народов. Одно время на диване, где он часто проводил лежа целые дни, валялись все шесть толстых томов сочинения под названием «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию»,[32] — конца восемнадцатого века. Зачитанный вид был у полных собраний сочинений Гете и Жана Поля[33] а также Новалиса,[34] Лессинга, Якоби и Лихтенберга.[35] В нескольких томах Достоевского[36] густо торчали исписанные листки. На большом столе, среди книг и рукописей, часто

---

[32] Примечания: 32

«Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» — эпистолярный роман лютеранского пастора Иоганна Тимотеуса Гермеса (1738–1821).

[33] Примечания: 33

Рихтер, Жан Поль (1763–1825) — немецкий писатель, которого Гессе называл своим «незаменимым и любимым сокровищем, наряду с Гете». «Жан Поль, — писал Гессе, — является образцом гениального человека… идеалом которого была вольная игра всех душевных сил, который жаждал всему сказать свое „да“, все испробовать, все полюбить и все пережить». Эстетические воззрения Жана Поля оказали значительное воздействие на формирование концепции Гессе о юморе.

[34] Примечания: 34

Новалис — псевдоним одного из самых значительных представителей раннего романтизма в Германии Фридриха фон Гарденберга (1772–

1801), фрагментарный роман которого «Генрих фон Офтердинген» во многих отношениях повлиял на автора «Степного волка».

[35] Примечания: 35

Лессинг, Готхольд Эфраим (1729–1781), Якоби Фридрих Генрих (1743–1819), Лихтенберг Георг Христоф (1742–1799) — немецкие писатели XVIII в. Перечень книг Галлера отражает романтическую тоску героя по представляющейся ему замкнутой в себе и завершенной культуре XVIII в.

[36] Примечания: 36

В годы, предшествующие написанию романа, Гессе тщательно изучал творчество Достоевского, многие идеи которого в значительной мере определили духовную атмосферу «Степного волка». Основной из них можно считать ощущение конца, заката западной культуры и мучительные поиски преодоления внутреннего кризиса европейского человека.

стоял букет цветов, там же пребывал и этюдник с акварельными красками, всегда, впрочем, покрытый пылью, рядом с ним — пепельницы и, не стану об этом умалчивать, всевозможные бутылки с напитками. В оплетенной соломой бутылке было обычно красное вино, которое он брал в лавочке поблизости, иногда появлялась бутылка бургундского или малаги, а толстая бутылка с вишневой наливкой была, как я видел, за короткий срок почти опорожнена, но потом исчезла в каком-то углу и пылилась без дальнейшего убывания остатка. Не стану оправдывать своего шпионства и честно признаюсь, что первое время все эти приметы хоть и наполненной духовными интересами, но все же довольно-таки беспутной и разболтанной жизни вызывали у меня отвращение и недоверие. Я не только человек бюргерской размеренности в быту, я к тому же не пью и не курю, и эти бутылки в комнате Галлера не понравились мне еще больше, чем прочий живописный беспорядок.

Так же, как в отношении сна и работы, незнакомец не соблюдал решительно никакого режима в еде и питье. В иные дни он вообще не выходил из дому и не подкреплялся ничем, кроме утреннего кофе, единственным порой остатком его

трапезы, который находила тетка, оказывалась брошенная кожура от банана, зато в другие дни он ел в ресторанах, иногда в хороших, изысканных, иногда в какой-нибудь харчевне на окраине города. Крепким здоровьем он, видимо, не обладал; кроме скованности в ногах, которыми он часто с явным трудом преодолевал лестницы, его мучили, видимо, и другие недуги, и как-то он вскользь заметил, что уже много лет не знает ни нормального пищеварения, ни нормального сна. Я приписал это прежде всего тому, что он пил. Позднее, когда я захаживал с ним в одну из его рестораций, мне доводилось наблюдать, как он быстро и своенравно пропускал рюмку-другую, но по-настоящему пьяным ни я, ни еще кто-либо его ни разу не видел.

Никогда не забуду нашей первой более личной встречи. Мы были знакомы лишь шапочно, как бывают знакомы между собой соседи, живущие в одном доме. Однажды вечером, возвращаясь из конторы, я, к своему удивлению, застал господина Галлера сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. Он сидел на верхней ступеньке и подвинулся в сторону, чтобы меня пропустить. Я спросил его, не чувствует ли он себя плохо, и предложил ему проводить его

до самого верха.

Галлер посмотрел на меня, и я понял, что вывел его из какого-то сонного состояния. Он медленно улыбнулся своей красивой и грустной улыбкой, которой так часто надрывал мне сердце, а потом пригласил меня сесть рядом с ним. Я поблагодарил и сказал, что не привык сидеть на лестнице перед чужими квартирами.

— Ах да, — сказал он и улыбнулся еще раз. — Вы правы. Но погодите минутку, я покажу вам, почему я здесь присел.

Тут он указал на площадку перед квартирой второго этажа, где жила одна вдова. На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными оловянными украшениями, а на полу перед шкафом, в больших горшках на двух низких подставочках, стояли два растения, азалия и араукария. Растения выглядели красиво и содержались всегда безупречно опрятно, что я уже с удовольствием отмечал.

— Видите, — продолжал Галлер, — эта площадочка с араукарией, здесь такой дивный запах, что я часто прямо-таки не в силах пройти мимо, не помешкав минутку. У вашей тетушки тоже

все благоухает и царят порядок и чистота, но эта вот площадочка с араукарией — она так сверкающе чиста, так вытерта, натерта и вымыта, так неприкосновенно опрятна, что просто сияет. Мне всегда хочется здесь надышаться — чувствуете, как здесь пахнет? Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям.

Поскольку я промолчал, он продолжил:

— Пожалуйста, не думайте, что я иронизирую! Дорогой мой, я меньше всего хотел бы подтрунивать над этим мещанским порядком. Верно, я сам живу в другом мире, не в этом, и, пожалуй, не выдержал бы и дня в квартире с такими араукариями. Но хоть я и старый, немного уже облезлый степной волк, я тоже как-никак сын своей матери, а моя мать тоже была мещанка, она разводила цветы, следила за комнатой и за лестницей, за

мебелью и за гардинами и старалась придать своей квартире и своей жизни как можно больше опрятности, чистоты и добропорядочности. Об этом напоминает мне запах скипидара, напоминает араукария, и вот я порой сижу здесь, гляжу на этот тихий садик порядка и радуюсь, что такое еще существует на свете.

Он хотел встать, но это оказалось ему трудно, и он не отстранил меня, когда я ему немного помог. Я продолжал молчать, но поддался, как то уже произошло с моей тетушкой, какому-то очарованию, исходившему подчас от этого странного человека. Мы медленно поднялись вместе по лестнице, и перед своей дверью, уже держа в руке ключ, он снова прямо и очень приветливо посмотрел мне в лицо и сказал:

— Вы пришли сейчас из своей конторы? Ну да, в этом я ничего не смыслю, я живу, знаете ли, несколько в стороне, несколько на отшибе. Но, наверно, вы тоже интересуетесь книгами и тому подобным, ваша тетушка сказала мне как-то, что вы кончили гимназию и были сильны в греческом. Сегодня утром я нашел одну фразу у Новалиса, можно показать вам ее? Вам это тоже доставит удовольствие.

Он завел меня в свою комнату, где сильно пах-

ло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал…

— И это тоже хорошо, очень хорошо, — сказал он, — послушайте-ка: «Надо бы гордиться болью,[37] всякая боль есть память о нашем высоком назначении». Прекрасно! За восемьдесят лет до Нищие! Но это не то изречение, которое я имел в виду, — погодите — нашел. Вот оно: «Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать». Разве это не остроумие? Конечно, они не хотят плавать! Ведь они созданы для суши, а не для воды.[38] И конечно, они не хотят думать; ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать! Ну, а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть, но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет.

Так он залучил меня к себе и заинтересовал, и я задержался у него на несколько минут, и с тех пор мы часто, встречаясь на лестнице или на улице, немного беседовали. При этом сначала, так же

---

[37] Примечания: 37

Эта и последующая цитаты заимствованы из «Фрагментов» Новалиса.

[38] Примечания: 38

Вода — один из наиболее распространенных символов бессознательного в «глубинной психологии» Юнга. В интерпретации Галлера изречение Новалиса приобретает следующий смысл: люди не рождены для «плавания» в океане бессознательного.

как в тот раз возле араукарии, я не мог отделаться от чувства, что он иронизирует надо мной. Но это было не так. Он испытывал ко мне, как и к араукарии, поистине уважение, он так глубоко проникся сознанием своего одиночества, своей обреченности плавать, своего отщепенства, что порой и в самом деле, без всякой насмешки, мог прийти в восторг от какого-нибудь слуги или, скажем, трамвайного кондуктора. Сперва мне казалось это довольно смешным преувеличением, барской причудой, кокетливой сентиментальностью. Но мало-помалу я убеждался, что, глядя на наш мещанский мирок из своего безвоздушного пространства, из волчьей своей отчужденности, он действительно восхищался этим мирком, воистину любил его как нечто прочное и надежное, как нечто недостижимо далекое, как родину и покой, путь к которым ему, Степному волку, заказан. Перед нашей привратницей, славной женщиной, он всегда снимал шляпу с неподдельным почтением, и когда моя тетушка с ним болтала или напоминала ему, что его белье требует починки или что у него отрывается пуговица на пальто, он слушал ее на редкость внимательно и серьезно, словно изо всех сил, но безнадежно старался проникнуть через какую-нибудь щелку

в этот спокойный мирок и сродниться с ним хотя бы на час.

Уже в ходе того первого разговора возле араукарии он назвал себя Степным волком, и это тоже немного удивило и покоробило меня. Что за манера выражаться?! Но я не только примирился с этим выражением благодаря привычке, но и сам стал вскоре мысленно называть нашего жильца не иначе, как Степным волком, да и сейчас не нашел бы более меткого определения для него. Степной волк, оплошно забредший к нам в город, в стадную жизнь, — никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности.

Однажды мне довелось наблюдать его в течение целого вечера на симфоническом концерте, где он, к моему изумлению, сидел поблизости от меня, но меня не заметил. Сперва давали Генделя, благородную и красивую музыку, но Степной волк сидел безучастно, погруженный в свои мысли, и не обращал внимания ни на музыку, ни на окружающих. Отрешенный, одинокий, чужой, он сидел с холодным, но озабоченным видом, опустив глаза. Потом началась другая пьеса, маленькая симфония Фридемана Баха, и я пора-

зился, увидев, как после первых же тактов мой отшельник стал улыбаться, заражаясь игрой, — он совершенно ушел в себя и минут, наверное, десять пребывал в таком счастливом забытьи, казался погруженным в такие сладостные мечты, что я следил не столько за музыкой, сколько за ним. Когда пьеса кончилась, он пробудился, сел прямее, собрался было встать и уйти, но все же остался в кресле, чтобы выслушать и последнюю пьесу — это были вариации Регера,[39] музыка, которую многие находили несколько затянутой и утомительной. И Степной волк тоже, слушавший поначалу внимательно и доброжелательно, снова отвлекся, он засунул руки в карманы и снова ушел в себя, но на сей раз не счастливо-мечтательно, а печально и наконец зло, его лицо снова отдалилось, посерело, потухло, он казался старым, больным, недовольным.

После концерта я опять увидел его на улице и пошел следом за ним; кутаясь в пальто, он невесело и устало шагал по направлению к нашему кварталу, но, остановившись у одного старомодного ресторанчика, нерешительно взглянул

[39] Примечания: 39

Регер Макс (1873–1916) — неоромантический композитор, органист и дирижер, среди прочего автор вариаций на темы Баха, Моцарта, Бетховена.

на часы и вошел внутрь. Мне вдруг взбрело в голову последовать за ним. Он сидел за столиком мещанского заведения, хозяйка и официантки приветствовали его как завсегдатая, я тоже поздоровался и подсел к нему. Мы просидели там час, и за это время я выпил два стакана минеральной воды, а ему принесли пол-литра, а потом еще четверть литра красного вина. Я сказал, что был на концерте, но он не поддержал этой темы. Прочитав этикетку на моей бутылке с водой, он спросил, не выпью ли я вина, которым он меня угостит. Когда он услыхал, что вина я вообще не пью, на лице его снова появилось выражение беспомощности, и он сказал:

— Да, вы правы. Я тоже годами жил в воздержании и подолгу постился, но сейчас я опять пребываю под знаком Водолея,[40] это темный и влажный знак.

И когда я в шутку подхватил это замечание и

---

[40] Примечания: 40

Знак Водолея, или водяного, находится в непосредственной связи с образом «воды», а также «зеркала», столь важного символа в романе Гессе. В немецком фольклоре Водолей (водяной) является демоном воды, пытающимся завлечь к себе девушку, что, однако, заканчивается трагически, — образ, использованный Гессе в стихотворении «После вечера в Олене» (1926). Роль традиционной символики в произведении Гессе вообще очень велика: так, символическое значение имеет мотив «золота» — стремление к искомому «философскому камню» (полноте, совершенству), символичны каждый из упоминаемых в романе цветов: камелия, орхидея, гвоздика и другие.

нашел странным, что именно он верит в астрологию, он снова взял тот слишком вежливый тон, который меня часто обижал, и сказал:

— Совершенно верно, и в эту науку поверить я, к сожалению, не могу.

Я попрощался и ушел, а он вернулся домой лишь поздно ночью, но походка его не отличалась от обычной, и, как всегда, лег он в постель не сразу (все это я, благодаря соседству наших комнат, прекрасно слышал), а провел еще около часа в своей освещенной гостиной.

Помнится мне и другой вечер. Я был один дома, тетка куда-то ушла, позвонили у парадного, я отворил, увидел перед собой молодую, очень красивую даму и, когда она спросила господина Галлера, узнал ее: это была та, чья фотография висела у него в комнате. Я показал ей его дверь и удалился, она некоторое время пробыла наверху; но вскоре я услыхал, как они вместе спускаются по лестнице и выходят, оживленно и очень весело шутя и болтая. Меня очень удивило, что у нашего отшельника есть возлюбленная, и притом такая молодая, красивая и элегантная, и все мои догадки насчет него и его жизни стали опять под вопрос. Но не прошло и часа, как он вернулся домой, один, тяжелой, печальной поступью, с

трудом поднялся по лестнице и потом часами тихо шагал по своей гостиной взад и вперед, совсем как волк в клетке, и всю ночь, почти до утра, в его комнате горел свет.

Я решительно ничего не знаю об этих отношениях и добавлю только, что с той женщиной видел его еще один раз, где-то на улице. Они шли под руку, и у него был счастливый вид, и я опять подивился тому, каким милым, даже детским могло быть порой его озабоченное, отрешенное лицо, и понял эту женщину, и понял участие, которое проявляла к нему моя тетка. Но и в тот день он вечером вернулся домой печальный и несчастный; я встретил его у парадного, он нес под пальто, как уже бывало, итальянскую бутылку, за которой и просидел потом полночи в своем логове. Мне было жаль его: какой он жил безотрадной, загубленной, беззащитной жизнью!

Хватит, однако, разглагольствовать. Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной волк вел жизнь самоубийцы. И все же я не думаю, что он покончил с собой, когда вдруг, не попрощавшись, но погасив все задолженности, покинул наш город и исчез. Мы ничего о нем с тех пор не слыхали и все еще храним несколько писем, пришедших потом на

его имя. Осталась от него только рукопись, написанная им, когда он здесь жил, — из нескольких строк, к ней приложенных, явствует, что он дарит ее мне и что я волен делать с ней что угодно.

Я не имел возможности проверить, насколько соответствуют действительности истории, о которых повествует рукопись Галлера. Не сомневаюсь, что они по большей части сочинены, но это не произвольный вымысел, а попытка выразить что-то, облекая глубоко пережитое душой в форму зримых событий. Фантастические отчасти истории в сочинении Галлера относятся, вероятно, к последней поре его пребывания здесь, и я не сомневаюсь, что основаны они и на некоторых подлинных внешних впечатлениях. В ту пору поведение и вид нашего гостя действительно изменились, он часто, иногда целыми ночами, не бывал дома, и книги его лежали нетронутые. Во время наших редких тогда встреч он казался поразительно оживленным и помолодевшим, иногда даже веселым. Потом, однако, сразу последовала новая тяжелая депрессия, он по целым дням оставался в постели, не принимая никакой пищи, и как раз на ту полосу пришлась бурная, можно сказать, грубая ссора с его вновь появившейся возлюбленной, ссора, которая всколыхнула весь

дом и за которую Галлер на следующий день просил прощения у моей тетки.

Нет, я убежден, что он не покончил с собой. Он еще жив, он где-нибудь ходит усталыми своими ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие паркеты и ухоженные араукарии, просиживает дни в библиотеках, а ночи в кабаках или валяется на диване, который взял напрокат, слышит, как живут за окнами люди и мир, знает, что он отрезан от них, но не накладывает на себя руки, ибо остаток веры твердит ему, что он должен испить душою до дна эту боль, эту страшную боль, и что умереть он должен от этой боли. Я часто о нем думаю, он не облегчил мне жизнь, не был способен поддержать и утвердить во мне силу и радость, о нет, напротив! Но я не он, и я живу не его жизнью, а своей, маленькой, мещанской, но безопасной и наполненной обязанностями. И мы вспоминаем о нем с мирным и дружеским чувством, я и моя тетушка, которая могла бы поведать о нем больше, чем я, но это останется скрыто в ее доброй душе.

Что касается записок Галлера, этих странных, отчасти болезненных, отчасти прекрасных и глубокомысленных фантазий, то должен сказать, что, попадись мне эти листки случайно и не знай

я их автора, я бы их, конечно, с негодованием выбросил. Но благодаря знакомству с Галлером я смог их отчасти понять, даже одобрить. Я бы поостерегся открывать их другим, если бы видел в них лишь патологические фантазии какого-то одиночки, несчастного душевнобольного. Но я вижу в них нечто большее, документ эпохи, ибо душевная болезнь Галлера — это мне теперь ясно — не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные.

Нижеследующие записи — не важно, в какой мере основаны они на реальных событиях, — попытка преодолеть большую болезнь эпохи не обходным маневром, не приукрашиванием, а попыткой сделать самую эту болезнь объектом изображения. Они представляют собой, в полном смысле слова, сошествие в хаос помраченной

души,[41] предпринятое с твердым намерением пройти через ад, померяться силами с хаосом, выстрадать все до конца.

Ключ к пониманию этого дало мне одно замечание Галлера. Однажды, после разговора о так называемых жестокостях средневековья, он мне сказал:

— На самом деле это никакие не жестокости. У человека средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским! У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим

---

[41] Примечания: 41

Понятие «хаос» Гессе последовательно развивает в нескольких эссе о Достоевском, частично объединенных в сборник «Заглядывая в хаос» (1920). Этим термином Гессе обозначает бессознательные, глубинные, свободные от противоречий сферы психики. Любой порядок, считал Гессе, любая мораль, общество и культура основываются на разуме, подразумевают расчленение мира на добро и зло, на допущенное и запретное, на дух и природу, допускают установку сознания лишь на один определенный полюс. С того момента, когда противоположности оказываются взаимозаменимыми, начинается «хаос». Через познание этого хаоса проходит, по мнению Гессе, путь «индивидуации», то есть начинается та искомая человечность, к которой Гессе ведет своего героя.

страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, — то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.

Читая записки Галлера, я часто вспоминал эти слова. Галлер принадлежит к тем, кто оказался между двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда потерял непорочность, к тем, чья судьба — ощущать всю сомнительность человеческой жизни с особенной силой, как личную муку, как ад.

В этом, по-моему, состоит смысл, который имеют для нас его записи, и поэтому-то я и решился их опубликовать. Вообще же я не хочу ни брать

их под защиту, ни судить о них, пусть каждый читатель сделает это как велит ему совесть!

Записки Гарри Галлера

Только для сумасшедших[42]

День прошел, как и вообще-то проходят дни, я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить; несколько часов я работал, копался в старых книгах, в течение двух часов у меня были боли, как и вообще-то у пожилых людей, я принял порошок и порадовался, что удалось перехитрить боль, полежал в горячей ванне, вбирая в себя приятное тепло, трижды получил почту и просмотрел все ненужные мне письма и бандероли, проделал свои дыхательные упражнения, а умственные упражнения из лени сегодня оставил, часок погулял и увидел на небе прекрасные, нежные, редкостные узоры перистых облаков. Это было очень славно, так же

---

[42] Примечания: 42

«Сумасшедшим» Гессе иронически называет тот противостоящий «нормальному», «обыденному» тип человека, которого Достоевский называл «идиотом», а Ницше — «глупцом». Сумасшедшие, по терминологии писателя, — это те редкие одиночки, которые осознали относительность всех распространенных установок и «открыты» по отношению к сложному миру. Они, утверждает Гессе, способны жить в некоей «высшей реальности», в которой сняты противоречия и которая делает возможным так называемое «магическое» восприятие действительности.

как читать старые книги, как лежать в горячей ванне, но в общем день был совсем не чудесный, отнюдь не сиял счастьем и радостью, а был просто одним из этих давно уже обычных и привычных для меня дней — умеренно приятных, вполне терпимых, сносных, безликих дней пожилого недовольного господина, одним из этих дней без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния, дней, когда даже вопрос, не пора ли последовать примеру Адальберта Штифтера[43] и смертельно порезаться при бритье, разбирается деловито и спокойно, без волненья и страха.

Кто знает другие дни, скверные, с приступами подагры или с ужасной головной болью, гнездящейся за глазными яблоками и своим дьявольским колдовством превращающей из радости в муку всякую деятельность, для которой нужны зренье и слух, или те дни духовного умирания, те черные дни пустоты и отчаяния, когда среди разоренной и высосанной акционерными обществами земли человеческий мир и так называемая культура с их лживым, дешевым,

[43] Примечания: 43

Намек на самоубийство австрийского писателя Адальберта Штифтера (1805–1868), страдавшего неизлечимой болезнью и покончившего с собой во время сильного приступа боли.

мишурным блеском то и дело вызывают у нас тошноту, а самым несносным их средоточием становится наша собственная больная душа, — кто знает эти адские дни, тот очень доволен такими нормальными, половинчатыми днями, как сегодняшний; он благодарно сидит у теплой печки, благодарно отмечает, читая утреннюю газету, что и сегодня не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылось никакой особенной гадости в политике и экономике; он благодарно настраивает струны своей заржавленной лиры для сдержанного, умеренно радостного, почти веселого благодарственного псалма, которым нагоняет скуку на своего чуть приглушенного бромом половинчатого бога довольства, и в спертом воздухе этой довольной скуки, этой благодарности, болезненности они оба, половинчатый бог, клюющий носом, и половинчатый человек, с легким ужасом поющий негромкий псалом, похожи друг на друга, как близнецы.

Прекрасная вещь — довольство, безболезненность, эти сносные, смирные дни, когда ни боль, ни радость не осмеливаются вскрикнуть, когда они говорят шепотом и ходят на цыпочках. Но со мной, к сожалению, дело обстоит так, что имен-

но этого довольства я не выношу, оно быстро осточертевает мне, и я в отчаянии устремляюсь в другие температурные пояса, по возможности путем радостей, а на худой конец и с помощью болей. Стоит мне немного пожить без радости и без боли, подышать вялой и пресной сносностью так называемых хороших дней, как ребяческая душа моя наполняется безнадежной тоской, и я швыряю заржавленную лиру благодарения в довольное лицо сонного бога довольства, и жар самой лютой боли милей мне, чем эта здоровая комнатная температура. Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, магазин, например, собор или себя самого, совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вожделенными билетами до Гамбурга, растлить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни. Ведь именно это я ненавидел и проклинал непримиримей, чем прочее, — это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благоухо-

женный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего.

Вот в каком настроении закончил я, когда стемнело, этот заурядный сносный день. Закончил я его не так, как то полагалось бы и было полезно человеку недомогающему: не лег в приготовленную постель, где меня, как приманка, ждала грелка, а, выполнив свой небольшой, не принесший удовлетворения и опротивевший урок работы, уныло надел башмаки, пальто и в туманной темноте отправился в город, чтобы в гостинице «Стальной шлем»[44] выпить то, что пьющие мужчины, по старому обычаю, называют «стаканчиком вина».

Итак, я стал спускаться из своей мансарды по лестницам, по этим трудным для подъема лестницам чужбины, лестницам благопристойного трехквартирного доходного дома, на чердаке которого находится моя келья. Не знаю, почему так получается, но я, безродный степной волк, одинокий враг мещанского мира, живу всегда в самых что ни на есть мещанских домах, это моя старая слабость. Не во дворцах и не в пролетарских

[44] Примечания: 44

«Стальной шлем» — под этим названием Гессе описывает ресторанчик «Цум хельм» («Под шлемом») на Фишермаркт в Базеле, который он часто посещал.

домах, а неукоснительно в этих благопристойных, скучнейших, содержащихся в безупречном порядке мещанских гнездах, где попахивает скипидаром и мылом, где пугаешься, если услышишь, что дверь парадного громко хлопнула, или если войдешь в грязных ботинках. Я люблю эту атмосферу, несомненно, со времен детства, и моя тайная тоска по какому-то подобию родины снова и снова безнадежно ведет меня этими старыми, глупыми путями. Да и нравится мне контраст между моей жизнью, моей одинокой, не знающей любви, затравленной, донельзя беспорядочной жизнью и этой семейно-мещанской сферой. Я люблю вдыхать на лестнице этот запах тишины, порядка, чистоты, благопристойности и обузданности, запах, в котором всегда, несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное, люблю переступать затем порог собственной комнаты, где все это кончается, где среди нагроможденных книг валяются окурки сигар и стоят бутылки из-под вина, где все неуютно, все в беспорядке и запустенье и где все — книги, рукописи, мысли — отмечено и пропитано бедой одиноких, трудностью человеческого бытия, тоской по новой осмысленности человеческой жизни, утратившей смысл.

И вот я миновал араукарию. На втором этаже этого дома лестница проходит мимо маленькой площадки перед квартирой, которая несомненно еще безупречнее, чище, прибранное, чем другие, ибо эта площадочка сияет сверхчеловеческой ухоженностью, она — маленький светящийся храм порядка. На паркетном полу, ступить на который боишься, стоят здесь две изящных скамеечки, и на каждой — по большому горшку, в одном растет азалия, в другом — довольно-таки красивая араукария, здоровое, стройное деревце, совершенное в своем роде, каждая иголочка, каждая веточка промыта до блеска. Иной раз, когда знаю, что меня никто не видит, я пользуюсь этим местом как храмом, сажусь над араукарией на ступеньку, немного отдыхаю, складываю молитвенно руки и благоговейно гляжу вниз, на этот садик порядка, берущий меня за душу своим трогательным видом и смешным одиночеством. За этой площадкой, как бы под священной сенью араукарии, мне видится квартира, полная сверкающего красного дерева, видится жизнь, полная порядочности и здоровья, жизнь, в которой рано встают, исполняют положенные обязанности, умеренно весело справляют семейные праздники, ходят по воскресеньям в церковь и рано

ложатся спать.

С наигранной бодростью шагал я по сырому асфальту улиц; слезясь и расплываясь, глядели огни фонарей сквозь холодную морось и высасывали тусклые отражения из мокрой земли. Мне вспомнились забытые годы юности — как любил я тогда такие темные и хмурые вечера поздней осени и зимы, как жадно в ту пору и опьяненно впитывал я в себя атмосферу одиночества и грусти, когда чуть ли не по целым ночам, в дождь и бурю, бродил, закутавшись в пальто, среди враждебной, оголенной природы, одинокий уже и в ту пору, но полный глубокого счастья и полный стихов, которые затем записывал при свете свечи, сидя на краю кровати у себя в комнатке! Что ж, это прошло, эта чаша была выпита и больше не наполнялась. Жалел ли я об этом? Нет, не жалел. Ничего не было жаль, что прошло… Жаль было моего сегодня, всех этих бесчисленных часов, которые я потерял, которые только вытерпел, которые не принесли мне ни подарков, ни потрясений. Но слава Богу, исключенья тоже бывали, бывали иногда, редко, правда, и другие часы, они приносили потрясения, приносили подарки, ломали стены и возвращали меня, заблудшего, к живой душе мирозданья. С грустью и все-таки

с большим интересом попытался я вспомнить последнее впечатление такого рода. Это было на концерте, играли прекрасную старинную музыку, и между двумя тактами пиано деревянных духовых мне вдруг снова открылась дверь в потусторонний мир, я взлетел в небеса и увидел Бога за работой, я испытал блаженную боль и больше уже ни от чего на свете не защищался, больше уже ничего не боялся на свете, всему сказал «да», отдал свое сердце всему. Продолжалось это недолго, каких-нибудь четверть часа, но в ту ночь вернулось во сне и с тех пор нет-нет да поблескивало украдкой и в самые унылые дни; иногда я по нескольку минут отчетливо это видел — как золотой божественный след, проходящий через мою жизнь: он почти всегда засыпан грязью и пылью, но вдруг опять вспыхнет золотыми искрами, и тогда кажется, что его уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает. Однажды ночью, лежа без сна, я вдруг заговорил стихами, стихами слишком странными и прекрасными, чтобы мне пришло в голову их записать, а утром я их уже не помнил, но они затаились во мне, как тяжелый орех в старой, надтреснутой скорлупе. Иной раз это находило, когда я читал какого-нибудь поэта, когда задумывался над какой-нибудь

мыслью Декарта, Паскаля, иной раз это вспыхивало и вело меня золотой нитью в небеса, когда я бывал с любимой. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем, внутри этой, такой довольной, такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей! Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах — всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывает со мной, то, что для меня — блаженство, событие, экстаз, воспарение, — это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии, в жизни это кажется ему су-

масшедшим, и в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым люди, значит, не прав я, значит, я — сумасшедший, значит, я и есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха.

С этими привычными мыслями шел я дальше по мокрому асфальту, через один из наиболее тихих и старых кварталов города. Напротив, на другой стороне улицы, стояла в темноте старая серая каменная стена, на которую я всегда любил смотреть, такая старая, она всегда так беспечно стояла между маленькой церковью и старой больницей,[45] днем взгляд мой часто отдыхал на ее неровной плоскости, ведь мало было таких тихих, славных, молчащих плоскостей в центре города, где на каждом квадратном метре выкрикивали свои имена то магазин, то адвокат, то изобретатель, то врач, то цирюльник или мозольных дел мастер. Старая эта стена и сейчас

[45] Примечания: 45

Символично, что «каменная стена», приобретающая в дальнейшем важное функциональное значение, расположена между церковью и больницей, то есть «лечебницами» для души и тела, порождениями той культуры, от которой отрекается Галлер.

пребывала, я видел, в тишине и покое, но что-то в ней все-таки изменилось, я растерялся, когда вдруг увидел в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом, потому что не мог сказать, были ли они здесь всегда или появились теперь. Вид у них был, несомненно, старый-престарый; наверно, уже много веков тому назад эти запертые воротца с темной деревянной створкой вели в какой-нибудь сонный монастырский двор, да и сегодня, наверно, вели туда же, хотя от монастыря ничего не осталось, и, вероятно, я их сотни раз видел, но просто не замечал, может быть, их покрасили заново, и потому они бросились мне в глаза. Во всяком случае, я остановился и внимательно поглядел туда, но не перешел на ту сторону, очень уж раскисла мокрая мостовая; я стоял на тротуаре и только глядел туда, было уже очень темно, и мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым. И, присмотревшись получше, я увидел над воротами светлую вывеску, на которой, так мне показалось, было что-то написано. Я напряг зрение и в конце концов, несмотря на грязь и на лужи, перешел на ту сторону. Тут я увидел над воротами, на серо-зеленой от старости стене, тускло освещенное пятно, по нему быстро бежали пестрые буквы,

они сразу же исчезали, возвращались и вновь рассеивались. Ну вот, подумал я, теперь и эту старую славную стену испоганили световой рекламой! Между тем я разобрал несколько промелькнувших слов, прочесть их было трудно, приходилось больше догадываться, буквы появлялись неравномерно, очень бледные и чахлые, и очень скоро гасли. Человек, собиравшийся сделать на этом дельце, умением не отличался, он был Степной волк, бедняга; почему он пустил свои буквы сюда, на эту стену, в самом темном закоулке старого города, в это время суток, да еще в дождь, когда здесь никто не ходит, и почему они такие летучие, такие воздушные, такие причудливые и неразборчивые? Но вот наконец-то мне удалось поймать несколько слов подряд, а именно:

Магический театр.[46]
Вход не для всех
— не для всех

---

[46] Примечания: 46
Магический театр — наиважнейший мотив романа, обозначающий некое волшебное зеркало души. Еще в повести Гессе «Клейн и Вагнер» (1919) сбежавшему чиновнику Клейну предстает в сновидении его внутренний мир в образе театра «Вагнер». В «Степном волке» театр — уже не сновидение, а некое воображаемое игровое пространство, в котором, как в театре, разыгрываются сцены внутренней жизни героя. По мысли Гессе, оказаться зрителем этого театра можно посредством «магии», которая подразумевает снятие противоречий между «внешним» и «внутренним», то есть превращение внутренних процессов душевной жизни героя в зрительно воспринимаемые события.

Я попытался отворить ворота, тяжелая старая ручка не поддавалась, как я ни нажимал на нее. Игра букв кончилась, она прекратилась внезапно, с грустью поняв свою тщетность. Я сделал несколько шагов назад, влез в самую грязь, буквы больше не появлялись, игра их угасла, я долго стоял в грязи и ждал, но напрасно.

И вдруг, когда я перестал ждать и уже вернулся на тротуар, передо мной, отражаясь в асфальте, мигнуло несколько букв.

Я прочел:

Только — для — сума — сшедших!

Я промочил ноги и замерз, но еще долго простоял в ожидании. Ничего больше. И когда я все еще стоял и думал о том, как красиво мелькают блуждающие огоньки пестрых букв на влажной стене и в черном блеске асфальта, ко мне вдруг вернулся отрывок из моих прежних мыслей — сравнение с золотым светящимся следом, который вдруг теряется вдалеке.

Я замерз и пошел дальше, мечтая об этом следе, тоскуя по воротам в волшебный театр, открытый только для сумасшедших. Тем временем я вышел в район рынка, где не было недостатка в вечерних развлечениях, на каждом шагу здесь висели афиши и зазывали надписи: женская хоровая ка-

пелла — варьете — кино — танцы, но все это было не для меня, это было для «всех», для нормальных людей, которые и в самом деле везде, как я видел, толпами валили в подъезды. И все же моя грусть немного рассеялась, до меня все-таки дошел привет из другого мира, пляска нескольких цветных букв играла в моей душе и задела сокровенные струны, золотой след опять замерцал.

Я отыскал допотопный кабачок, где со времен первого моего приезда в этот город, лет двадцать пять тому назад, ничего не изменилось, и хозяйка, еще прежняя, и многие из нынешних гостей сидели здесь и тогда на тех же местах, за теми же стаканами. Я зашел в это скромное заведение, здесь было убежище. Всего-навсего, правда, такое же, как на лестнице перед араукарией, здесь тоже я не находил ни родины, ни общества, а находил лишь, как зритель, тихое место перед сценой, где чужие люди играли чужие пьесы, но даже и это тихое место чего-то стоило: ни многолюдья, ни гама, ни музыки, лишь несколько спокойных обывателей за непокрытыми деревянными столиками (ни мрамора, ни эмалированного металла, ни плюша, ни меди), и перед каждым — вечерний напиток, хорошее, добротное вино. Может быть, эти несколько завсегдатаев со

сплошь знакомыми мне лицами были самые настоящие филистеры, и дома у них, в их филистерских квартирах, стояли скучные домашние алтари перед тупыми идолами довольства, а может быть, они были, как я, одинокими, сбившимися с пути забулдыгами, тихо и задумчиво топящими в вине свои обанкротившиеся идеалы, такими же степными волками и беднягами, как я; этого я не знал. Каждого из них тянула сюда какая-то ностальгия, какая-то разочарованность, какая-то потребность в замене, женатый искал здесь атмосферы своей холостяцкой поры, старый чиновник — отзвука своих студенческих лет, все они были довольно молчаливы, и все пили, предпочитая, как я, сидеть за бутылкой эльзасского, чем перед женской хоровой капеллой. Здесь я бросил якорь, здесь можно было продержаться час, а то и два. Пригубив эльзасского, я сразу почувствовал, что с самого утра еще ничего не ел.

Поразительно, чего только не может проглотить человек! Минут десять я читал какую-то газету, вводя в себя через глаза умишко какого-то безответственного субъекта, который пережевывает, а затем изрыгает чужие слова, смочив их слюной, но не переварив. Этого я съел целый столбец. А потом я сожрал изрядный кусок пе-

ченки, вырезанный из тела убитого теленка. Поразительно! Лучше всего было эльзасское. Я не любил, во всяком случае в обычные дни, диких, буйных вин, ударяющих в голову и знаменитых своим особым вкусом. Милее всего мне совершенно чистые, легкие, скромные местные вина без каких-либо особых названий, их можно пить помногу, и они так приятно отдают сельским простором, землей, небом и лесом. Стакан эльзасского и ломоть хорошего хлеба — вот лучшая трапеза. Но я уже съел порцию печенки — с необычным удовольствием, вообще-то я редко ем мясо, — и передо мной стоял второй стакан. Поразительно было и то, что где-то в зеленых долах здоровые, славные люди возделывают виноград и выдавливают из него сок, чтобы в разных местах земли, далеко-далеко от них, какие-то разочарованные, тихо спивающиеся обыватели и растерянные степные волки взбадривались и оживлялись, осушая стаканы.

Ну что ж, пускай это и было поразительно! Это было хорошо, это помогало, оживление пришло. Словесная каша газетной статьи вызвала у меня запоздалый, но полный облегчения смех, и вдруг я опять вспомнил забытую мелодию того пиано, она, сверкая, поднялась во мне, как маленький

мыльный пузырь, блеснула, уменьшение и ярко отразив целый мир, и снова мягко распалась. Если эта небесная маленькая мелодия тайно пустила корни в моей душе и вдруг снова расцвела во мне всеми драгоценными красками прекрасного своего цветка, разве я погиб окончательно? Пусть я заблудший зверь, не понимающий мира, который его окружает, но какой-то смысл в моей дурацкой жизни все-таки был, что-то во мне отвечало на зов из далеких высот, что-то улавливало его, и в мозгу моем громоздились тысячи картин.

Сонмы ангелов Джотто,[47] с маленького церковного свода в Падуе, а рядом шествовали Гамлет и Офелия в венке, прекрасные символы всех печалей и всех недоразумений мира; стоя в горящем шаре, трубил в рог воздухоплаватель Джаноццо[48] Аттила Шмедьцле,[49] нес в руке

---

[47] Примечания: 47

Имеются в виду хоры ангелов, изображенные на купольной части росписи капеллы дель Арена в Падуе, принадлежащей крупнейшему художнику Возрождения Джотто (1266–1337).

[48] Примечания: 48

Воздухоплаватель Джаноццо — персонаж произведения Жана Поля «Морская книга воздухоплавателя Джаноццо» (1801).

[49] Примечания: 49

Аттила Шмельцпе — персонаж сочинения Жана Поля «Странствие полевого проповедника Шмеяьцле во Флетц» (1809).

свою новую шляпу, Боробудур[50] вздымал в небо гору своих изваяний. Не беда, что все эти прекрасные образы живут в тысячах других сердец, имелись еще десятки тысяч других неизвестных картин и звуков, чьей родиной, чьим видящим оком и чутким ухом была единственно моя душа. Старая, обветшавшая больничная стена, в серо-зеленых пятнах, в щелях и ссадинах которой угадывались тысячи фресок, — кто дал ей ответ, кто впустил ее в свое сердце, кто любил ее, кто ощущал волшебство ее чахнущих красок? Старые книги монахов с мягко светящимися миниатюрами, книги немецких поэтов двухсотлетней и столетней давности, забытые их народом, все эти истрепанные, тронутые сыростью тома, печатные и рукописные страницы старинных музыкантов, плотные, желтоватые листы нотной бумаги с застывшими звуковыми виденьями — кто слышал их умные, их лукавые и тоскующие голоса, кто пронес в себе их дух и их волшебство через другую, охладевшую к ним эпоху? Кто вспоминал о том маленьком, упря-

[50] Примечания: 50

Боробудур — монументальный памятник буддистской архитектуры неподалеку от Джокьякарты, построенный в 800 г.

мом кипарисе на горе над Губбио[51] который был сломлен и расколот лавиной, но все-таки сохранил жизнь, и отрастил себе новую, пускай не столь густую вершину? Кто воздал должное рачительной хозяйке со второго этажа и ее вымытой до блеска араукарии? Кто читал ночью над Рейном облачные письмена ползущего тумана? Степной волк. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшийся смысл, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость Бога даже среди последнего сумбура и хаоса?

Я задержал в руке стакан, который хозяйка снова хотела наполнить, и поднялся. Довольно было вина. Золотой след блеснул, напомнив мне о вечном, о Моцарте,[52] о звездах. Я снова мог какое-то

---

[51] Примечания: 51

Губбио — местность в итальянской провинции Перудже в одной из долин умбрийских Апеннин.

[52] Примечания: 52

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), великий немецкий композитор, сыграл весьма большую роль в жизни и творчестве Гессе. Образ композитора представлялся ему воплощением самого духа музыки, свершением идеала «совершенного», «бессмертного» человека, примирившего в себе все противоречия, согласовавшего свою жизнь с «космической гармонией» мира. В романе он являлся для Гессе выразителем того умиротворенного состояния души, которое непередаваемо словами, но ясно ощутимо в «Божественном веселии» его бессмертной музыки. В «Дневнике 1920 года» Гессе писал: «Над этим днем мне хочется написать одно слово, вроде „мира“ или „солнца“, слово, полное магии и силы излучения, полное звука, полное изобилия… слово со

значением свершения, совершенного знания. Тут мне приходит на ум это слово, магический знак для этого дня, и я пишу его большими буквами на листе: МОЦАРТ. Это означает: мир имеет смысл, и смысл этот ощутим для нас в зеркале музыки».

время дышать, мог жить, смел существовать, мне ненужно было мучиться, бояться, стыдиться.

Моросящий дождь, разбрызгиваясь на холодном ветру, звякал о фонари и светился стеклянным блеском, когда я вышел на затихшую улицу. Куда теперь? Если бы в этот миг совершилось чудо и могло исполниться любое мое желание, передо мной сейчас оказался бы небольшой красивый зал в стиле Людовика Шестнадцатого, где несколько хороших музыкантов сыграли бы мне две-три пьесы Генделя и Моцарта. Сейчас это подошло бы к моему настроению, я смаковал бы эту холодную, благородную музыку, как боги — нектар. О, если бы сейчас у меня был друг, друг в какой-нибудь чердачной клетушке, и он сидел бы, задумавшись, при свече, а рядом лежала бы его скрипка! Я прокрался бы в ночную его тишину, бесшумно пробрался бы по коленчатым лестницам, я застал бы его врасплох, и мы отпраздновали бы несколько неземных часов беседой и музыкой! Когда-то, в былые годы, я часто наслаждался этим счастьем, но и оно со временем удалилось и ушло от меня, между теми днями и нынешними пролегли увядшие годы.

Я неторопливо направился к дому, подняв воротник пальто и упирая трость в мокрую мо-

стовую. Как бы медленно я ни шагал, все равно слишком скоро я сидел бы в своей мансарде, в этих мнимо родных стенах, которых не любил, но без которых не мог обойтись, ибо прошли времена, когда мне ничего не стоило прошататься зимой всю ночь под дождем. Что ж, так и быть, ничто, решил я, не испортит мне хорошего вечернего настроения, ни дождь, ни подагра, ни араукария, и пусть не было камерного оркестра и не предвиделось никакого одинокого друга со скрипкой, та дивная мелодия все-таки звучала во мне, и я мог, напевая вполголоса с ритмичными передышками, приблизительно ее воспроизвести. Я задумчиво шагал дальше. Нет, свет не сошелся клином ни на камерной музыке, ни на друге, и смешно было изводить себя бессильной тоской по теплу. Одиночество — это независимость, его я хотел и его добился за долгие годы. Оно было холодным, как то холодное тихое пространство, где вращаются звезды.

Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса. Я на минуту остановился; как ни сторонился я музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием.

Джаз был мне противен, но он был в десять раз милей мне, чем вся нынешняя академическая музыка, своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал и мои инстинкты, он дышал честной, наивной чувственностью.

Минуту я постоял, принюхиваясь к кровавой, пронзительной музыке, злобно и жадно вбирая в себя атмосферу наполненных ею залов. Одна половина этой музыки, лирическая, была слащава, приторна, насквозь сентиментальна, другая половина была неистова, своенравна, энергична, однако обе половины наивно и мирно соединялись и давали в итоге нечто цельное. Это была музыка гибели,[53] подобная музыка существовала, наверно, в Риме времен последних императоров. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой, она была свинством — но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой. А

[53] Примечания: 53

Совершенную классическую музыку Гессе рассматривал как магическое средство самоусовершенствования человека и приближения его к центру, таинству бытия. В джазовой музыке, по мнению писателя, на передний план выдвинута чувственная, сентиментальная сторона и тем самым нарушена соразмерность, присущая классической, то есть «настоящей» музыке, которую Гессе ограничивает тремя столетиями (1500–1800). Поэтому такая музыка рассматривается им как признак упадка эпохи и именуется «музыкой гибели».

музыка эта имела преимущество большой откровенности, простодушно-милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе, оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости. Станет ли Европа тоже такой? Идет ли она уже к этому? Не были ли мы, старые знатоки и почитатели прежней Европы, прежней настоящей музыки, прежней настоящей поэзии, не были ли мы просто глупым меньшинством заумных невротиков, которых завтра забудут и высмеют? Не было ли то, что мы называем «культурой», духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком, не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и живым? Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным?

Старый квартал города принял меня в свои стены, умершая, нереальная, стояла среди серой мглы маленькая церковь. Вдруг я вспомнил вечернее происшествие, загадочные сводчатые воротца, загадочную вывеску с глумливо плясавшими буквами. Какие там были надписи? «Вход

не для всех». И еще: «Только для сумасшедших». Я испытующе взглянул на старую стену, тайно желая, чтобы волшебство началось снова, чтобы надпись пригласила меня, сумасшедшего, а воротца пропустили меня. Там, может быть, находилось то, чего я желал, там, может быть, играли мою музыку?

Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема. Я с улыбкой пошел дальше, приветливо кивнув каменной кладке. «Спи спокойно, стена, я не стану тебя будить. Придет время, и они снесут тебя или облепят алчными призывами фирм, но ты еще здесь, ты еще прекрасна, тиха и мила мне».

Вынырнув из черной пропасти переулка вплотную передо мной, меня испугал какой-то прохожий, какой-то одинокий полуночник с усталой походкой, в кепке и синей блузе. На плече он нес шест с плакатом, а у живота, на ремне, лоток, какие бывают у ярмарочных разносчиков. Устало шагая передо мной, он не оборачивался ко мне, а то бы я поздоровался с ним и угостил его сигарой. При свете ближайшего фонаря я попытался прочесть его штандарт, его красный плакат на шесте,

но тот качался, мне ничего не удалось разобрать. Тогда я окликнул его и попросил показать мне плакат. Он остановился и подержал свой шест немного прямее, и я смог прочесть пляшущие, шатающиеся буквы:

Анархистский вечерний аттракцион!

Магический театр!

Вход не для вс…

— Вас-то я и искал, — воскликнул я радостно. — Что это у вас за аттракцион? Где он будет? Когда?

Он уже снова шагал.

— Не для всех, — сказал он равнодушно, сонным голосом, продолжая шагать. С него было довольно, ему хотелось домой.

— Постойте, — крикнул я и побежал за ним. — Что там у вас в ящике? Я готов что-нибудь купить.

Не останавливаясь, он машинально полез в свой ящик, извлек оттуда какую-то книжечку и протянул мне. Я быстро схватил ее и спрятал. Пока я расстегивал пальто, чтобы достать деньги, он свернул в какую-то подворотню, закрыл за собой ворота и исчез. Из двора донеслись его тяжелые шаги, сперва по булыжнику, потом по деревянной лестнице, а потом ничего не было слышно. И вдруг я тоже очень устал, и почувство-

вал, что уже очень поздно и что хорошо бы сейчас вернуться домой. Я зашагал быстрее и вскоре, пройдя через спящую окраину, вышел в свой район, где среди парка, разбитого на месте старого городского вала, в опрятных доходных домиках за газончиками и плющом, живут чиновники и мелкие рантье. Мимо плюща, мимо газона, мимо маленькой елочки я прошел к входной двери, нашел замочную скважину, нашел кнопку освещения, прокрался мимо стеклянных дверей, мимо полированных шкафов и горшков с растеньями и отпер свою комнату, свою маленькую мнимую родину, где меня ждали кресло и печка, чернильница и этюдник, Новалис и Достоевский, ждали так, как ждут других, правильных людей, когда те приходят домой, мать или жена, дети, служанки, собаки, кошки.

Когда я снимал мокрое пальто, та книжечка опять попалась мне на глаза. Я вынул ее, это была тонкая, скверно напечатанная на скверной бумаге ярмарочная брошюрка, типа книжечек «Родившимся в январе» или «Как за восемь дней помолодеть на двадцать лет?».

Но, устроившись в кресле и надев очки, я изумленно, с мелькнувшим вдруг чувством, что это сама судьба, прочел на обложке своей книжонки

ее заглавие: «Трактат о Степном волке. Не для всех».

И вот каково было содержание брошюрки, которую я, со все возрастающим интересом, прочитал одним духом:

ТРАКТАТ О СТЕПНОМ ВОЛКЕ

Только для сумасшедших

Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но по сути он был степным волком.[54]

Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умен. Но не научился он одному: быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось, он был человек недовольный. Получилось так, вероятно, потому, что в глубине души он всегда знал

---

[54] Примечания: 54

Здесь Гессе прибегает к психологическому феномену расщепления личности, развивая тем самым «мотив двойника», один из излюбленных мотивов немецкого романтизма, получивший дальнейшее развитие в творчестве Достоевского. Образ романтического художника, находящегося в непримиримой оппозиции к действительности и в своем неприятии упорядоченного, уютного и благопристойного бюргерского мира спасающегося в крайности распутной или монашеской жизни, со всей очевидностью предвосхищает образ Гарри Галлера с его душевным смятением и его расщеплением на волка и человека.

(или думал, что знает), что по сути он вовсе не человек, а волк из степей. Умным людям вольно спорить о том, был ли он действительно волком, был ли он когда-нибудь, возможно еще до своего рождения, превращен какими-то чарами в человека из волка или родился человеком, но был наделен и одержим душою степного волка, или ж эта убежденность в том, что по сути он волк, была лишь плодом его воображения или болезни. Ведь можно допустить, например, что в детстве этот человек был дик, необуздан и беспорядочен, что его воспитатели пытались убить в нем зверя и тем самым заставили его вообразить и поверить, что на самом деле он зверь, только скрытый тонким налетом воспитания и человечности. Об этом можно долго и занимательно рассуждать, можно даже писать книги на эту тему; но Степному волку такие рассуждения ничего не дали бы, ему было решительно все равно, что именно пробудило в нем волка — колдовство ли, побои или его собственная фантазия. Что бы ни думали об этом другие и что бы он сам об этом ни думал, все это не имело для него никакого значения, потому что вытравить волка из него не могло.

Итак, у Степного волка было две природы,

человеческая и волчья; такова была его судьба, судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи, но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей человек и лиса, человек и рыба жили бок о бок, не ущемляя друг друга, они даже помогали друг другу, и люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку. Это ведь общеизвестно. А с Гарри дело обстояло иначе, человек и волк в нем не уживались и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого, а когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Что ж, у каждого своя доля, и легкой ни у кого нет.

Хотя наш Степной волк чувствовал себя то волком, то человеком, как все, в ком смешаны два начала, особенность его заключалась в том, что, когда он был волком, человек в нем всегда занимал выжидательную позицию наблюдателя и судьи, — а во времена, когда он был человеком, точно так же поступал волк. Например, если

Гарри, поскольку он был человеком, осеняла прекрасная мысль, если он испытывал тонкие, благородные чувства или совершал так называемое доброе дело, то волк в нем сразу же скалил зубы, смеялся и с кровавой издевкой показывал ему, до чего смешон, до чего не к лицу весь этот благородный спектакль степному зверю, волку, который ведь отлично знает, что ему по душе, а именно — рыскать в одиночестве по степям, иногда лакать кровь или гнаться за волчицей, — и любой человеческий поступок, увиденный глазами волка, делался тогда ужасно смешным и нелепым, глупым и суетным. Но в точности то же самое случалось и тогда, когда Гарри чувствовал себя волком и вел себя как волк, когда он показывал другим зубы, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам, к их испорченным нравам. Тогда в нем настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки.

Вот как обстояло дело со Степным волком, и можно представить себе, что жизнь у Гарри была не очень-то приятная и счастливая. Но это не значит, что он был несчастлив в какой-то

особенной мере (хотя ему самому так казалось, ведь каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими). Так не следует говорить ни об одном человеке. И тот, в ком нет волка, не обязательно счастлив поэтому. Да и у самой несчастливой жизни есть свои светлые часы и свои цветики счастья среди песка и камней. Так было и со Степным волком. Большей частью он бывал очень несчастлив, этого нельзя отрицать, и делал несчастными других — когда он любил их, а они его. Ведь все, кому случалось его полюбить, видели лишь одну его сторону. Многие любили его как тонкого, умного и самобытного человека и потом, когда вдруг обнаруживали в нем волка, ужасались и разочаровывались. А не обнаружить они не могли, ибо Гарри, как всякий, хотел, чтобы его любили всего целиком, и потому не мог скрыть, спрятать за ложью волка именно от тех, чьей любовью он дорожил. Но были и такие, которые любили в нем именно волка, именно свободу, дикость, опасную неукротимость, и их он опять-таки страшно разочаровывал и огорчал, когда вдруг оказывалось, что этот дикий, злой волк — еще и человек, еще и тоскует по доброте и нежности, еще и хочет слушать Моцарта, читать стихи и

иметь человеческие идеалы. Именно эти вторые испытывали обычно особенное разочарование и особенную злость, и поэтому Степной волк вносил собственную двойственность и раздвоенность также и во все чужие судьбы, которые он задевал.

Но кто полагает, что знает Степного волка и способен представить себе его жалкую, растерзанную противоречиями жизнь, тот ошибается, он знает еще далеко не все. Он не знает, что (ведь нет правил без исключений, и один грешник при случае милей Богу, чем девяносто девять праведников), — что у Гарри тоже бывали счастливые исключения, что в нем иногда волк, а иногда человек дышал, думал и чувствовал в полную свою силу, что порой даже, в очень редкие часы, они заключали мир и жили в добром согласье, причем не просто один спал, когда другой бодрствовал, а оба поддерживали друг друга и каждый делал другого вдвое сильней. Иногда и в жизни Гарри, как везде в мире, все привычное, будничное, знакомое и регулярное имело, казалось, единственной целью передохнуть на секунду, прерваться и уступить место чему-то необычайному, чуду, благодати. А облегчали, а смягчали ли эти короткие, редкие часы счастья лихую долю Степного волка, урав-

новешивались ли на круг страданье и счастье, или короткое, но сильное счастье тех немногих часов, чего доброго, даже перекрывало всю совокупность страданий, — это уже другой вопрос, над которым вольно размышлять людям праздным. Размышлял над ним часто и Степной волк, и это были его праздные и бесполезные дни.

Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много, к этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри. И эти люди, чья жизнь весьма беспокойна, ощущают порой, в свои редкие мгновения счастья, такую силу, такую невыразимую красоту, пена мгновенного счастья вздымается порой настолько высоко и ослепительно над морем страданья, что лучи от этой короткой вспышки счастья доходят и до других и их околдовывают. Так, драгоценной летучей пеной над морем страданья, возникают все те произведения искусства, где один страдающий человек на час поднялся над собственной судьбой

до того высоко, что его счастье сияет, как звезда, и всем, кто видит это сиянье, кажется чем-то вечным, кажется их собственной мечтой о счастье. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни, в сущности, вообще нет, то есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками или учителями, нет, жизнь их — это вечное, мучительное движенье и волненье, она несчастна, она истерзана и растерзана, она ужасна и бессмысленна, если не считать смыслом как раз те редкие события, деяния, мысли, творения, которые вспыхивают над хаосом такой жизни. В среде людей этого типа возникла опасная и страшная мысль, что, может быть, вся жизнь человеческая — просто злая ошибка, выкидыш праматери, дикий, ужасающе неудачный эксперимент природы. Но в их же среде возникла и другая мысль — что человек, может быть, не просто животное, наделенное известным разумом, а дитя богов, которому суждено бессмертие.

У каждого типа людей есть свои признаки, свои отличительные черты, у каждого — свои доб-

родетели и пороки, у каждого — свой смертный грех. Один из признаков Степного волка состоял в том, что он был человек вечерний. Утро было для него скверным временем суток, которого он боялся и которое никогда не приносило ему ничего хорошего. Ни разу в жизни он не был утром по-настоящему весел, ни разу не сделал в предполуденные часы доброго дела, по утрам ему никогда не приходило в голову хороших мыслей, ни разу не доставил он утром радость себе и другим. Лишь во второй половине дня он понемногу теплел и оживлялся и лишь к вечеру, в хорошие свои дни, бывал плодовит, деятелен, а иногда горяч и радостен. С этим и была связана его потребность в одиночестве и независимости. Никто никогда не испытывал более страстной потребности в одиночестве, чем он. В юности, когда он был еще беден и с трудом зарабатывал себе на хлеб, он предпочитал голодать и ходить в лохмотьях, но зато иметь хоть чуточку независимости. Он никогда не продавал себя ни за деньги, ни за благополучие, ни женщинам, ни сильным мира сего и, чтобы сохранить свою свободу, сотни раз отвергал и сметал то, в чем все видели его счастье и выгоду. Ничто на свете не было ему ненавистнее и страшнее, чем мысль, что он должен занимать

какую-то должность, как-то распределять день и год, подчиняться другим. Контора, канцелярия, служебное помещение были ему страшны, как смерть, и самым ужасным, что могло ему присниться, был плен казармы. От всего этого он умел уклоняться, часто ценой больших жертв. Тут сказывалась его сила и достоинство, тут он был несгибаем и неподкупен, тут его нрав был тверд и прямолинеен. Однако с этим достоинством были опять-таки теснейшим образом связаны его страданья и судьба. С ним происходило то, что происходит со всеми: то, чего он искал и к чему стремился самыми глубокими порывами своего естества, — это выпадало ему на долю, но в слишком большом количестве, которое уже не идет людям на благо. Сначала это было его мечтой и счастьем, потом стало его горькой судьбой. Властолюбец погибает от власти, сребролюбец — от денег, раб — от рабства, искатель наслаждений — от наслаждений. Так и Степной волк погибал от своей независимости. Он достиг своей цели, он становился все независимее, никто ему ничего не мог приказать, ни к кому он не должен был приспосабливаться, как ему вести себя, определял только сам. Ведь любой сильный человек непременно достигает того, чего велит

ему искать настоящий порыв его естества. Но среди достигнутой свободы Гарри вдруг ощутил, что мир каким-то зловещим образом оставил его в покое, что ему, Гарри, больше дела нет до людей и даже до самого себя, что он медленно задыхается во все более разреженном воздухе одиночества и изоляции. Оказалось, что быть одному и быть независимым — это уже не его желание, не его цель, а его жребий, его участь, что волшебное желание задумано и отмене не подлежит, что он ничего уже не поправит, как бы ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общенью и единенью: теперь его оставили одного. При этом он вовсе не вызывал ненависти и не был противен людям. Напротив, у него было очень много друзей. Многим он нравился. Но находил он только симпатию и приветливость, его приглашали, ему дарили подарки, писали милые письма, но сближаться с ним никто не сближался, единенья не возникало нигде, никто не желал и не был способен делить с ним его жизнь. Его окружал теперь воздух одиноких, та тихая атмосфера, то ускользание среды, та неспособность к контактам, против которых бессильна и самая страстная воля. Такова была одна из важных отличительных черт его жизни.

Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой. Среди этих последних много даже таких, которые становятся самоубийцами лишь, так сказать, случайно, ибо самоубийство не обязательно вытекает из их внутренних задатков. Среди людей, не являющихся ярко выраженными личностями, людей неяркой судьбы, среди дюжинных и стадных людей многие хоть и кончают с собой, но по всему своему характеру и складу отнюдь не принадлежат к типу самоубийц, и опять-таки очень многие, пожалуй, большинство из тех, кто по сути своей относится к самоубийцам, на самом деле никогда не накладывают на себя руки. «Самоубийца» — а Гарри был им — не обязательно должен жить в особенно тесном общенье со смертью, так можно жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я» — не важно, по праву или не по праву, — как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порожденье природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной

внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них — наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения, заметного уже в ранней юности и сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди «самоубийц» встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем «самоубийцами» и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве. Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством и достаточным чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на антропологию, на психологию, то об этих фактах знали бы все.

Сказанное нами о самоубийцах касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит иначе и гораздо яснее, ибо при таком подходе к нему «самоубийцы»

предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к Богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко прониклись сознанием его греховности. Но для нас они все же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.

Если всякая сила может (а иногда и должна) обернуться слабостью, то типичный самоубийца может, наоборот, превратить свою кажущуюся слабость в опору и силу, да и делает это куда как часто. Пример тому и Гарри, Степной волк. Как и для тысяч ему подобных, мысль, что он волен умереть в любую минуту, была для него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нем желание избавиться от них с помощью смерти. Но постепенно он выработал из этой своей склонности философию,

прямо-таки полезную для жизни. Интимное знакомство с мыслью, что этот запасной выход всегда открыт, давало ему силы, наделяло его любопытством к болям и невзгодам, и, когда ему приходилось весьма туго, он порой думал с жестокой радостью, с каким-то злорадством: «Любопытно поглядеть, что способен человек вынести! Ведь когда терпенье дойдет до предела, мне стоит только отворить дверь, и меня поминай как звали». Есть очень много самоубийц, которым эта мысль придает необычайную силу.

С другой стороны, всем самоубийцам знакома борьба с соблазном покончить самоубийством. Каким-то уголком души каждый знает, что самоубийство хоть и выход, но все-таки немного жалкий и незаконный запасной выход, что, в сущности, красивей и благородней быть сраженным самой жизнью, чем своей же рукой. Это знание, эта неспокойная совесть, имеющая тот же источник, что и нечистая совесть онанистов, толкает большинство «самоубийц» на постоянную борьбу с их соблазном. Они борются, как борется клептоман со своим пороком. Степному волку тоже была знакома эта борьба, он вел ее, многократно меняя оружие. В конце концов, дожив лет до сорока семи, он напал на одну

счастливую и не лишенную юмора мысль, которая часто доставляла ему радость. Он решил, что его пятидесятый день рожденья будет тем днем, когда он позволит себе покончить с собой.

В этот день, так он положил себе, ему будет вольно воспользоваться или не воспользоваться запасным выходом, в зависимости от настроения. И пусть с ним случится что угодно, пусть он заболеет, обеднеет, пусть на него обрушатся страданья и горе — все ограничено сроком, все может длиться максимум эти несколько лет, месяцев, дней, а их число с каждым днем становится меньше! И правда, теперь он куда легче переносил всякие неприятности, которые раньше мучили бы его сильнее и дольше, а то бы и подкосили под корень. Когда ему почему-либо приходилось особенно скверно, когда к пустоте, одиночеству и дикости его жизни прибавлялись еще какие-нибудь особые боли или потери, он мог сказать этим болям: «Погодите, еще два года, и я с вами совладаю!» И потом любовно представлял себе, как утром, в день его пятидесятилетия, придут письма и поздравленья, а он, уверенный в своей бритве, простится со всеми болями и закроет за собой дверь. Хороши тогда будут ломота в костях, грусть, головная боль и рези в желудке.

Остается еще объяснить феномен Степного волка, и, в частности, его своеобразное отношение к мещанству, сведя оба явления к их основным законам. Возьмем за исходную точку, поскольку это напрашивается само собой, как раз его отношение к «мещанской» сфере!

По собственному его представленью, Степной волк пребывал совершенно вне мещанского мира, поскольку не вел семейной жизни и не знал социального честолюбия. Он чувствовал себя только одиночкой, то странным нелюдимом, больным отшельником, то из ряда вон выходящей личностью с задатками гения, стоящей выше маленьких норм заурядной жизни. Он сознательно презирал мещанина и гордился тем, что таковым не является. И все же в некоторых отношениях он жил вполне по-мещански: имел текущий счет в банке и помогал бедным родственникам, одевался хоть и небрежно, но прилично и неброско, старался ладить с полицией, налоговым управлением и прочими властями. А кроме того, какая-то сильная, тайная страсть постоянно влекла его к мещанскому мирку, к тихим, приличным семейным домам с их опрятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей их скромной атмосферой порядка

и благопристойности. Ему нравилось иметь свои маленькие пороки и причуды, чувствовать себя посторонним в мещанской среде, каким-то отшельником или гением, но он никогда не жил и не селился в тех, так сказать, провинциях жизни, где мещанства уже не существует. Он не чувствовал себя свободно ни в среде людей исключительных, пускающих в ход силу, ни среди преступников или бесправных и не покидал провинции мещан, с нормами и духом которой всегда был связан, даже если эта связь и выражалась в противопоставленье и бунте. Кроме того, он вырос в атмосфере мелкобуржуазного воспитания и вынес оттуда множество представлений и шаблонов. Теоретически он ничего не имел против проституции, но лично был неспособен принять проститутку всерьез и действительно отнестись к ней как к равной. Политического преступника, бунтаря или духовного совратителя он мог полюбить как брата, но для какого-нибудь вора, взломщика, убийцы, садиста у него не нашлось бы ничего, кроме довольно-таки мещанской жалости.

Таким образом, одной половиной своего естества он всегда признавал и утверждал то, что другой половиной оспаривал и отрицал. Выросши в ухоженном мещанском доме, в строгом со-

блюдении форм и обычаев, он частью своей души навсегда остался привязан к порядкам этого мира, хотя давно уже обособился в такой мере, которая внутри мещанства немыслима, и давно уже освободился от сути мещанского идеала и мещанской веры.

«Мещанство» же, всегда наличное людское состояние, есть не что иное, как попытка найти равновесие, как стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами человеческого поведения. Если взять для примера какие-нибудь из этих полюсов, скажем, противоположность между святым и развратником, то наше уподобление сразу станет понятно. У человека есть возможность целиком отдаться духовной жизни, приблизиться к божественному началу, к идеалу святого. Есть у него, наоборот, и возможность целиком отдаться своим инстинктам, своим чувственным желаньям и направить все свои усилия на получение мгновенной радости. Один путь ведет к святому, к мученику духа, к самоотречению во имя Бога. Другой путь ведет к развратнику, к мученику инстинктов, к самоотречению во имя тлена. Так вот, мещанин пытается жить между обоими путями, в умеренной середине.

Он никогда не отречется от себя, не отдастся ни опьяненью, ни аскетизму, никогда не станет мучеником, никогда не согласится со своей гибелью, — напротив, его идеал — не самоотречение, а самосохранение, он не стремится ни к святости, ни к ее противоположности, безоговорочность, абсолютность ему нестерпимы, он хочет служить Богу, но хочет служить и опьяненью, он хочет быть добродетельным, но хочет и пожить на земле в свое удовольствие. Короче говоря, он пытается осесть посредине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз, и это ему удается, хотя и ценой той полноты жизни и чувств, которую дает стремление к безоговорочности, абсолютности, крайности. Жить полной жизнью можно лишь ценой своего «я». А мещанин ничего не ставит выше своего «я» (очень, правда, недоразвитого). Ценой полноты, стало быть, он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости Богом спокойную совесть, вместо наслаждения — удовольствие, вместо свободы — удобство, вместо смертельного зноя — приятную температуру. Поэтому мещанин по сути своей — существо со слабым импульсом к жизни, трусливое, боящееся хоть сколько-нибудь посту-

питься своим «я», легко управляемое. Потому-то он и поставил на место власти — большинство, на место силы — закон, на место ответственности — процедуру голосования.

Ясно, что это слабое и трусливое существо, как бы многочисленны ни были его особи, не может уцелеть, что из-за своих качеств оно не должно играть в мире иной роли, чем роль стада ягнят среди рыщущих волков. И все же мы видим, что хотя во времена, когда правят натуры сильные, мещанина сразу же припирают к стене, он тем не менее никогда не погибает, а порой даже вроде бы и владычествует над миром. Как же так? Ни многочисленность его стада, ни добродетель, ни здравый смысл, ни организация не в состоянии, казалось бы, спасти его от гибели. Тому, чьи жизненные силы с самого начала подорваны, не продлит жизнь никакое лекарство на свете. И все-таки мещанство живет, оно могуче, оно процветает. Почему?

Ответ: благодаря степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие расплывчатости и растяжимости своих

идеалов, включает в себя. Внутри мещанства всегда живет множество сильных и диких натур. Наш Степной волк Гарри — характерный пример тому. Хотя развитие в нем индивидуальности, личности ушло далеко за доступный мещанину предел, хотя блаженство самосозерцания знакомо ему не меньше, чем мрачная радость ненависти и самоненавистничества, хотя он презирает закон, добродетель и здравый смысл, он все-таки пленник мещанства и вырваться из плена не может. Таким образом, настоящее мещанство окружено, как ядро, широкими слоями человечества, тысячами жизней и умов, хоть и переросших мещанство, хоть и призванных не признавать оговорок, воспарить к абсолюту, но привязанных к мещанской сфере инфантильными чувствами, но ощутимо зараженных подорванностью ее жизненной силы, а потому как-то закосневших в мещанстве, как-то подчиненных, чем-то обязанных и в чем-то покорных ему. Ибо мещанство придерживается принципа, противоположного принципу великих, — «Кто не против меня, тот за меня».

Если рассмотреть с этой точки зрения душу Степного волка, то он предстает человеком, которому уже как индивидуальности, как яркой

личности написано на роду быть не-мещанином — ведь всякая яркая индивидуальность оборачивается против собственного «я» и склоняется к его разрушению. Мы видим, что он наделен одинаково сильными импульсами и к тому, чтобы стать святым, и к тому, чтобы стать развратником, но что из-за какой-то слабости или косности не смог махнуть в дикие просторы вселенной, не преодолел притяжения тяжелой материнской звезды мещанства. Таково его положение в мироздании, такова его скованность. Большинство интеллигентов, подавляющая часть художников принадлежит к этому же типу. Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить. Трагизм этим бесчисленным людям не по плечу, по плечу им, однако, довольно-таки злосчастная доля, в аду которой доваривaются до готовности и начинают приносить плоды их таланты. Те немногие, что вырываются, достигают абсолюта и достославно гибнут, они трагичны, число их мало. Другим же, не вырвавшимся, чьи таланты ме-

щанство часто высоко чтит, открыто третье царство, призрачный, но суверенный мир — юмор. Беспокойные степные волки, эти вечные горькие страдальцы, которым не дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чувствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не могут, — у них, если их дух закалился и стал гибок в страданьях, есть примирительный выход в юмор.[55] *Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен его понять. В его призрачной сфере осуществляется запутанно-противоречивый идеал всех степных волков: здесь можно не только одобрить и святого, и развратника одновременно, сблизить полюса, но еще и распространить это одобрение на мещанина. Ведь человек, одержимый Богом, вполне может одобрить преступника — и наоборот, но оба они, да и все люди абсолютных, безоговорочных крайностей, не могут одобрить нейтральную, вялую середину, мещанство, один*

---

[55] Примечания: 55

Гессевская теория юмора обнаруживает несомненное сходство с понятием «романтической иронии» немецких романтиков и особенно с отдельными положениями эстетики Жана Поля. Гессе рассматривает юмор как «воздушный мост, перекинутый через пропасть между идеалом и действительностью», как одно из средств примирения противоположностей.

только юмор, великолепное изобретение тех, чей максимализм скован, кто почти трагичен, кто несчастен и при этом очень одарен, один только юмор (самое, может быть, самобытное и гениальное достижение человечества) совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, «как бы не обладая», отказываться, словно это никакой не отказ, — выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования высшей житейской мудрости способен один лишь юмор.

И если бы только Степному волку, у которого есть к тому и способность, и склонность, удалось выпарить, удалось выгнать из себя этот волшебный напиток, он, Степной волк, был бы спасен. До такой удачи ему еще далеко. Но возможность, но надежда есть. Кто его любит, кто участлив к нему, пусть пожелает ему этого спасения. Тогда он, правда, застыл бы в мещанской сфере, но его страдания были бы терпимы, стали бы плодотворны. Его отношение к мещанскому миру и в любви и в ненависти потеряло бы сентиментальность, и его связанность с этим миром перестала бы постоянно мучить его, как что-то

позорное.

Чтобы достичь этого или наконец, может быть, отважиться все-таки на прыжок в космос, такому Степному волку следовало бы однажды устроить очную ставку с самим собой, глубоко заглянуть в хаос собственной души и полностью осознать самого себя. Тогда его сомнительное существование открылось бы ему во всей своей неизменности, и впредь он уже не смог бы то и дело убегать из ада своих инстинктов к сентиментально-философским утешениям, а от них снова в слепую и пьяную одурь своего волчьего естества. Человек и волк вынуждены были бы познать друг друга без фальсифицирующих масок эмоций, вынуждены были бы прямо посмотреть друг другу в глаза. Тут они либо взорвались бы и навсегда разошлись, либо у них появился бы юмор и они вступили бы в брак по расчету.

Не исключено, что когда-нибудь Гарри представится эта последняя возможность. Не исключено, что когда-нибудь он сумеет познать себя

— получив ли одно из наших маленьких зеркал,[56] встретившись ли с бессмертными или, может быть, найдя в одном из наших магических театров то, что необходимо ему для освобождения его одичавшей души. Тысячи таких возможностей его ждут, его судьба непреодолимо влечет их, все эти аутсайдеры мещанства живут в атмосфере таких магических возможностей. Достаточно пустяка, чтобы ударила молния.

И все это хорошо известно Степному волку, даже если ему никогда не попадется на глаза этот контур его внутренней биографии. Он чувствует свое положение в мироздании, он чувствует и знает бессмертных,[57] он чувствует возможность встречи с собой и боится ее, он знает о существовании зеркала, взглянуть в которое ему, увы, так надо бы, взглянуть в которое он так смертельно боится.

---

[56] Примечания: 56

«Зеркало» — один из важнейших символов романа — связано с образами «стекла» и «воды», также обладающими способностью отражения. Поэтому зеркало в «Степном волке» — это волшебное, магическое зеркало, средство самопознания, отражающее сокрытую от сознания область души. Оно есть также средство постижения множества, скрывающегося за видимым единством внешнего проявления личности.

[57] Примечания: 57

«Бессмертные» представлены в дальнейшем в образах Гете и Моцарта и являются некоей проекцией искомой целостности души Гарри Галлера.

В заключение нашего этюда остается развеять одну последнюю фикцию, один принципиальный обман. Всякие «объяснения», всякая психология, всякие попытки понимания нуждаются ведь во вспомогательных средствах, теориях, мифологиях, лжи; и порядочный автор не преминет развеять по возможности эту ложь в конце изложения. Если я говорю «вверху» или «внизу», то это ведь уже утверждение, которое надо пояснить, ибо верх и низ существуют только в мышлении, только в абстракции. Мир сам по себе не знает ни верха, ни низа.

Короче говоря, «степной волк» — тоже фикция. Если Гарри чувствует себя человековолком и полагает, что состоит из двух враждебных и противоположных натур, то это всего лишь упрощающая мифология. Гарри никакой не человековолк, и если мы как бы приняли на веру его ложь, которую он сам выдумал и в которую верит, если мы и в самом деле пытались рассматривать и толковать его как двойную натуру, как степного волка, то мы, в надежде на то, что нас легче будет понять, воспользовались обманом, который теперь надо постараться поправить.

Разделение на волка и человека, на инстинкт и дух, предпринимаемое Гарри для большей понят-

ности его судьбы, — это очень грубое упрощение, это насилие над действительностью ради доходчивого, но неверного объяснения противоречий, обнаруженных в себе этим человеком и кажущихся ему источником его немалых страданий. Гарри обнаруживает в себе «человека», то есть мир мыслей, чувств, культуры, укрощенной и утонченной природы, но рядом он обнаруживает еще и «волка», то есть темный мир инстинктов, дикости, жестокости, неутонченной, грубой природы. Несмотря на это, с виду такое ясное разделение своего естества на две взаимовраждебных сферы, он нет-нет да замечал, что волк и человек какое-то время, в какие-то счастливые мгновенья, уживались друг с другом. Если бы Гарри попытался определить степень участия человека и степень участия волка в каждом отдельном моменте его, Гарри, жизни, в каждом его поступке, в каждом его ощущении, то он сразу стал бы в тупик и вся его красивая «волчья» теория полетела бы прахом. Ибо ни один человек, даже первобытный негр, даже идиот, не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно было объяснить как сумму двух или трех основных элементов; а уж объяснять столь разностороннего человека, как Гарри, наивным

делением на волка и человека — это и вовсе безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух натур, а из сотен, из тысяч. Его жизнь (как жизнь каждого человека) вершится не между двумя только полюсами, такими, как инстинкт и Дух или святой и развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей.

Нас не должно удивлять, что такой сведущий и умный человек, как Гарри, считает себя «степным волком», сводя богатый и сложный строй своей жизни к столь простой, столь грубой, столь примитивной формуле. Способностью думать человек обладает лишь в небольшой мере, и даже самый духовный и самый образованный человек видит мир и себя самого всегда сквозь очки очень наивных, упрощающих, лживых формул — и особенно себя самого. Ведь это, видимо, врожденная потребность каждого человека, срабатывающая совершенно непроизвольно, — представлять себя самого неким единством. Какие бы частые и какие бы тяжелые удары ни терпела эта иллюзия, она оживает снова и снова. Судья, который, сидя напротив убийцы и глядя ему в глаза, в какой-то миг слышит, как тот говорит его собственным (судьи) голосом, в ка-

кой-то миг находит в себе все порывы, задатки, возможности убийцы, — он в следующий же миг обретает цельность, становится снова судьей, уходит в панцирь своего мнимого «я», выполняет свой долг и приговаривает убийцу к смерти. И если в особенно одаренных и тонко организованных человеческих душах забрезжит чувство их многосложности, если они, как всякий гений, прорвутся сквозь иллюзию единства личности, ощутят свою неоднозначность, ощутят себя клубком из множества «я», то стоит лишь им заикнуться об этом, как большинство их запрет, призовет на помощь науку, констатирует шизофрению и защитит человечество от необходимости внимать голосу правды из уст этих несчастных. Однако зачем здесь тратить слова, зачем говорить вещи, которые всем, кто думает, известны и так, но говорить которые не принято? Значит, если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я» хотя бы до двойственности, то он уже почти гений, во всяком случае редкое и интересное исключение. В действительности же любое «я», даже самое наивное, — это не единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей. А что каж-

дый в отдельности стремится смотреть на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом, имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный всякому человеку (даже самого высокого полета), есть, по-видимому, такая же необходимость, такое же требование жизни, как дыханье и пища.

Обман этот основан на простой метафоре. Тело каждого человека цельно, душа — нет. Поэзия тоже, даже самая изощренная, по традиции всегда оперирует мнимоцельными, мнимоединими персонажами. В поэзии, существовавшей до сих пор, специалисты и знатоки ценят выше всего драму, и по праву, ибо она дает (или могла бы дать) наибольшую возможность изобразить «я» как некое множество — если бы не грубая подтасовка, выдающая каждый отдельный персонаж драмы за нечто единое, поскольку он пребывает в непреложно уникальной, цельной и замкнутой телесной оболочке. Выше всего даже ценит наивная эстетика так называемую драму характеров, где каждое лицо выступает как некая четко обозначенная и обособленная цельность. Лишь смутно и постепенно возникает кое у кого догадка, что все это, может быть, дешевая, поверхностная эстетика, что мы заблуждаем-

ся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о прекрасном, понятия античности, которая, отправляясь всегда от зримого тела, собственно, и изобрела фикцию «я», фикцию лица. В поэзии Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса — не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений.[58] И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обнаружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя). Кто посмотрит так, скажем, на «Фауста», для того Фауст, Мефистофель, Вагнер и все другие составят некое единство, некое сверхлицо, и лишь в этом высшем единстве, не в отдельных персонажах, есть какой-то намек на истинную сущность души. Когда Фауст произносит слова,

---

[58] Примечания: 58

Гессе имеет в виду многочисленные «аватары» — перевоплощения богов, мудрецов и демонов в эпической литературе Древней Индии.

знаменитые у школьных учителей и вызывающие трепет у восхищенного обывателя: «Ах, две души в моей живут груди!», он, Фауст, забывает Мефистофеля и множество других душ, которые тоже пребывают в его душе. Да ведь и наш Степной волк полагает, что носит в своей груди две души (волка и человека), и находит, что уже этим грудь его пагубно стеснена. То-то и оно, что грудь, тело всегда единственны, а душ в них заключено не две, не пять, а несметное число; человек — луковица, состоящая из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей. Поняли и хорошо знали это древние азиаты, и буддийская йога открыла целую технику, чтобы разоблачить самообман личности. Забавна и разнообразна игра человечества: самообман, над разоблачением которого Индия билась тысячу лет, — это тот же самообман, на укрепление и усиление которого положил столько же сил Запад.

Если мы посмотрим на Степного волка с этой точки зрения, нам станет ясно, почему он так страдает от своей смешной двойственности. Он, как и Фауст, считает, что две души — это для одной-единственной груди уже слишком много и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало, и Гарри совершает над своей

бедной душой страшное насилие, пытаясь понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую волком, и думает, что на том дело кончено и что он исчерпал себя. В «человека» он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в «волка» все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях, все не так грубо, как в нашем бедном, идиотском языке, и Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу «волка». Гарри, боимся мы, относит уже к «человеку» целые области своей души, которым до человека еще далеко, а к волку такие части своей натуры, которые давно преодолели волка.

Как все люди, Гарри мнит, что довольно хорошо знает, что такое человек, а на самом деле вовсе не знает этого, хотя нередко, в снах и других трудноконтролируемых состояньях сознания, об этом догадывается. Не забывать бы ему этих догадок, усвоить бы их как можно лучше! Ведь человек не есть нечто застывшее и неизменное (таков был, вопреки противополож-

ным догадкам ее мудрецов, идеал античности), а есть скорее некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий, опасный мостик между природой и Духом. К Духу, к Богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к матери-природе — глубиннейшая тоска; между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете. То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала, она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую толику духа. «Человек» этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую праматерь-природу, а с другой — докучливого праотца-Дух и пожить между ними, в индифферентной середке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет «личностью», но одновременно отдает личность на произвол молоха — «государства» и всегда сталкивает лбами личность и государство. Поэтому мещанин сжигает сегодня, как

еретика, вешает, как преступника, того, кому послезавтра он будет ставить памятники.

Чувство, что «человек» не есть нечто уже сложившееся, а есть требование Духа, отдаленная, столь же вожделенная, сколь и страшная возможность, и что продвигаются на пути к ней всегда лишь мало-помалу, ценой ужасных муки экстазов, как раз те редкие одиночки, которых сегодня ждет эшафот, а завтра памятник, — это чувство живет и в Степном волке. Но то, что он, в противоположность своему «волку», называет в себе «человеком» — это в общем и есть тот самый посредственный «человек» мещанской условности. Да, Гарри чувствует, что существует путь к истинному человеку, да, порой он даже еле-еле и мало-помалу чуть-чуть продвигается вперед на этом пути, расплачиваясь за свое продвижение тяжкими страданьями и мучительным одиночеством. Но одобрить и признать своей целью то высшее требование, то подлинное очеловечение, которого ищет Дух, пойти единственным узким путем к бессмертию — этого он в глубине души все же страшится. Он ясно чувствует: это поведет к еще большим страданьям, к изгнанью, к последним лишеньям, может быть, к эшафоту, — и как ни заманчи-

во бессмертие в конце этого пути, он не хочет страдать всеми этими страданьями, не хочет умирать всеми этими смертями. Хотя очеловечение как цель понятнее ему, чем мещанам, он закрывает глаза и словно бы не знает, что отчаянно держаться за свое «я», отчаянно цепляться за жизнь — это значит идти вернейшим путем к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради перемен ведет к бессмертию. Боготворя своих любимцев из числа бессмертных, например Моцарта, он в общем-то смотрит на него все еще мещанскими глазами и, совсем как школьный наставник, склонен объяснять совершенство Моцарта лишь его высокой одаренностью специалиста, а не величием его самоотдачи, его готовностью к страданиям, его равнодушием к идеалам мещан, не его способностью к тому предельному одиночеству, которое разрежает, которое превращает в ледяной эфир космоса всякую мещанскую атмосферу вокруг того, кто страдает и становится человеком, к одиночеству Гефсиманского сада.[59]

---

[59] Примечания: 59

Имеется в виду евангельский эпизод уединения Христа в Гефсиманском саду в ночь перед распятием, выражающий крайнее одиночество человека.

И все же наш Степной волк открыл в себе по крайней мере фаустовскую раздвоенность, обнаружил, что за единством его жизни вовсе не стоит единство души, а что он в лучшем случае находится лишь на пути, лишь в долгом паломничестве к идеалу этой гармонии. Он хочет либо преодолеть в себе волка и стать целиком человеком, либо отказаться от человека и хотя бы как волк жить цельной, нераздвоенной жизнью. Вероятно, он никогда как следует не наблюдал за настоящим волком — а то бы он, может быть, увидел, что и у животных нет цельной души, что и у них за прекрасной, подтянутой формой тела кроется многообразие стремлений и состояний, что у волка есть свои внутренние бездны, что и волк страдает. Нет, говоря: «Назад, к природе!», человек всегда идет неверным, мучительным и безнадежным путем.

Гарри никогда не стать снова целиком волком, да и стань он им, он бы увидел, что и волк тоже не есть что-то простое и изначальное, а есть уже нечто весьма многосложное. И у волка в его волчьей груди живут две и больше, чем две, души, и кто жаждет быть волком, тот столь же забывчив, как мужчина, который поет: «Бла-

женство лишь детям дано!»[60] *Симпатичный, но сентиментальный мужчина, распевающий песню о блаженном дитяти, тоже хочет вернуться к природе, к невинности, к первоистокам, совсем забыв, что и дети отнюдь не блаженны, что они способны ко многим конфликтам, ко многим разладам, ко всяким страданьям.*

Назад вообще нет пути — ни к волку, ни к ребенку. В начале вещей ни невинности, ни простоты нет; все сотворенное, даже самое простое на вид, уже виновно,[61] *уже многообразно, оно брошено в грязный поток становления и никогда, никогда уже не сможет поплыть вспять. Путь к невинности, к несотворенному, к Богу ведет не назад, а вперед, не к волку, не к ребенку, а ко все большей вине, ко все более глубокому очеловечению. И самоубийство тебе, бедный Степной волк, тоже всерьез не поможет, тебе не миновать долгого, трудного и тяжкого пути очеловечения, ты еще вынужден будешь всячески умножать свою раздвоенность, всячески усложнять свою слож-*

---

[60] Примечания: 60

Почти дословный припев одной из песенок из оперы Альберта Густава Лортцинга (1801–1851) «Царь и плотник».

[61] Примечания: 61

Согласно христианскому вероучению, человек уже в момент рождения несет на себе печать первородного греха.

ность. Вместо того чтобы сужать свой мир, упрощать свою душу, тебе придется мучительно расширять, все больше открывать ее миру, а там, глядишь, и принять в нее весь мир, чтобы когда-нибудь, может быть, достигнуть конца и покоя. Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек — кто сознательно, кто безотчетно, — кому на что удавалось осмелиться. Всякое рождение означает отделение от вселенной, означает ограничение, обособление от Бога, мучительное становление заново. Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности, стать Богом — это значит так расширить свою душу, чтобы она снова могла объять вселенную.

Здесь речь идет не о человеке, которого имеет в виду школа, экономика, статистика, не о человеке, который миллионами ходит по улицам и о котором можно сказать то же, что о песчинках на морском берегу или о брызгах прибоя: миллионом больше или миллионом меньше — не важно, они — материал, и только. Нет, мы говорим здесь о человеке в высоком смысле, о цели долгого пути очеловечения, о царственном человеке, о бессмертных. Гениальность — явление не столь редкое, как это нам порой кажется, хотя и не та-

кое частое, как считают историки литератур, историки стран, а тем более газеты. Степной волк Гарри, на наш взгляд, достаточно гениален, чтобы осмелиться на попытку очеловечения, вместо того чтобы при любой трудности жалобно ссылаться на своего глупого степного волка.

Если люди таких возможностей перебиваются ссылками на степного волка и на «ах, две души», то это столь же удивительно и огорчительно, как и то, что они так часто питают трусливую любовь к мещанству. Человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность. Он живет в нем только из трусости, и когда его угнетают размеры этого мира, когда тесная мещанская комната делается ему слишком тесна, он сваливает все на «волка» и не видит, что волк — лучшая порой его часть. Он называет все дикое в себе волком и находит это злым, опасным, с мещанской точки зрения — страшным, и хотя он считает себя художником, хотя убежден в тонкости своих чувств, ему невдомек, что, кроме волка, за волком, в нем живет и многое другое, и не все то волк, что волком названо, и живут там еще и

лиса, и дракон, и тигр, и обезьяна, и райская птичка. Ему невдомек, что весь этот мир, весь этот райский сад прелестных и страшных, больших и малых, сильных и слабых созданий точно так же подавлен и взят в плен сказкой о волке, как подавлен в нем, в Гарри, и взят в плен мещанином, ложным человеком, подлинный человек.

Представьте себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами видов цветов, с сотнями видов плодов, с сотнями видов трав. Если садовник этого сада не знает никаких ботанических различий, кроме «съедобно» и «сорняк», то от девяти десятых его сада ему никакого толку не будет, он вырвет самые волшебные цветы, срубит благороднейшие деревья или, по крайней мере, возненавидит их и станет косо на них смотреть. Так поступает и Степной волк с тысячами цветов своей души. Что не подходит под рубрики «человек» или «волк», того он просто не видит. А чего он только не причисляет к «человеку»! Все трусливое, все напускное, все глупое и мелочное, поскольку оно не волчье, он причисляет к «человеку», а все сильное и благородное, лишь потому, что еще не стал сам себе господином, приписывает волчьему своему началу.

Мы прощаемся с Гарри, мы предоставляем ему

идти дальше его путем одному. Если бы он уже был с бессмертными, если бы он уже был там, куда, кажется, направлен его тяжкий путь, как удивленно взглянул бы он на эти изгибы, на этот смятенный, на этот нерешительный зигзаг своего пути, как ободрительно, как порицающе, как сочувственно, как весело улыбнулся бы он этому Степному волку!

Дочитав до конца, я вспомнил, что несколько недель назад, как-то ночью, я написал странное стихотворение, где речь тоже шла о Степном волке. Я перерыл кучу бумаг в своем битком набитом письменном столе, нашел этот листок и прочел:

Мир лежит в глубоком снегу.
Ворон на ветке бьет крылами,
Я, Степной волк, все бегу и бегу,
Но не вижу нигде ни зайца, ни лани!
Нигде ни одной — куда ни глянь.
А я бы сил не жалел в погоне,
Я взял бы в зубы ее, в ладони,
Это ведь любовь моя — лань.
Я бы в нежный кострец вонзил клыки,
Я бы кровь прелестницы вылакал жад-

но,

А потом бы опять всю ночь от тоски,

От одиночества выл надсадно.

Даже зайчишка — и то бы не худо.

Ночью приятно парного поесть мясца.

Ужели теперь никакой ниоткуда

Мне не дождаться поживы и так и тянуть до конца?

Шерсть у меня поседела на старости лет,

Глаза притупились, добычи не вижу в тумане.

Милой супруги моей на свете давно уже нет,

А я все бегу и мечтаю о лани.

А я все бегу и о зайце мечтаю,

Снегом холодным горящую пасть охлаждаю,

Слышу, как свищет ветер, бегу, ищу —

К дьяволу бедную душу свою тащу.[62]

---

[62] Примечания: 62

Стихотворения, приведенные в романе, заимствованы писателем из упоминавшегося лирического дневника 1926 г. — стихотворного сборника «Кризис». Данное стихотворение носит название «Степной волк».

И вот у меня в руках было два моих портрета — автопортрет из рифмованных дольников, такой же печальный и тревожный, как я сам, и портрет, написанный холодно и на вид очень объективно посторонним лицом, которое смотрит на меня со стороны, сверху вниз, и знает больше, но все же и меньше, чем я сам. И оба эти портрета вместе, мои тоскливо запинающиеся стихи и умный этюд неизвестного автора, причиняли мне боль, оба они были верны, оба рисовали без прикрас мое безотрадное бытие, оба ясно показывали невыносимость и неустойчивость моего состояния. Этот Степной волк должен был умереть, должен был собственноручно покончить со своей ненавистной жизнью — или же должен был переплавиться в смертельном огне обновленной самооценки, сорвать с себя маску и двинуться в путь к новому «я». Ах, этот процесс не был мне нов и незнаком, я знал его, я уже неоднократно проходил через него, каждый раз во времена предельного отчаянья. Каждый раз в ходе этой тяжелой ломки вдребезги разбивалось мое прежнее «я», каждый раз глубинные силы растормашивали и разрушали его, каждый раз при этом какая-то заповедная и особенно любимая часть моей жизни изменяла мне и терялась. Один раз я потерял свою мещан-

скую репутацию вкупе со своим состоянием и должен был постепенно отказаться от уважения со стороны тех, кто дотоле снимал передо мной шляпу. Другой раз внезапно развалилась моя семейная жизнь; моя заболевшая душевной болезнью жена[63] прогнала меня из дому, лишила налаженного быта, любовь и доверие превратились вдруг в ненависть и смертельную вражду, соседи смотрели мне вслед с жалостью и презреньем. Тогда-то и началась моя изоляция. А через несколько лет, через несколько тяжких, горьких лет, когда я, в полном одиночестве и благодаря строгой самодисциплине, построил себе новую жизнь, основанную на аскетизме и духовности, когда я, предавшись абстрактному упражненью ума и строго упорядоченной медитации, снова достиг известной тишины, известной высоты, этот уклад жизни тоже внезапно рухнул, тоже вдруг потерял свой благородный, высокий смысл; я снова метался по миру в диких, напряженных поездках, накапливались новые страданья и новая вина. И каждый раз этому срыванию маски, этому крушенью идеала предшествовали

[63] Примечания: 63

Характерный для Гессе автобиографический намек. Речь идет о первой жене писателя, Марии Бернулли, помещенной в 1919 г. в психиатрическую лечебницу.

такая же ужасная пустота и тишина, такая же смертельная скованность, изолированность и отчужденность, такая же адская пустыня равнодушия и отчаяния, как те, через которые я вновь проходил теперь.

При каждом таком потрясении моей жизни я в итоге что-то приобретал, этого нельзя отрицать, становился свободнее, духовнее, глубже, но и делался более одинок, более непонятен, более холоден. В мещанском плане моя жизнь была постоянным, от потрясения к потрясению, упадком, все большим удалением от нормального, дозволенного, здорового. С годами я стал человеком без определенных занятий, без семьи, без родины, оказался вне всяких социальных групп, один, никто меня не любил, у многих я вызывал подозрение, находясь в постоянном, жестоком конфликте с общественным мнением и с моралью общества, и хоть я и жил еще в мещанской среде, по всем своим мыслям и чувствам я был внутри этого мира чужим. Религия, отечество, семья, государство не представляли собой никакой ценности для меня, и мне не было до них дела, от тщеславия науки, искусств, цехов меня тошнило; мои взгляды, мой вкус, весь мой ум, которыми я когда-то блистал как человек одаренный и

популярный, пришли теперь в запустенье и одичанье и стали подозрительны людям. Если в ходе всех моих мучительных перемен я и приобретал что-то незримое и невесомое, то платил я за это дорого, и с каждым разом жизнь моя становилась все более тяжелой, трудной, одинокой, опасной. Право же, у меня не было причин желать продолжения этого пути, который вел меня во все более безвоздушные сферы, похожие на дым в осенней песне Ницше.[64]

О да, я знал эти ощущения, эти перемены, уготовленные судьбой своим трудным детям, доставляющим ей особенно много хлопот, слишком хорошо я их знал. Я знал их, как честолюбивый, но неудачливый охотник знает все этапы охотничьей вылазки, как старый биржевик знает все этапы спекуляции, выигрыша, неуверенности, колебаний, банкротства. Неужели мне и правда проходить через все это еще раз? Через всю эту муку, через все эти метания, через все эти свидетельства низменности и никчемности собственного «я», через всю эту ужасную боязнь поражения, через весь этот страх смерти? Не умней ли, не проще ли было предотвратить

---

[64] Примечания: 64
Стихотворение Ницше «Уединенный».

повторение стольких страданий, дать тягу? Конечно, это было проще и умней. Что бы там ни утверждалось насчет «самоубийц» в брошюрке о Степном волке, никто не мог лишить меня удовольствия избавиться с помощью светильного газа, бритвы или пистолета от повторения процесса, мучительную болезненность которого я, право же, изведывал уже достаточно часто и глубоко. Нет, черт возьми, никакая сила на свете не заставит меня еще раз дрожать перед ней от ужаса, еще раз перерождаться и перевоплощаться, причем не для того, чтобы обрести наконец мир и покой, а для нового самоуничтоженья, для нового перерожденья! Пусть самоубийство — это глупость, трусость и подлость, пусть это бесславный, позорный выход — любой, даже самый постыдный выход из этой мельницы страданий куда как хорош, тут уж нечего играть в благородство и героизм, тут я стою перед простым выбором между маленькой, короткой болью и немыслимо жестоким, бесконечным страданьем. В своей такой трудной, такой сумасшедшей жизни я достаточно часто бывал благородным донкихотом и предпочитал честь — удобству, а героизм — разуму. Хватит, кончено!

Утро зевало уже сквозь окна, свинцовое, ока-

янное утро дождливого зимнего дня, когда я наконец улегся. В постель я взял с собой свое решенье. Но на периферии сознания, на последней его границе, когда я уже засыпал, передо мной сверкнуло то странное место брошюрки, где речь шла о «бессмертных», и я мельком вспомнил, что не раз и даже совсем недавно чувствовал себя достаточно близким к бессмертным, чтобы в одном такте старинной музыки уловить всю холодную, светлую, сурово-улыбчивую мудрость бессмертных. Это возникло, блеснуло, погасло, и тяжелый, как гора, сон лег на мой лоб.

Проснувшись около полудня, я сразу ощутил ясность ситуации, брошюрка и мои стихи лежали на тумбочке, и мое решение, дозревшее и окрепшее за ночь во сне, глядело на меня приветливо-холодным взглядом из хаоса последней полосы моей жизни. Спешить не нужно было, мое решение умереть не было минутным капризом, это был зрелый, крепкий плод, медленно поспевший и отяжелевший, готовый упасть при первом же порыве ветра судьбы, который сейчас его тихо покачивал.

В моей дорожной аптечке имелось одно превосходное болеутоляющее средство, сильный препарат опиума, — прибегать к нему я позволял

себе очень редко, и моей воздержанности часто хватало на несколько месяцев; оглушающее это снадобье я принимал только при нестерпимо мучительных физических болях. Для самоубийства оно, к сожалению, не годилось, много лет назад я убедился в этом на собственном опыте. Однажды, в пору очередного отчаянья, я проглотил изрядную дозу этого препарата, достаточную, чтобы убить шестерых, но меня она не убила. Я, правда, уснул и пролежал несколько часов в полном забытьи, но потом, к ужасному своему разочарованию, проснулся от страшных спазмов в желудке, извергнул с рвотой, не вполне придя в себя, весь принятый яд и снова уснул, чтобы окончательно проснуться лишь в середине следующего дня — отвратительно трезвым, с выжженным, пустым мозгом и почти начисто отшибленной памятью. Никаких других последствий, кроме периода бессонницы и изнурительных болей в желудке, отравление не имело.

Это средство, стало быть, отпало. Но мое решение приняло теперь вот какую форму: если дела мои снова пойдут так, что я должен буду прибегнуть к своему опиумному снадобью, мне разрешается заменить это короткое избавленье избавленьем большим, смертью, причем смер-

тью верной, надежной, от пули или от лезвия бритвы. Теперь положение прояснилось; ждать своего пятидесятилетия, как остроумно советовала брошюрка, надо было, на мой взгляд, слишком уж долго, до него оставалось еще два года. Не важно, через год ли, через месяц ли или уже завтра — дверь была открыта.

Не скажу, чтобы «решение» сильно изменило мою жизнь. Оно сделало меня немного равнодушнее к недомоганиям, немного беззаботнее в употреблении опиума и вина, немного любопытнее к пределу терпимого, только и всего. Сильнее действовали другие впечатления того вечера. Трактат о Степном волке я иногда перечитывал, то с увлечением и благодарностью, словно признавая, что какой-то невидимый маг мудро направляет мою судьбу, то с насмешливым презрением к трезвости трактата, который, казалось мне, совершенно не понимал специфической напряженности моей жизни. Все сказанное там о степных волках и о самоубийцах, возможно, и было умно и прекрасно, но это относилось к целой категории, к типу как таковому, было талантливой абстракцией; а меня как личность, суть моей души, мою особую, уникальную, частную судьбу такой грубой сетью, казалось мне,

уловить нельзя.

Глубже всего прочего занимала меня та галлюцинация, то видение у церковной стены, тот многообещающий анонс пляшущих световых букв, который соответствовал намекам в трактате. Очень уж многое тут обещалось мне, очень уж сильно разожгли голоса того неведомого мира мое любопытство. Я целыми часами самозабвенно о них размышлял, и все яснее тогда слышалось мне предостереженье тех надписей: «Не для всех!» и «Только для сумасшедших!». Значит, я сумасшедший, значит, очень далек от «всех», если те голоса меня достигли, если те миры со мной заговаривают. Господи, да разве я давно не отдалился от жизни всех, от бытия и мышленья нормальных людей, разве я давно не отъединился от них, не сошел с ума? И все же в глубине души я прекрасно понимал это требование сумасшествия, этот призыв отбросить разум, скованность, мещанские условности и отдаться бурному, не знающему законов миру души, миру фантазии.

Однажды, снова безуспешно поискав на улицах и площадях человека с плакатом и выжидательно пройдя несколько раз мимо стены с невидимыми воротами, я встретил в предместье св. Марти-

на[65] похоронную процессию. Разглядывая лица скорбящих, которые шагали за катафалком, я подумал: где в этом городе, где в этом мире живет человек, чья смерть означала бы для меня потерю? И где тот человек, для которого моя смерть имела бы хоть какое-то значение? Была, правда, Эрика, моя возлюбленная, ну, конечно; но мы давно жили очень разъединение, редко виделись без всяких ссор, и сейчас я даже не знал ее местопребывания. Иногда она приезжала ко мне, или я ездил к ней, и поскольку мы оба люди одинокие и нелегкие, чем-то родственные друг другу в душе и в болезни души, между нами все-таки сохранялась какая-то связь. Но не вздохнула ли бы она с большим облегчением, узнав о моей смерти? Этого я не знал, как не знал ничего и о надежности своих собственных чувств. Надо жить в мире нормального и возможного, чтобы знать что-либо о таких вещах.

Между тем, по какой-то прихоти, я присоединился к процессии и приплелся за скорбящими к кладбищу, архисовременному цементному кладбищу с крематорием и всякой техникой. Но нашего покойника не собирались сжигать,

---

[65] Примечания: 65

Предместье св. Мартина — северо-западный район Базеля, города, в котором происходит действие романа.

его гроб опустили на землю у простой ямы, и я стал наблюдать за действиями священника и прочих стервятников, служащих похоронного бюро, которые пытались изобразить торжественность и скорбь, но от смущенья, от театральности и фальши чрезмерно усердствовали и добивались скорее комического эффекта, я смотрел, как трепыхалась на них черная униформа и как старались они привести собравшихся в нужное настроение и заставить их преклонить колени перед величием смерти. Это был напрасный труд, никто не плакал, покойный, кажется, никому не был нужен. Никто не проникался благочестивыми чувствами, и когда священник называл присутствующих «дорогими сохристианами», деловые лица всех этих купцов, булочников и их жен молча потуплялись с судорожной серьезностью, смущенно, фальшиво, с единственным желаньем, чтобы поскорей кончилась эта неприятная процедура. Что ж, она кончилась, двое передних сохристиан пожали оратору руку, вытерли о кромку ближайшего газона башмаки, выпачканные влажной глиной, в которую они положили своего мертвеца, лица сразу вновь обрели обычный человеческий вид, и одно из них показалось мне вдруг знакомым — это был,

показалось мне, тот, что нес тогда плакат и сунул мне в руку брошюрку.

Едва я узнал его, как он отвернулся, наклонился, занялся своими черными брюками, аккуратно засучил их над башмаками и быстро зашагал прочь, зажав под мышкой зонтик. Я побежал за ним, догнал его, поклонился ему, но он, кажется, меня не узнал.

— Сегодня не будет вечернего аттракциона? — спросил я, пытаясь ему подмигнуть, как это делают заговорщики. Но от таких мимических упражнений я давно отвык, ведь при моем образе жизни я и говорить-то почти разучился; я сам почувствовал, что скорчил лишь глупую гримасу.

— Вечернего аттракциона? — пробормотал он и недоуменно посмотрел мне в лицо. — Ступайте, дорогой, в «Черный орел»,[66] если у вас есть такая потребность.

Я и правда не был уже уверен, что это он. Я разочарованно пошел дальше, не зная куда, никаких целей, никаких устремлений, никаких обязанностей для меня не существовало. У жизни был отвратительно горький вкус, я чувствовал, как

---

[66] Примечания: 66

«Черный орел» — название реально существующего ресторана в Цюрихе. Так же реальны упоминающиеся в дальнейшем ресторан «Одеон», отель «Баланс» и другие.

давно нараставшая тошнота достигает высшей своей точки, как жизнь выталкивает и отбрасывает меня. В ярости шагал я по серому городу, отовсюду мне слышался запах влажной земли и похорон. Нет, у моей могилы не будет никого из этих сычей с их рясами и с их сентиментальной трескотней! Ах, куда бы я ни взглянул, куда бы ни обратился мыслью, нигде не ждала меня радость, ничто меня не звало, не манило, все воняло гнилой изношенностью, гнилым полудовольством, все было старое, вялое, серое, дряблое, дохлое. Боже, как это получилось? Как дошел до этого я, окрыленный юнец, друг муз, любитель странствий по свету, пламенный идеалист? Как смогли они так тихонько подкрасться и овладеть мною, это бессилие, эта ненависть к себе и ко всем, эта глухота чувств, эта глубокая озлобленность, этот гадостный ад душевной пустоты и отчаянья?

Когда я проходил мимо библиотеки, мне попался на глаза один молодой профессор, с которым я прежде порой беседовал, к которому во времена последнего своего пребывания в этом городе даже несколько раз ходил на квартиру, чтобы поговорить с ним о восточных мифологиях, — тогда эта область очень меня занимала. Ученый шел мне навстречу, чопорный, несколько близору-

кий, и узнал меня, когда я уже собирался пройти мимо. Он бросился ко мне с большой теплотой, и я, находясь в таком никудышном состоянии, был почти благодарен ему за это. Он очень обрадовался и оживился, напомнил мне кое-какие подробности наших прежних бесед, сказал, что многим обязан исходившим от меня импульсам и что часто обо мне думал; с тех пор ему редко доводилось так интересно и плодотворно дискутировать с коллегами. Он спросил, давно ли я в этом городе (я соврал: несколько дней) и почему я не навестил его. Я посмотрел на доброе, с печатью учености лицо этого учтивого человека, нашел сцену встречи с ним вообще-то смешной, но, как изголодавшийся пес, насладился крохой тепла, глотком любви, кусочком признания. Степной волк Гарри растроганно осклабился, у него потекли слюнки в сухую глотку, сентиментальность выгнула ему спину вопреки его воле. Итак, я наврал, что заехал сюда ненадолго, по научным делам, да и чувствую себя неважно, а то бы, конечно, заглянул к нему. И когда он сердечно меня пригласил провести у него сегодняшний вечер, я с благодарностью принял это приглашение, а потом передал привет его жене, и оттого, что я так много говорил и улыбался, у меня заболели

щеки, отвыкшие от таких усилий. И в то время как я, Гарри Галлер, захваченный врасплох и польщенный, вежливый и старательный, стоял на улице, улыбаясь этому любезному человеку и глядя в его доброе, близорукое лицо, другой Гарри стоял рядом и ухмылялся, стоял, ухмыляясь, и думал, какой же я странный, какой же я вздорный и лживый тип, если две минуты назад я скрежетал зубами от злости на весь опостылевший мир, а сейчас, едва меня поманил, едва невзначай приветил достопочтенный обыватель, спешу растроганно поддакнуть ему и нежусь, как поросенок, растаяв от крохотки доброжелательства, уваженья, любезности. Так оба Гарри, оба — фигуры весьма несимпатичные, стояли напротив учтивого профессора, презирая друг друга, наблюдая друг за другом, плюя друг другу под ноги и снова, как всегда в таких ситуациях, задаваясь вопросом: просто ли это человеческая глупость и слабость, то есть всеобщий удел, или же этот сентиментальный эгоизм, эта — бесхарактерность, эта неряшливость и двойственность чувств — чисто личная особенность Степного волка. Если эта подлость общечеловечна, ну, что ж, тогда мое презрение к миру могло обрушиться на нее с новой силой; если же это лишь моя

личная слабость, то она давала повод к оргии самоуничиженья.

За спором между обоими Гарри профессор был почти забыт; вдруг он мне опять надоел, и я поспешил отделаться от него. Я долго глядел ему вслед, когда он удалялся по голой аллее, добродушной и чуть смешной походкой идеалиста, походкой верующего. В душе моей бушевала битва, и, машинально сгибая и разгибая замерзшие пальцы в борьбе с притаившейся подагрой, я вынужден был признаться себе, что остался в дураках, что вот и накликал приглашенье на ужин, к половине восьмого, обрек себя на обмен любезностями, ученую болтовню и созерцание чужого семейного счастья. Разозлившись, я пошел домой, смешал воду с коньяком, запил свои пилюли, лег на диван и попытался читать. Когда мне наконец удалось немного вчитаться в «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», восхитительную бульварщину восемнадцатого века, я вдруг вспомнил о приглашении, и что я небрит, и что мне нужно одеться. Одному Богу известно, зачем я это себе навязал! Итак, Гарри, вставай, бросай свою книгу, намыливайся, скреби до крови подбородок, одевайся и проникнись расположением к людям! И, намыливаясь, я думал о

грязной глинистой яме на кладбище, в которую сегодня спустили на веревках того незнакомца, и о перекошенных усмешкой лицах скучающих сохристиан и не смог даже посмеяться надо всем этим. Там, у грязной глинистой ямы, под глупую, смущенную речь проповедника, среди глупых, смущенных физиономий участников похорон, при безотрадном зрелище всех этих крестов и досок из жести и мрамора, среди всех этих искусственных цветов из проволоки и стекла, там, казалось мне, кончился не только тот незнакомец, не только, завтра или послезавтра, кончусь и я, зарытый, закопанный в грязь среди смущенья и лжи участников процедуры, нет, так кончалось все, вся наша культура, вся наша вера, вся наша жизнерадостность, которая была очень больна и скоро там тоже будет зарыта. Кладбищем был мир нашей культуры, Иисус Христос и Сократ, Моцарт и Гайдн, Данте и Гете были здесь лишь потускневшими именами на ржавеющих жестяных досках, а кругом стояли смущенные и изолгавшиеся поминальщики, которые много бы дали за то, чтобы снова поверить в эти когда-то священные для них жестяные скрижали или сказать хоть какое-то честное, серьезное слово отчаяния и скорби об этом ушедшем мире, а не просто стоять

у могилы со смущенной ухмылкой. От злости я порезал себе подбородок в том же, что и всегда, месте и прижег ранку квасцами, но все равно должен был сменить только что надетый свежий воротничок, хотя совершенно не знал, зачем я все это делаю, ибо не испытывал ни малейшего желания идти туда, куда меня пригласили. Но какая-то часть Гарри снова устроила спектакль, назвала профессора славным малым, захотела человеческого запаха, болтовни, общенья, вспомнила красивую жену профессора, нашла мысль о вечере у гостеприимных хозяев в общем-то вдохновляющей, помогла мне налепить на подбородок английский пластырь, помогла мне одеться и повязать подобающий галстук и мягко убедила меня поступиться истинным моим желанием остаться дома. Одновременно я думал: так же, как я сейчас одеваюсь и выхожу, иду к профессору и обмениваюсь с ним более или менее лживыми учтивостями, по существу всего этого не желая, точно так поступает, живет и действует большинство людей изо дня в день, час за часом, они вынужденно, по существу этого не желая, наносят визиты, ведут беседы, отсиживают служебные часы, всегда поневоле, машинально, нехотя, все это с таким же успехом могло бы де-

латься машинами или вообще не делаться; и вся эта нескончаемая механика мешает им критически — как я — отнестись к собственной жизни, увидеть и почувствовать ее глупость и мелкость, ее мерзко ухмыляющуюся сомнительность, ее безнадежную тоску и скуку. О, и они правы, люди, бесконечно правы, что так живут, что играют в свои игры и носятся со своими ценностями, вместо того чтобы сопротивляться этой унылой механике и с отчаяньем глядеть в пустоту, как я, свихнувшийся человек. Если я иногда на этих страницах презираю людей и высмеиваю, то да не подумают, что я хочу свалить на них вину, обвинить их, взвалить на других ответственность за свою личную беду! Но я-то, я, зайдя так далеко и стоя на краю жизни, где она проваливается в бездонную темень, я поступаю несправедливо и лгу, когда притворяюсь перед собой и перед другими, будто эта механика продолжается и для меня, будто я тоже принадлежу еще к этому милому ребяческому миру вечной игры!

Вечер и впрямь принял удивительный оборот.[67] Перед домом своего знакомого я на минуту остановился и взглянул вверх, на окна. Вот здесь

---

[67] Примечания: 67

Этот эпизод, действительно имевший место, Гессе отразил в шестом стихотворении своего лирического дневника 1926 г.

живет этот человек, подумал я, трудится год за годом, читает и комментирует тексты, ищет связей между переднеазиатскими и индийскими мифологиями и тем доволен, потому что верит в ценность своей работы, верит в науку, которой служит, верит в ценность чистого знания, накопления сведений, потому что верит в прогресс, в развитие. Войны он не почувствовал, не почувствовал, как потряс основы прежнего мышленья Эйнштейн (это, полагает он, касается лишь математиков), он не видит, как вокруг него подготавливается новая война, он считает евреев и коммунистов достойными ненависти, он добрый, бездумный, довольный ребенок, много о себе мнящий, ему можно лишь позавидовать. Я собрался с духом и вошел, меня встретила горничная в белом переднике, благодаря какому-то предчувствию я хорошо запомнил место, куда она убрала мои пальто и шляпу, горничная провела меня в теплую, светлую комнату, попросила подождать, и вместо того чтобы произнести молитву или соснуть, я из какого-то озорства взял в руки первый попавшийся предмет. Им оказалась картинка в рамке с твердой картонной подпоркой-клапаном, стоявшая на круглом столе. Это была гравюра, и

изображала она писателя Гете,[68] своенравного, гениально причесанного старика с красиво вылепленным лицом, где, как положено, были и знаменитый огненный глаз, и налет слегка сглаженных вельможностью одиночества и трагизма, на которые художник затратил особенно много усилий. Ему удалось придать этому демоническому старцу, без ущерба для его глубины, какое-то не то профессорское, не то актерское выражение сдержанности и добропорядочности и сделать из него в общем-то действительно красивого старого господина, способного украсить любой мещанский дом. Картинка эта, вероятно, была не глупей, чем все картинки такого рода, чем все эти милые спасители, апостолы, герои, титаны духа и государственные мужи, изготовляемые прилежными ремесленниками, взвинтила она меня, вероятно, лишь известной виртуозностью мастерства; как бы то ни было, это тщеславное и самодовольное изображение старого Гете сразу же резануло меня отвратительным диссонансом — а я был уже достаточно раздражен и настропа-

[68] Примечания: 68

Прообразом описываемого портрета Гете послужила гравюра Карла Бауера, выпущенная в 20-х гг. в виде почтовой открытки. «Сентиментально причесанный Гете в „Степном волке“ принадлежит моему современнику Карлу Бауеру, придумавшему кучу подобных портретов для благопристойных домов», — писал Гессе в 1949 г. М. Хаусману.

лен — и показало мне, что я попал не туда. Здесь были на месте красиво стилизованные основоположники и национальные знаменитости, а не степные волки.

Войди сейчас хозяин дома, мне, наверно, удалось бы ретироваться под каким-нибудь подходящим предлогом. Но вошла его жена, и я покорился судьбе, хотя и чуял недоброе. Мы поздоровались, и за первым диссонансом последовали новые и новые. Она поздравила меня с тем, что я хорошо выгляжу, а я прекрасно знал, как постарел я за годы, прошедшие после нашей последней встречи; уже во время рукопожатья мне неприятно напомнила об этом подагрическая боль в пальцах. А потом она спросила меня, как поживает моя милая жена, и мне пришлось сказать, что жена ушла от меня и наш брак распался. Мы были рады, что появился профессор. Он тоже приветствовал меня очень тепло, и вся ложность, весь комизм этой ситуации вскоре нашли себе донельзя изящное выражение. В руках у профессора была газета, подписчиком которой он состоял, орган милитаристской, подстрекавшей к войне партии, и, пожав мне руку, он кивнул на газету и сказал, что в ней есть статья об одном моем однофамильце, публицисте Гал-

лере, — это, видно, какой-то безродный негодяй, он потешался над Кайзером и выразил мнение, что его родина виновата в развязывании войны ничуть не меньше, чем вражеские страны. Ну и тип, наверно! Но теперь он получил отповедь, редакция лихо отчитала этого прохвоста, заклеймила позором. Мы, однако, перешли к другой теме, когда профессор увидел, что эта материя не интересует меня, и у хозяев и в мыслях не было, что такое исчадие ада может сидеть перед ними, а дело обстояло именно так, этим исчадием ада был я. Зачем, право, поднимать шум и беспокоить людей! Я посмеялся про себя, но уже потерял надежду на какие-либо приятные впечатления от этого вечера. Я хорошо помню этот момент. Ведь как раз в тот момент, когда профессор заговорил об изменнике родины Галлере, скверное чувство подавленности и отчаяния, нараставшее и усиливавшееся во мне с похорон, сгустилось в страшную тяжесть, в физически ощутимую (внизу живота) боль, в давяще-тревожное чувство рока. Что-то, я чувствовал, подстерегало меня, какая-то опасность подкрадывалась ко мне сзади. К счастью, сообщили, что ужин готов. Мы перешли в столовую, и, то и дело стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше,

чем привык съедать, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительнее. Боже мой, думал я все время, зачем мы так напрягаемся? Я ясно чувствовал, что и моим хозяевам было не по себе и что их живость стоила им труда, то ли оттого, что я действовал на них сковывающе, то ли из-за какого-то неблагополучия в доме. Они спрашивали меня все о таких вещах, что отвечать откровенно никак нельзя было, вскоре я совсем запутался во лжи и боролся с отвращеньем при каждом слове. Наконец, чтобы отвлечь их, я стал рассказывать о похоронах, свидетелем которых сегодня был. Но я не нашел верного тона, мои потуги на юмор действовали удручающе, мы расходились в разные стороны все больше и больше, во мне смеялся, оскаливаясь, степной волк, и за десертом все трое больше помалкивали.

Мы вернулись в ту первую комнату, чтобы выпить кофе и водки, может быть, это немного нам помогло бы. Но тут царь поэтов снова попался мне на глаза, хотя его уже убрали на комод. Он не давал мне покоя, и, прекрасно слыша в себе предостерегающие голоса, я снова взял его в руки и начал с ним объясняться. Я был прямо-таки одержим чувством, что эта ситуация невыносима, что я должен сейчас либо отогреть и увлечь

хозяев, настроить их на свой тон, либо довести дело и вовсе до взрыва.

— Будем надеяться, — сказал я, — что у Гете в действительности был не такой вид! Это тщеславие, эта благородная поза, это достоинство, кокетничающее с уважаемыми зрителями, этот мир прелестнейшей сентиментальности под покровом мужественности! Можно, разумеется, очень его недолюбливать, я тоже часто очень недолюбливаю этого старого зазнайку, но изображать его так — нет, это уж чересчур.

Разлив кофе с глубоким страданием на лице, хозяйка поспешила выйти из комнаты, и ее муж полусмущенно-полуукоризненно сказал мне, что этот портрет Гете принадлежит его жене и что она его особенно любит.

— И даже будь вы объективно правы, чего я, кстати, не считаю, вам не следовало выражаться так резко.

— Тут вы правы, — признал я. — К сожалению, это моя привычка, мой порок — выбирать всегда как можно более резкие выражения, что, кстати, делал и Гете в лучшие свои часы. Конечно, этот слащавый, обывательский, салонный Гете никогда не употребил бы резкого, меткого, точного выражения. Прошу прощения у вас и у вашей

жены — скажите ей, что я шизофреник. А заодно позвольте откланяться.

Ошарашенный хозяин попытался было возразить, снова заговорил о том, как прекрасны и интересны были прежние наши беседы, и что мои догадки насчет Митры и Кришны произвели на него тогда глубокое впечатленье, и что он надеялся сегодня опять… и так далее. Я поблагодарил его и сказал, что это очень любезные слова, но, увы, у меня начисто пропал интерес к Кришне и охота вести ученые разговоры, и сегодня я врал ему многократно, например, в этом городе я нахожусь не несколько дней, а несколько месяцев, но живу уединенно и уже не могу бывать в приличных домах, потому что, во-первых, я всегда не в духе и страдаю от подагры, а во-вторых, обычно пьян. Далее, чтобы внести полную ясность и хотя бы уйти не лжецом, я должен заявить уважаемому хозяину, что он меня сегодня очень обидел. Он стал на глупую, тупоумную, достойную какого-нибудь праздного офицера, но не ученого позицию реакционной газетки в отношении взглядов Галлера. А этот Галлер, этот «тип», этот безродный прохвост не кто иной, как я сам, и дела нашей страны и всего мира обстояли бы лучше, если бы хоть те немногие, кто способен думать,

взяли сторону разума и любви к миру, вместо того чтобы слепо и исступленно стремиться к новой войне. Так-то, и честь имею.

С этими словами я поднялся, простился с Гете и с профессором, сорвал с вешалки свои вещи и убежал. Громко выл у меня в душе злорадный волк, великий скандал разыгрывался между обоими Гарри. Ведь этот неприятный вечерний час имел для меня, мне сразу стало ясно, куда большее значение, чем для возмущенного профессора; для него он был разочарованием, досадным эпизодом, а для меня последним провалом и бегством, прощанием с мещанским, нравственным, ученым миром, полной победой степного волка. И прощался я с ними как беглец, как побежденный, признавая себя банкротом, прощался без всякого утешения, без чувства превосходства, без юмора. Со своим прежним миром и с прежней родиной, с буржуазностью, нравственностью, ученостью я прощался в точности так, как прощается заболевший язвой желудка с жареной свининой. В ярости бежал я под фонарями, в ярости и смертельной тоске. Какой это был безотрадный, позорный, злой день, от утра до вечера, от кладбища до сцены в доме профессора! Зачем? Почему? Есть ли смысл обременять себя другими такими днями,

снова расхлебывать ту же кашу? Нет! И сегодня же ночью я покончу с этой комедией. Ступай домой, Гарри, и перережь себе горло! Хватит откладывать.

Я метался по улицам, гонимый бедой. Конечно, это была глупость с моей стороны — оплевать славным людям украшение их салона, глупость и невежливость, но я не мог поступить иначе, не мог больше мириться с этой укрощенной, лживой, благоприличной жизнью. А поскольку с одиночеством тоже я мириться, казалось, больше не мог, поскольку мое собственное общество вконец мне осточертело, поскольку я бился и задыхался в безвоздушном пространстве своего ада, какой у меня еще был выход? Не было никакого. О мать и отец, о далекий священный огонь моей молодости, о тысячи радостей, трудов и целей моей жизни! Ничего у меня от всего этого не осталось, даже раскаянья, остались лишь отвращенье и боль. Никогда еще, казалось мне, сама необходимость жить не причиняла такой боли, как в этот час.

Я передохнул в каком-то унылом трактире за заставой, выпил там воды с коньяком и снова побежал дальше, гонимый дьяволом, вверх и вниз по крутым и кривым улочкам старого города, по

аллеям, через вокзальную площадь. «Уехать!» — подумал я, вошел в вокзал, поглазел на висевшие на стенах расписания, выпил немного вина, попытался собраться с мыслями. Все ближе, все явственнее видел я теперь призрак, который меня страшил. Это было возвращение домой, в мою комнату, это была необходимость смириться с отчаяньем! От нее не уйти, сколько часов ни бегай, не уйти от возвращения к моей двери, к столу с книгами, к дивану с портретом моей любимой над ним, не уйти от мгновенья, когда надо будет открыть бритву и перерезать себе горло. Все явственнее вставала передо мной эта картина, и все явственнее, с бешено колотящимся сердцем, чувствовал я самый большой страх на свете — страх смерти! Да, у меня был неимоверный страх перед смертью. Хоть я и не видел другого выхода, хотя отвращение, страдание и отчаяние сдавили меня со всех сторон, хотя ничто уже не могло меня приманить, принести мне надежду и радость, я испытывал несказанный ужас перед казнью, перед последним мгновеньем, перед обязанностью холодно полоснуть по собственной плоти!

Я не видел способа уйти от того, что меня страшило. Даже если сегодня в борьбе отчаяния с трусостью победит трусость, то все равно завтра

и каждодневно передо мной снова будет стоять отчаянье, да еще усугубленное моим презреньем к себе. Так я и буду опять хвататься за бритву и опять отбрасывать ее, пока наконец не свершится. Уж лучше сегодня же! Я уговаривал себя, как ребенка, разумными доводами, но ребенок не слушал, он убегал, он хотел жить. Опять меня рывками носило по городу, я огибал свою квартиру размашистыми кругами, непрестанно помышляя о возвращенье и непрестанно откладывая его. Время от времени я задерживался в кабачках, то на одну рюмку, то на две рюмки, а потом меня снова носило по городу, размашисто кружило вокруг моей цели, вокруг бритвы, вокруг смерти. Порой, смертельно устав, я присаживался на скамью, на край фонтана, на тумбу, слышал, как стучит мое сердце, стирал со лба пот, бежал снова, в смертельном страхе, в теплящейся тоске по жизни.

Так, поздно ночью, меня принесло в отдаленное, малознакомое мне предместье, к ресторану, за окнами которого неистовствовала танцевальная музыка. Проходя в подворотню, я прочел старую вывеску над ней: «Черный орел». В ресторане шла ночная жизнь — шум, толчея, дым, винные пары и крики, в заднем зале танцевали,

там и бушевала музыка. Я остался в переднем зале, где находились сплошь простые, частью бедновато одетые люди, тогда как в заднем, бальном, показывались и гости весьма элегантные. Сутолока оттеснила меня в глубину зала, к стоявшему близ буфета столику, где на скамье у стены сидела красивая бледная девушка в тонком, с глубоким вырезом бальном платьице, в волосах у нее был увядший цветок.[69] Увидев, что я приближаюсь, девушка внимательно и приветливо взглянула на меня и, улыбнувшись, подвинулась, чтобы освободить мне место.

— Можно? — спросил я и сел возле нее.

— Конечно, тебе можно, — сказала она, — ты кто?

— Спасибо, — сказал я, — я никак не могу пойти домой, не могу, не могу, я хочу остаться здесь, возле вас, если вы позволите. Нет, я не могу пойти домой.

Она закивала головой как бы в знак понимания, и когда она кивала, я смотрел на локон, падавший у нее со лба к уху, и я увидел, что увядший цветок — это камелия. Из другого зала гремела музыка, у буфета официантки торопливо выкрикивали

---

[69] Примечания: 69

Образ увядшей недолговечной камелии подчеркивает обреченность Гермины.

свои заказы.

— Оставайся здесь, — сказала она голосом, который действовал на меня благотворно. — Почему же ты не можешь пойти домой?

— Не могу. Дома ждет меня… нет, не могу, это слишком страшно.

— Тогда не спеши и останься здесь. Только протри сначала очки, ты же ничего не видишь. Вот так, дай свой платок. Что будем пить? Бургундское?

Она вытерла мои очки; теперь лишь я увидел отчетливо ее бледное, резко очерченное лицо с накрашенным, алым ртом, со светлыми, серыми глазами, с гладким, холодным лбом, с коротким, тугим локоном возле уха. Она доброжелательно и чуть насмешливо стала меня опекать, заказала вина, чокнулась со мной и при этом посмотрела вниз, на мои башмаки.

— Боже, откуда ты явился? У тебя такой вид, словно ты пришел пешком из Парижа. В таком виде не приходят на бал.

Я ответил уклончиво, немного посмеялся, предоставил говорить ей. Она мне очень нравилась, и это удивило меня, ведь таких юных девушек я до сих пор избегал и смотрел на них с некоторым недоверием. А она держалась со

мной именно так, как мне и нужно было в этот момент — о, она и потом всегда понимала, как нужно со мной держаться. Она обращалась со мной в той мере бережно, в какой мне это нужно было, и в той мере насмешливо, в какой мне это нужно было. Она заказала бутерброд и велела мне его съесть. Она налила мне вина и приказала выпить, только не слишком быстро. Потом она похвалила меня за послушание.

— Ты молодец, — сказала она ободряюще, — с тобой легко. Пари, что тебе уже давно не приходилось никого слушаться?

— Да, вы выиграли пари. Но откуда вы это знаете?

— Догадаться не мудрено. Слушаться — это как есть и пить: кто долго не пил и не ел, тому еда и питье дороже всего на свете. Тебе нравится слушаться меня, правда?

— Очень нравится. Вы все знаете.

— С тобой легко. Пожалуй, дружок, я могла бы тебе и сказать, что тебя ждет дома и чего ты так боишься. Но это ты и сам знаешь, нам незачем об этом говорить, верно? Глупости! Либо ты вешаешься — ну, так вешайся, значит, у тебя на то есть причины, — либо живешь дальше, и тогда заботиться надо только о жизни. Проще простого.

— О, — воскликнул я, — если бы это было так просто! Клянусь, я достаточно заботился о жизни, а все без толку. Повеситься, может быть, трудно, я этого не знаю. Но жить куда, куда труднее! Видит Бог, до чего это трудно!

— Ну, ты увидишь, что это очень легко. Начало мы уже сделали, ты вытер очки, поел, попил. Теперь мы пойдем и немного почистим твои брюки и башмаки, они в этом нуждаются. А потом ты станцуешь со мной шимми.

— Вот видите, — воскликнул я возбужденно, — я все-таки был прав! Больше всего на свете мне жаль не исполнить какой-либо ваш приказ. А этот я не могу исполнить. Я не могу станцевать ни шимми, ни вальс, ни польку или как там еще называются все эти штуки, я никогда в жизни не учился танцевать. Теперь вы видите, что не все так просто, как вам кажется?

Красивая девушка улыбнулась своими алыми губами и покачала четко очерченной, причесанной под мальчика головкой. Взглянув на незнакомку, я нашел было, что она похожа на Розу Крейслер, первую девушку, в которую я когда-то, мальчишкой, влюбился, но та была смугла и темноволоса. Нет, я не знал, кого напоминала мне незнакомка, я знал только, что это воспо-

минание относилось к очень ранней юности, к отрочеству.

— Погоди, — воскликнула она, — погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уанстеп? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в твоем возрасте пора бы не врать. Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?

— А если я не умею! Я этому никогда не учился.

Она засмеялась.

— Но ведь читать и писать ты учился, правда, и считать, и, наверно, учил еще латынь и французский и все такое прочее? Спорю, что ты десять или двенадцать лет просидел в школе, а потом еще, пожалуй, учился в университете и даже, может быть, именуешься доктором и знаешь китайский или испанский. Или нет? Ну, вот. Но самой малости времени и денег на несколько уроков танцев у тебя не нашлось! Эх, ты!

— Это из-за моих родителей, — оправдался я, — они заставляли меня учить латынь и греческий и тому подобное. А учиться танцевать они мне не велели, у нас это не было принято, сами родители никогда не танцевали.

Она посмотрела на меня очень холодно, с полным презреньем, и что-то в лице ее снова напомнило мне времена моей ранней юности.

— Вот как, виноваты, значит, твои родители! А ты их спросил, можно ли тебе сегодня вечером пойти в «Черный орел»? Спросил? Они уже давно умерли, говоришь? Ах, вот оно что! Если ты из чистого послушания не стал в юности учиться танцевать — ну что ж! Хотя не думаю, что ты был тогда таким уж пай-мальчиком. Но потом — что же ты делал потом, все эти годы?

— Ах, сам не знаю, — признался я. — Был студентом, музицировал, читал книги, писал книги, путешествовал…

— Странные же у тебя представления о жизни! Ты, значит, всегда занимался трудными и сложными делами, а простым так и не научился? Не было времени? Не было охоты? Ну, что ж, слава Богу, я не твоя мать. Но потом делать вид, что ты изведал жизнь и ничего в ней не нашел, — нет, это никуда не годится!

— Не бранитесь! — попросил я. — Я же знаю, что я сумасшедший.

— Да ну, не морочь мне голову! Ты вовсе не сумасшедший, господин профессор, по мне ты даже слишком несумасшедший! Ты, мне кажется,

как-то по-глупому рассудителен, совсем по-профессорски. Скушай-ка еще бутерброд! Потом расскажешь дальше.

Она опять добыла мне бутерброд, посолила его, помазала горчицей, отрезала кусочек себе и велела мне есть. Я стал есть. Я согласен был сделать все, что она ни велела бы, только не танцевать. Было неимоверно приятно слушаться кого-то, сидеть рядом с кем-то, кто расспрашивал тебя, приказывал тебе, бранил тебя. Если бы несколько часов назад профессор или его жена делали именно это, я был бы от многого избавлен. Но нет, хорошо, что так вышло, а то бы я многое потерял!

— Как, собственно, зовут тебя? — спросила она вдруг.

— Гарри.

— Гарри? Мальчишеское имя! А ты и правда мальчишка, Гарри, несмотря на седину в волосах. Ты мальчишка, и кто-то должен за тобой присматривать. О танцах уж помолчу. Но как ты причесан! Неужели у тебя нет жены, нет возлюбленной?

— Жены у меня уже нет, мы разошлись. Возлюбленная есть, но живет она не здесь, я вижу ее редко, мы не очень-то ладим.

Она тихонько свистнула сквозь зубы.

— Ты, видимо, довольно трудный господин, если все бросают тебя. Но скажи теперь, что особенного случилось сегодня вечером, почему ты метался сам не свой? Поссорился с кем-нибудь? Проиграл деньги?

Объяснить это было трудно.

— Видите ли, — начал я, — все вышло в общем-то из-за пустяка. Меня пригласили к одному профессору, сам я, кстати сказать, не профессор, — а мне, в сущности, не следовало туда ходить, я отвык сидеть в гостях и болтать, я разучился это делать. Да и в дом-то я уже вошел с чувством, что ничего путного не получится. Только я повесил шляпу, как уже сразу подумал, что, наверно, она мне скоро понадобится. Ну вот, а у этого профессора, значит, стояла на столе такая картинка, глупая картинка, и она меня разозлила…

— Что за картинка? Почему разозлила? — прервала она меня.

— Ну, картинка, изображавшая Гете, — знаете, писателя Гете. Но на ней он был не такой, как на самом деле — впрочем, точно это вообще неизвестно, он умер сто лет назад. Просто какой-то современный художник подогнал Гете к своему представлению о нем, и эта картинка разозлила

меня, показалась мне мерзкой — не знаю, понятно ли вам это?

— Очень даже понятно, не беспокойся. Дальше!

— Я уже и до этого был несогласен с профессором; он, как почти все профессора, большой патриот и во время войны вовсю помогал врать народу — от чистого сердца, конечно. А я против войны. Ну да ладно. Значит, дальше. Мне и глядеть-то на эту картинку не надо было…

— И правда, не надо было.

— Но, во-первых, мне стало жаль Гете, ведь я его очень, очень люблю, а кроме того, мне вдруг подумалось… ну, я подумал или почувствовал что-то вроде того, что вот, мол, я сижу у людей, которых считаю своими и о которых думал, что они любят Гете, как я, и видят его примерно таким же, как вижу я, а у них стоит эта пошлая, лживая, приторная картинка, и они находят ее великолепной, не замечая даже, что ее дух — прямая противоположность духу Гете. Они находят ее чудесной, и по мне — пускай, это их дело, но у меня уже нет никакого доверия к этим людям, никакой дружбы с ними, никакого чувства родства и общности. Впрочем, дружба и так-то была не Бог весть какая. И тут я разозлился, загрустил,

увидел, что я совсем один и никто меня не понимает. Вам это ясно?

— Что ж тут неясного, Гарри! А потом? Ты стукнул их картинкой по головам?

— Нет, я наговорил гадостей и убежал, мне хотелось домой, но…

— Но там не оказалось бы мамы, чтобы утешить или выругать глупого мальчишку. Ну, Гарри, мне тебя почти жаль, ты еще совсем ребенок.

Верно, с этим я был согласен, как мне казалось. Она дала мне выпить стакан вина. Она и правда вела себя со мной как мама. Но временами я видел, до чего она красива и молода.

— Значит, — начала она снова, — этот Гете умер сто лет назад, а наш Гарри очень его любит и чудесно представляет себе, какой у него мог быть вид, и на это у Гарри есть право, не так ли? А у художника, который тоже в восторге от Гете и имеет какое-то свое представленье о нем, у него такого права нет, и у профессора тоже, и вообще ни у кого, потому что Гарри это не по душе, он этого не выносит, он может наговорить гадостей и убежать. Был бы он поумней, он просто посмеялся бы над художником и над профессором. Был бы он сумасшедшим, он швырнул бы им в лицо ихнего Гете. А поскольку он всего-навсего

маленький мальчик, он убегает домой и хочет повеситься… Я хорошо поняла твою историю, Гарри. Это смешная история. Она смешит меня. Погоди, не пей так быстро! Бургундское пьют медленно, а то от него бросает в жар. Но тебе нужно все говорить, маленький мальчик.

Она взглянула на меня строго и назидательно, как какая-нибудь шестидесятилетняя гувернантка.

— О да, — попросил я, обрадовавшись, — говорите мне все.

— Что мне тебе сказать?

— Все, что захотите.

— Хорошо, я скажу тебе кое-что. Уже целый час ты слышишь, что я говорю тебе «ты», а сам все еще говоришь мне «вы». Все латынь да греческий, все бы только посложнее! Если девушка говорит тебе «ты» и она тебе не противна, ты тоже должен говорить ей «ты». Ну, вот, кое-что ты и узнал. И второе: уже полчаса, как я знаю, что тебя зовут Гарри. Я это знаю, потому что спросила тебя. А ты не хочешь знать, как меня зовут.

— О нет, очень хочу.

— Поздно, малыш! Когда мы как-нибудь снова увидимся, можешь снова спросить. Сегодня я уже тебе не скажу. Ну, вот, а теперь я хочу танцевать.

Она приготовилась встать, и у меня вдруг испортилось настроение, я испугался, что она уйдет и оставит меня одного, и тогда сразу все станет по-прежнему. Как возвращается вдруг, обжигая огнем, утихшая было зубная боль, так мгновенно вернулся ко мне мой ужас. Господи, неужели я забыл, что меня ждет? Разве что-нибудь изменилось?

— Погодите, — взмолился я, — не уходите… не уходи! Конечно, ты можешь танцевать сколько хочешь, но не уходи надолго, вернись, вернись!

Она, смеясь, встала. Я представлял себе ее выше ростом, она была стройна, но роста небольшого. Она снова напомнила мне кого-то — кого? Это оставалось загадкой.

— Ты вернешься?

— Вернусь, но, может быть, не так скоро, через полчаса или даже через час. Вот что я тебе скажу: закрой глаза и сосни; тебе это нужно.

Я пропустил ее, и она ушла; ее юбочка задела мои колени, на ходу она взглянула в круглое, крошечное карманное зеркальце, подняла брови, припудрила подбородок крошечной пуховкой и исчезла в танцзале. Я огляделся: незнакомые лица, курящие мужчины, пролитое пиво на мраморном столике, везде крик и визг, рядом

танцевальная музыка. Мне надо соснуть, сказала она. Ах, детка, знала бы ты, что мой сон пугливее белки! Спать в этом бедламе, сидя за столиком, среди стука пивных кружек. Я отпил глоток вина, вынул из кармана сигару, поискал взглядом спичек, но курить мне, собственно, не хотелось, я положил сигару перед собой на столик. «Закрой глаза», — сказала она мне. Одному Богу известно, откуда у этой девушки такой голос, такой низковатый, добрый голос, материнский голос. Хорошо было слушаться ее голоса, я в этом убедился. Я послушно закрыл глаза, приклонил голову к стене, услыхал, как окатывают меня сотни громких звуков, усмехнулся по поводу мысли о том, чтобы здесь уснуть, решил пройти к двери зала и заглянуть в него, — ведь надо же мне было посмотреть, как танцует моя красивая девушка, — шевельнул под стулом ногами, почувствовал лишь теперь, как бесконечно устал я, прослонявшись по улицам столько часов, и остался на месте. И вот я уже спал, покорный материнскому приказу, спал жадно и благодарно и видел сон, такой ясный и такой красивый сон, каких давно не видел. Мне снилось:

Я сидел и ждал в старомодной приемной. Сперва я знал только, что обо мне доложено «его

превосходительству», потом меня осенило, что примет-то меня господин фон Гете. К сожалению, я пришел сюда не совсем как частное лицо, а как корреспондент некоего журнала, это очень мешало мне, и я не мог понять, какого черта оказался в таком положении. Кроме того, меня беспокоил скорпион,[70] который только что был виден и пытался вскарабкаться по моей ноге. Я, правда, оказал сопротивление этому черному паучку, стряхнув его, но не знал, где он притаился сейчас, и не осмеливался ощупать себя.

Да и не был я вполне уверен, что обо мне по ошибке не доложили вместо Гете Маттиссону,[71] которому я, однако, спутав его во сне с Бюргером, приписал стихи к Молли. Впрочем, встретиться с Молли мне очень хотелось бы, я представлял ее

---

[70] Примечания: 70

Наряду с ложью и неверностью, средневековая символика приписывала скорпиону значение «побежденного дьявола».

[71] Примечания: 71

Маттиссон, Фридрих (1761–1831) — немецкий лирик сентиментально-классицистического направления; Бюргер Готфрид Август (1747–1794) — немецкий поэт, основоположник жанра баллады. Состоял во втором браке с сестрой своей первой жены Августой Леонгарт, по прозвищу Молли, которой посвятил много стихов. Чем объясняется ассоциативная связь между Маттиссоном и Бюргером, трудно установить, возможно, тем, что Маттиссон был автором стихотворения «Аделаида» (положенного на музыку Бетховеном), характер и популярность которого могли сравниться с некоторыми стихами Бюргера «К Молли».

себе чудесной женщиной, мягкой, музыкальной, вечерней. Если бы только я не сидел здесь по заданию этой проклятой редакции! Мое недовольство все возрастало и постепенно перенеслось на Гете, который вдруг вызвал у меня множество всяких упреков и возражений. Прекрасная могла бы выйти аудиенция! А скорпион, хоть он и опасен, хоть он, возможно, и спрятался поблизости от меня, был, пожалуй, не так уж и плох; он мог, показалось мне, означать и что-то приятное, вполне возможно, так мне показалось, он имеет какое-то отношение к Молли, он как бы ее гонец или ее геральдический зверь, дивный, опасный геральдический зверь женственности и греха. Может быть, имя этому зверю было Вульпиус?[72] Но тут слуга распахнул дверь, я поднялся и вошел в комнату.

[72] Примечания: 72

Вульпиус — девичья фамилия Христианы фон Гете (1765–1816), жены поэта. В данном контексте упоминание ее девичьей фамилии, возможно, содержит намек на лисицу, мифологический аналог волка, который зашифрован в латинском корне этой фамилии.

Передо мной стоял старик Гете,[73] маленький и очень чопорный, и на его груди классика действительно была толстая орденская звезда. Казалось, он все еще вершит делами, все еще дает аудиенции, все еще правит миром из своего веймарского музея. Ибо, едва увидев меня, он отрывисто качнул головой, как старый ворон,[74] и торжественно произнес:

— Ну-с, молодые люди, вы, кажется, не очень-то согласны с нами и нашими стараньями?

— Совершенно верно, — сказал я, и меня пронизало холодом от его министерского взгляда. — Мы, молодые люди, действительно не согласны с вами, человеком старым. Вы, на наш вкус, слишком торжественны, ваше превосходительство, слишком тщеславны и чванны, слишком неис-

---

[73] Примечания: 73

Образ Гете, как и образ Моцарта, занимал Гессе на протяжении всей его жизни. Писатель посвятил ему несколько статей, рецензии и отдельные отрывки в художественных произведениях. В одной из статей Гессе писал: «Из всех немецких поэтов Гете был тем, которому я больше всех обязан, который больше всех занимал, преследовал, подбадривал меня и вынуждал следовать или же противиться ему». Гете был для Гессе свершением идеала «совершенного человека», достижением и осуществлением конечной цели долгого пути становления личности. Наряду с Гете и Моцартом, осуществлением идеала «совершенного» и «бессмертного» человека Гессе представлялись Будда, Леонардо да Винчи и др.

[74] Примечания: 74

Сравнение Гете с вороном не случайно, ибо в мифологии и фольклоре ворон, являясь персонификацией дьявола и порождением злых демо-

нических сил, занимает в птичьем царстве то же место, что и волк в мире животном. Таким образом, сравнение лишний раз указывает на то, что «бессмертные» интегрируют в себе, наряду со светлой, аполлинической, стороной, и дионисически темную волчью природу.

кренни. Это, пожалуй, самое важное: слишком неискренни.

Старичок немного выпятил свою строгую голову, его твердый, официально поджатый рот, разомкнувшись в усмешке, стал замечательно живым, и у меня вдруг сильно забилось сердце, я вдруг вспомнил стихотворение «С неба сумерки спускались…» и что слова этого стихотворения вышли из этого человека, из этих уст. По сути, я уже в тот же миг был совершенно обезоружен и побежден и готов упасть перед ним на колени. Но я сохранил осанку и услыхал из его усмехавшихся уст:

— Так, стало быть, вы обвиняете меня в неискренности? Что за речи! Не объяснитесь ли вы обстоятельнее?

Мне хотелось объясниться, очень хотелось.

— Вы, господин фон Гете, как все великие умы, ясно поняли и почувствовали сомнительность, безнадежность человеческой жизни — великолепие мгновения и его жалкое увядание, невозможность оплатить прекрасную высоту чувства иначе, чем тюрьмой обыденности, жгучую тоску по царству духа, которая вечно и на смерть борется со столь же жгучей и столь же священной любовью к потерянной невинности природы,

все это ужасное метание в пустоте и неопределенности, эту обреченность на бренность, на всегдашнюю неполноценность, на то, чтобы вечно делать только какие-то дилетантские попытки, — короче говоря, всю безвыходность, странность, все жгучее отчаяние человеческого бытия. Все это вы знали, порой даже признавали, и тем не менее всей своей жизнью вы проповедовали прямо противоположное, выражали веру и оптимизм, притворялись перед собой и перед другими, будто в наших духовных усилиях есть что-то прочное, какой-то смысл. Вы отвергали и подавляли сторонников глубины, голоса отчаянной правды — в себе самом так же, как в Бетховене и Клейсте.[75] Вы десятилетиями делали вид, будто накопление знаний, коллекций, писание и собирание писем, будто весь ваш веймарский стариковский быт — это действительно способ увековечить мгновенье, — а ведь вы его только мумифицировали, — действительно способ одухотворить природу, — а ведь вы ее только

[75] Примечания: 75

Отношение Гете к своим выдающимся современникам Г. Клейсту (1777–1811) и Л. Бетховену (1770–1827), при всем пиетете к огромным масштабам их дарования, на протяжении всей жизни оставалось критическим. Здоровая гармоническая натура Гете не могла принять необузданной односторонности и бескомпромиссности, трагического надлома и болезненности, присущих как характеру, так и творческой манере этих художников.

стилизовали, только гримировали. Это и есть неискренность, в которой мы вас упрекаем.

Старый тайный советник задумчиво посмотрел мне в глаза, на устах его все еще играла усмешка.

Затем он спросил, к моему удивленью:

— В таком случае Моцартова «Волшебная флейта» вам, наверно, очень противна?

И, прежде чем я успел решительно возразить, он продолжал: — «Волшебная флейта» представляет жизнь как сладостную песнь, она славит наши чувства, — а ведь они преходящи, — как нечто вечное и божественное, она не соглашается ни с господином фон Клейстом, ни с господином Бетховеном, а проповедует оптимизм и веру.

— Знаю, знаю! — воскликнул я со злостью. — Боже, как это пришла вам на ум именно «Волшебная флейта», которую я люблю больше всего на свете! Но Моцарт не дожил до восьмидесяти двух лет и в своей личной жизни не притязал на долговечность, на порядок, на чопорное достоинство, как вы! Он так не важничал! Он пел свои божественные мелодии, и был беден, и умер рано, непризнанный, в бедности…

У меня не хватило дыхания. Тысячи вещей надо было сейчас сказать десятью словами, у меня

выступил пот на лбу.

Но Гете сказал очень дружелюбно:

— Что я дожил до восьмидесяти двух лет, может быть, и непростительно. Но удовольствия это доставило мне меньше, чем вы думаете. Вы правы: долговечности я всегда сильно желал, смерти всегда боялся и с ней боролся. Я думаю, что борьба против смерти, безусловная и упрямая воля к жизни есть та первопричина, которая побуждала действовать и жить всех выдающихся людей. Но что в конце концов приходится умирать, это, мой юный друг, я в свои восемьдесят два года доказал так же убедительно, как если бы умер школьником. В свое оправдание, если это может служить им, скажу еще вот что: в моей природе было много ребяческого, много любопытства, много готовности играть и разбазаривать время. Потому мне и понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что играть-то уж хватит.

Говорил он это с очень озорной, даже нагловатой улыбкой. Он сделался выше ростом, чопорность в позе и напыщенность в лице исчезли. И воздух вокруг нас был теперь сплошь полон мелодий, полон гетевских песен,[76] я явственно

[76] Примечания: 76

Гессе имеет в виду многочисленные переложения стихотворении Гете на музыку — Бетховена, Шуберта, Шумана и др.

различал «Фиалку» Моцарта и «Вновь на долы и леса...» Шуберта. И лицо Гете было теперь розовое и молодое и смеялось, и он походил то на Моцарта, то на Шуберта, как брат, и звезда у него на груди состояла сплошь из луговых цветов, и в середине ее весело и пышно цвела желтая примула.

Меня не вполне устраивало, что старик так шутливо отделывался от моих вопросов и обвинений, и я посмотрел на него с упреком. Тогда он наклонился вперед, приблизил свой рот, сделавшийся уже совсем детским, к моему уху и тихо прошептал:

— Мальчик мой, ты принимаешь старого Гете слишком всерьез. Старых людей, которые уже умерли, не надо принимать всерьез, а то обойдешься с ними несправедливо. Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно, мы любим шутку. Серьезность, мальчик мой, это атрибут времени; она возникает, открою тебе, от переоценки времени. Я тоже когда-то слишком высоко ценил время, поэтому я хотел дожить до ста лет. А в вечности, видишь ли, времени нет; вечность — это всего-навсего мгновенье, которого как раз и хватает на шутку.

Говорить с ним серьезно и правда больше

нельзя было, он весело и ловко приплясывал, и примула в его звезде то вылетала из нее, как ракета, то уменьшалась и исчезала. Когда он блистал своими па и фигурами, я невольно подумал, что этот человек, по крайней мере, не упустил случая научиться танцевать. У него это получалось замечательно. Тут я снова вспомнил о скорпионе, вернее, о Молли, и крикнул Гете:

— Скажите, Молли здесь нет?

Гете расхохотался. Он подошел к своему столу, отпер один из ящиков, вынул оттуда какую-то дорогую не то кожаную, не то бархатную коробочку, открыл ее и поднес к моим глазам. Там, мерцая на темном бархате, лежала крошечная женская ножка, безупречная, восхитительная ножка, слегка согнутая в колене, с вытянутой книзу стопой, заостренной изящнейшей линией пальчиков.

Я протянул руку, чтобы взять эту ножку, в которую уже влюбился, но когда я хотел ухватить ее двумя пальцами, игрушка как бы чуть-чуть отпрянула, и у меня вдруг возникло подозрение, что это и есть тот скорпион. Гете, казалось, понял это, казалось даже, он как раз и хотел, как раз и добивался этого глубокого смущения, этой судорожной борьбы между желанием и страхом. Он поднес очаровательного скорпиончика к самому

моему лицу, увидел мое влечение, увидел, как я в ужасе отшатнулся, и это, казалось, доставило ему большое удовольствие. Дразня меня своей прелестной, своей опасной вещицей, он снова стал совсем старым, древним, тысячелетним, седым как лунь, и его увядшее, старческое лицо смеялось тихо, беззвучно, смеялось резко и загадочно, с каким-то глубокомысленным старческим юмором.

Проснувшись, я сразу забыл свой сон, лишь позже он пришел мне на память. Проспал я, видимо, около часа, среди музыки и толчеи, за ресторанным столиком — никак не думал, что я на это способен. Моя милая девушка стояла передо мной, держа руку на моем плече.

— Дай мне две-три марки, — сказала она, — я там кое-что съела.

Я отдал ей свой кошелек, она ушла с ним и скоро вернулась. — Ну вот, теперь я немного посижу с тобой, а потом мне надо будет уйти, у меня свидание. Я испугался.

— С кем же? — спросил я быстро.

— С одним господином, маленький Гарри. Он пригласил меня в бар «Одеон».

— О, а я-то думал, что ты не оставишь меня одного.

— Вот и пригласил бы меня. Но тебя опередили. Что ж, зато сэкономишь деньги. Знаешь «Одеон»? После полуночи только шампанское. Мягкие кресла, негритянская капелла, очень изысканно.

Всего этого я не учел.

— Ах, — сказал я просительно, — так позволь пригласить тебя мне! Я считал, что это само собой разумеется, ведь мы же стали друзьями. Позволь пригласить куда тебе угодно. Прошу тебя.

— Очень мило с твоей стороны. Но знаешь, слово есть слово, я согласилась, и я пойду. Не хлопочи больше! Выпей-ка лучше еще глоток, у нас ведь осталось вино в бутылке. Выпьешь его и пойдешь чин чином домой и ляжешь спать. Обещай мне.

— Нет, слушай, домой я не могу идти.

— Ах, эти твои истории! Ты все еще не разделался с этим Гете (тут я и вспомнил свой сон). Но если ты действительно не можешь идти домой, оставайся здесь, у них есть номера. Заказать тебе?

Я обрадовался и спросил, где можно будет увидеть ее снова. Где она живет? Этого она не сказала мне. Надо, мол, только немного поискать, и я уж найду ее.

— А нельзя тебя пригласить?

— Куда?

— Куда тебе хочется и когда захочется.

— Хорошо. Во вторник поужинаем в «Старом французском», на втором этаже. До свиданья!

Она подала мне руку, и только теперь я обратил внимание на эту руку, которая так подходила к ее голосу, — красивую и полную, умную и добрую. Она насмешливо улыбнулась, когда я поцеловал ей руку.

В последний миг она еще раз обернулась ко мне и сказала: — Я хочу еще кое-что сказать тебе — по поводу Гете.

Понимаешь, то же самое, что у тебя вышло с Гете, когда тебя взорвало из-за его портрета, бывает у меня иногда со святыми.

— Со святыми? Ты такая набожная?

— Нет, я не набожная, к сожалению, но когда-то была набожная и когда-нибудь еще буду опять. Ведь времени нет для набожности.

— Времени нет? Разве для этого нужно время?

— Еще бы. Для набожности нужно время, больше того, нужна даже независимость от времени! Нельзя быть всерьез набожной и одновременно жить в действительности, да еще и принимать ее тоже всерьез — время, деньги, бар «Одеон» и все такое.

— Понимаю. Но что же это у тебя со святыми?

— Да, есть святые, которых я особенно люблю,[77] — Стефан, святой Франциск и другие. И вот иногда мне попадаются их изображения, а также Спасителя и Богоматери, такие лживые, фальшивые, дурацкие изображения, что мне и смотреть-то на них тошно точно так же, как тебе на тот портрет Гете. Когда я вижу этакого слащавого, глупого Спасителя и вижу, как другие находят такие картинки прекрасными и возвышающими душу, я воспринимаю это как оскорбление настоящего Спасителя и я думаю: ах, зачем Он жил и так ужасно страдал, если людям достаточно и такого глупого Его изображения! Но тем не менее я знаю, что и мой образ Спасителя или Франциска — это всего лишь образ какого-то человека и до прообраза не дотягивается, что самому Спасителю мой внутренний образ Его показался бы таким же в точности глупым и убогим, как мне эти слащавые образки. Я говорю тебе это не для того, чтобы оправдать твою досаду и злость на тот портретик, нет, тут ты не прав,

[77] Примечания: 77

Духовным авторитетам и учителям Галлера — Гете и Моцарту — Гермина противопоставляет святых, воплощающих для нее сферу души. Св. Франциск Ассизский (1182–1226) — религиозный деятель и философ позднего средневековья, учивший любви к людям и природе, — один из любимых образов Гессе, которому он посвятил два сочинения («Франциск Ассизский», 1904; «Из детства Франциска Ассизского», 1919).

говорю я это, только чтобы показать тебе, что способна тебя понять. Ведь у вас, ученых и художников, полно в головах всяких необыкновенных вещей, но вы такие же люди, как прочие, и у нас, у прочих, тоже есть в головах свои мечты и свои игры. Я же заметила, ученый господин, что ты немножко смутился, думая, как рассказать мне свою историю с Гете, — тебе надо было постараться сделать свои высокие материи понятными простой девушке. Ну вот, я и хочу тебе показать, что незачем было особенно стараться. Я тебя и так понимаю. А теперь довольно! Тебе надо лечь спать.

Она ушла, а меня проводил на третий этаж старик-лакей, вернее, сперва он осведомился о моем багаже и, услышав, что багажа нет, взял с меня вперед то, что на его языке именовалось «ночлежными». Затем он поднялся со мной по старой темной лестнице, привел меня в какую-то комнатку и оставил одного. Там стояла хлипкая деревянная кровать, очень короткая и жесткая, а на стене висели сабля, цветной портрет Гарибальди и увядший венок, оставшийся от празднества какого-то клуба.

Я многое отдал бы за ночную рубашку. В моем распоряжении были, по крайней мере, вода и

маленькое полотенце, так что я умылся, а затем лег на кровать в одежде, не погасив света. Теперь можно было спокойно подумать. Итак, с Гете дело уладилось. Чудесно, что он явился ко мне во сне! И эта замечательная девушка — знать бы ее имя! Вдруг человек, живой человек, который разбил мутный стеклянный колпак моей омертвелости и подал мне руку, добрую, прекрасную, теплую руку! Вдруг снова вещи, которые меня как-то касались, о которых я мог думать с радостью, с волненьем, с интересом! Вдруг открытая дверь, через которую ко мне вошла жизнь! Может быть, я снова сумею жить, может быть, опять стану человеком. Моя душа, уснувшая на холоде и почти замерзшая, вздохнула снова, сонно повела слабыми крылышками. Гете побывал у меня. Девушка велела мне есть, пить, спать, приняла во мне дружеское участие, высмеяла меня, назвала меня глупым мальчиком. И еще она, замечательная моя подруга, рассказала мне о святых, показала мне, что даже в самых странных своих заскоках я вовсе не одинок и не представляю собой непонятного, болезненного исключения, что у меня есть братья и сестры, что меня понимают. Увижу ли я ее вновь? Да, конечно, на нее можно положиться. «Слово есть слово».

И вот я уже опять уснул, я проспал около четырех или пяти часов. Было уже больше десяти, когда я проснулся — в измятой одежде, разбитый, усталый, с воспоминанием о чем-то ужасном, случившемся накануне, но живой, полный надежд, полный славных мыслей. При возвращении в свою квартиру я не чувствовал ни малейшего подобия тех страхов, какие внушало мне это возвращенье вчера.

На лестнице, выше араукарии, я встретился с «тетушкой», моей хозяйкой, которую мне редко случалось видеть, но приветливость которой мне очень нравилась. Встреча эта была мне неприятна, вид у меня, непричесанного и небритого, был как-никак довольно несвежий. Вообще-то она всегда считалась с моим желанием, чтобы меня не беспокоили и не замечали, но сегодня, кажется, и впрямь прорвалась завеса, рухнула перегородка между мной и окружающим миром — «тетушка» засмеялась и остановилась.

— Ну, и гульнули же вы, господин Галлер, даже не ночевали дома. Представляю себе, как вы устали!

— Да, — сказал я и тоже засмеялся, — ночь сегодня была довольно-таки бурная, и чтобы не нарушать стиля вашего дома, я поспал в гости-

нице. Я очень чту покой и добропорядочность вашего дома, иногда я кажусь себе в нем каким-то инородным телом.

— Не смейтесь, господин Галлер.

— О, я смеюсь только над самим собой.

— Вот это-то и нехорошо. Вы не должны чувствовать себя «инородным телом» в моем доме. Живите себе, как вам нравится, и делайте, что вам хочется. У меня было много очень-очень порядочных жильцов, донельзя порядочных, но никто не был спокойнее и не мешал нам меньше, чем вы. А сейчас — хотите чаю?

Я не устоял. Чай был мне подан в ее гостиной с красивыми дедовскими портретами и дедовской мебелью, и мы немного поболтали. Не задавая прямых вопросов, эта любезная женщина узнала кое-что о моей жизни и моих мыслях, она слушала меня с той смесью внимания и материнской невзыскательности, с какой относятся умные женщины к чудачествам мужчин. Зашла речь и об ее племяннике, и в соседней комнате она показала мне его последнюю любительскую поделку — радиоприемник. Вот какую машину смастерил в свои свободные вечера этот прилежный молодой человек, увлеченный идеей беспроволочности и благоговеющий перед богом техники,

которому понадобились тысячи лет, чтобы открыть и весьма несовершенно представить то, что всегда знал и чем умнее пользовался каждый мыслитель. Мы поговорили об этом, ибо тетушка немного склонна к набожности и не прочь побеседовать на религиозные темы. Я сказал ей, что вездесущность всех сил и действий была отлично известна древним индийцам, а техника довела до всеобщего сознания лишь малую часть этого феномена, сконструировав для него, то есть для звуковых волн, пока еще чудовищно несовершенные приемник и передатчик. Самая же суть этого старого знания, нереальность времени, до сих пор еще не замечена техникой, но, конечно, в конце концов она тоже будет «открыта» и попадет в руки деятельным инженерам. Откроют, и может быть, очень скоро, что нас постоянно окружают не только теперешние, сиюминутные картины и события, — подобно тому как музыка из Парижа и Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе, — но что все когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует и что в один прекрасный день мы, наверно, услышим, с помощью или без помощи проволоки, со звуковыми помехами или без оных, как говорят

царь Соломон и Вальтер фон дер Фогельвайде.[78] И все это, как сегодня зачатки радио, будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, спутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости. Но все эти хорошо известные мне вещи я говорил не тем привычным своим тоном, который полон язвительного презрения к времени и к технике, а шутливо и легко, и тетушка улыбалась, и мы просидели вместе добрый час, попивали себе чай и были довольны.

На вечер вторника пригласил я эту красивую, замечательную девушку из «Черного орла», и убить оставшееся время стоило мне немалых усилий. А когда вторник наконец наступил, важность моих отношений с незнакомкой стала мне до страшного ясна. Я думал только о ней, я ждал от нее всего, я готов был все принести ей в жертву, бросить к ее ногам, хотя отнюдь не был в нее влюблен. Стоило лишь мне представить себе, что она нарушит или забудет наш уговор, и я уже ясно видел, каково мне будет тогда: мир снова станет пустым, потекут серые, никчемные дни, опять вернется весь этот ужас тишины и

[78] Примечания: 78

Вальтер фон дер Фогельвайде (ок. 1175– ок. 1230) — немецкий поэт, самый значительный представитель Миннезанга.

омертвенья вокруг меня, и единственный выход из этого безмолвного ада — бритва. А бритва нисколько не стала милей мне за эти несколько дней, она пугала меня ничуть не меньше, чем прежде. Вот это-то и было мерзко: я испытывал глубокий, щемящий страх, я боялся перерезать себе горло, боялся умирания, противился ему с такой дикой, упрямой, строптивой силой, словно я здоровый человек, а моя жизнь — рай. Я понимал свое состояние с полной, беспощадной ясностью, понимал, что не что иное, как невыносимый раздор между неспособностью жить и неспособностью умереть делает столь важной для меня эту маленькую красивую плясунью из «Черного орла». Она была окошечком, крошечным светлым отверстием в темной пещере моего страха. Она была спасением, путем на волю. Она должна была научить меня жить или научить умереть, она должна была коснуться своей твердой и красивой рукой моего окоченевшего сердца, чтобы оно либо расцвело, либо рассыпалось в прах от прикосновения жизни. Откуда взялись у нее эти силы, откуда пришла к ней эта магия, по каким таинственным причинам возымела она столь глубокое значение для меня, об этом я не думал, да и было это безразлично; мне совершенно не

важно было это знать. Никакое знание, никакое понимание для меня уже ничего не значило, ведь именно этим я был перекормлен, и в том-то и была для меня самая острая, самая унизительная и позорная мука, что я так отчетливо видел, так явно сознавал свое состоянье. Я видел этого малого, эту скотину Степного волка мухой в паутине, видел, как решается его судьба, как запутался он и как беззащитен, как приготовился впиться в него паук, но как близка, кажется, и рука помощи. Я мог бы сказать самые умные и тонкие вещи о связях и причинах моего страданья, моей душевной болезни, моего помешательства, моего невроза, эта механика была мне ясна. Но нужны были не знанье, не пониманье, — не их я так отчаянно жаждал, — а впечатления, решенье, толчок и прыжок.

Хотя в те дни ожиданья я нисколько не сомневался, что моя приятельница сдержит слово, в последний день я был все же очень взволнован и неуверен; никогда в жизни я не ждал вечера с таким нетерпеньем. И как ни невыносимы становились напряженье и нетерпенье, они в то же время оказывали на меня удивительно благотворное действие: невообразимо отрадно и ново было мне, разочарованному, давно уже ничего не

ждавшему, ничему не радовавшемуся, чудесно это было — метаться весь день в тревоге, страхе и лихорадочном ожиданье, наперед представлять себе результаты вечера, бриться ради него и одеваться (с особой тщательностью, новая рубашка, новый галстук, новые шнурки для ботинок). Кем бы ни была эта умная и таинственная девушка, каким бы образом ни вступила она в этот контакт со мной, для меня это не имело значенья; она существовала, чудо случилось, я еще раз нашел человека и нашел в себе новый интерес к жизни! Важно было только, чтобы это продолжалось, чтобы я предался этому влечению, последовал за этой звездой.

Незабываем тот миг, когда я ее снова увидел! Я сидел за маленьким столиком старого, уютного ресторана, предварительно, хотя в том не было нужды, заказанным мною по телефону, и изучал меню, а в стакане с водой стояли две прекрасные орхидеи,[79] которые я купил для своей подруги. Ждать мне пришлось довольно долго, но я был уверен, что она придет, и уже не волновался. И

[79] Примечания: 79

Цветы орхидеи являются в религиях Востока символом божественного, в то же время орхидею традиционно принято считать цветком куртизанок. Из этих двух значений черпают свою символику цветы орхидеи и в романе, отражая природу отношений Галлера и Гермины.

вот она пришла, остановилась у гардероба и поздоровалась со мной только внимательным, чуть испытующим взглядом своих светло-серых глаз. Я недоверчиво проследил, как держится с нею официант. Нет, слава Богу, никакой фамильярности, ни малейшего несоблюдения дистанции, он был безупречно вежлив. И все же они были знакомы, она называла его Эмиль.

Когда я преподнес ей орхидеи, она обрадовалась и засмеялась.

— Это мило с твоей стороны, Гарри. Ты хотел сделать мне подарок, — так ведь? — и не знал, что выбрать, не очень-то знал, насколько ты, собственно, вправе дарить мне что-либо, не обижусь ли я, вот ты и купил орхидеи, это всего лишь цветы, а стоят все-таки дорого. Спасибо. Кстати, скажу тебе сразу: я не хочу, чтобы ты делал мне подарки. Я живу на деньги мужчин, но на твои деньги я не хочу жить. Но как ты изменился! Тебя не узнать. В тот раз у тебя был такой вид, словно тебя только что вынули из петли, а сейчас ты уже почти человек. Кстати, ты выполнил мой приказ?

— Какой приказ?

— Забыл? Я хочу спросить, умеешь ли ты теперь танцевать фокстрот. Ты говорил, что ничего так

не желаешь, как получать от меня приказы, что слушаться меня тебе милее всего. Вспоминаешь?

— О да, и это остается в силе! Я говорил всерьез.

— А танцевать все-таки еще не научился?

— Разве можно так быстро, всего за несколько дней?

— Конечно. Танцевать фокс можно выучиться за час, бостон за два часа. Танго сложнее, но оно тебе и не нужно.

— А теперь мне пора наконец узнать твое имя. Она поглядела на меня молча.

— Может быть, ты его угадаешь. Мне было бы очень приятно, если бы ты его угадал. Ну-ка, посмотри на меня хорошенько! Ты еще не заметил, что у меня иногда бывает мальчишеское лицо? Например, сейчас?

Да, присмотревшись теперь к ее лицу, я согласился с ней, это было мальчишеское лицо. И когда я минуту помедлил, это лицо заговорило со мной и напомнило мне мое собственное отрочество и тогдашнего друга — того звали Герман. На какое-то мгновение она совсем превратилась в этого Германа.

— Если бы ты была мальчиком, — сказал я удивленно, — тебе следовало бы зваться Германом.

— Кто знает, может быть, я и есть мальчик, только переодетый, — сказала она игриво.

— Тебя зовут Гермина?[80]

Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал. Как раз подали суп, мы начали есть, и она развеселилась, как ребенок. Красивей и своеобразней всего, что мне в ней нравилось и меня очаровывало, была эта ее способность переходить совершенно внезапно от глубочайшей серьезности к забавнейшей веселости, и наоборот, причем нисколько не меняясь и не кривляясь, этим она походила на одаренного ребенка. Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков в моей внешности.

В ходе нашей болтовни я спросил ее:

---

[80] Примечания: 80

Имя героини, представляя собой женскую форму немецкого имени Герман, указывает на ее родство с автором, а также с героем романа. Вместе с тем оно несомненно ассоциативно связано с богом Гермесом, проводником душ, подключая, к романическому сюжету и мотивы, присущие Гермесу — покровителю магии. Античный Гермес способствует встречам и находкам, его игра на свирели убаюкивает сознание, он управляет снами, он — проявление фаллического начала, он же воспевает Мнемозину, неиссякаемый источник воспоминаний, его время суток — ночь. Все эти функции античного бога в дальнейшем, кроме главного героя, распределяются на три персонажа: Гермину, Пабло и Марию.

— Как это у тебя получилось, что ты вдруг стала похожа на мальчика и я угадал твое имя?

— О, это все получилось у тебя самого. Как же ты, ученый господин, не понимаешь, что я потому тебе нравлюсь и важна для тебя, что я для тебя как бы зеркало, что во мне есть что-то такое, что отвечает тебе и тебя понимает? Вообще-то всем людям надо бы быть друг для друга такими зеркалами, надо бы так отвечать, так соответствовать друг другу, но такие чудаки, как ты, — редкость и легко сбиваются на другое: они, как околдованные, ничего не могут увидеть и прочесть в чужих глазах, им ни до чего нет дела. И когда такой чудак вдруг все-таки находит лицо, которое на него действительно глядит и в котором он чует что-то похожее на ответ и родство, ну, тогда он, конечно, радуется.

— Ты все знаешь, Гермина! — воскликнул я удивленно. — Все в точности так, как ты говоришь! И все же ты совсем-совсем иная, чем я! Ты моя противоположность, у тебя есть все, чего у меня нет.

— Так тебе кажется, — сказала она лаконично, — и это хорошо.

И тут на ее лицо, которое и в самом деле было для меня каким-то волшебным зеркалом, набе-

жала тяжелая туча серьезности, вдруг все это лицо задышало только серьезностью, только трагизмом, бездонным, как в пустых глазах маски. Медленно, словно бы через силу произнося слово за словом, она сказала:

— Слушай, не забывай, что ты сказал мне! Ты сказал, что я должна тебе приказывать и что для тебя это будет радость — подчиняться всем моим приказам. Не забывай этого! Знай, маленький Гарри: так же, как я действую на тебя, как мое лицо дает тебе ответ и что-то во мне идет тебе навстречу и внушает тебе доверие, — точно так же и ты действуешь на меня. Когда я в тот раз увидела, как ты появился в «Черном орле», такой усталый, с таким отсутствующим видом, словно ты уже почти на том свете, я сразу почувствовала: этот будет меня слушаться, он жаждет, чтобы я ему приказывала, и я буду ему приказывать! Поэтому я и заговорила с тобой, и поэтому мы стали друзьями.

Она говорила с такой тяжелой серьезностью, с таким душевным напряжением, что я не вполне понимал ее и попытался успокоить ее и отвлечь. Она только отмахнулась от этих моих попыток движеньем бровей и продолжала ледяным голосом:

— Ты должен сдержать свое слово, малыш, так и знай, а то пожалеешь. Ты будешь получать от меня много приказов и будешь им подчиняться, славных приказов, приятных приказов, тебе будет сплошное удовольствие их слушаться. А под конец ты исполнишь и мой последний приказ, Гарри.

— Исполню, — сказал я почти безвольно. — Что ты прикажешь мне напоследок?

Но я уже догадывался — что, Бог знает почему. Она поежилась, словно ее зазнобило, и, кажется, медленно вышла из своей отрешенности. Ее глаза не отпускали меня. Она стала вдруг еще мрачнее.

— Было бы умно с моей стороны не говорить тебе этого. Но я не хочу быть умной, Гарри, на сей раз — нет. Я хочу чего-то совсем другого. Будь внимателен, слушай! Ты услышишь это, снова забудешь, посмеешься над этим, поплачешь об этом. Будь внимателен, малыш! Я хочу поиграть с тобой, братец, не на жизнь, а на смерть, и, прежде чем мы начнем играть, хочу раскрыть тебе свои карты.

Какое прекрасное, какое неземное было у нее лицо, когда она это говорила! В ее глазах, холодных и светлых, витала умудренная грусть,

эти глаза, казалось, выстрадали все мыслимые страданья и сказали им «да». Губы ее говорили с трудом, словно им что-то мешало, — так говорят на большом морозе, когда коченеет лицо, но между губами, в уголках рта, в игре редко показывавшегося кончика языка струилась, противореча ее взгляду и голосу, какая-то милая, игривая чувственность, какая-то искренняя сладострастность. На ее тихий, ровный лоб свисал короткий локон, и оттуда, от той стороны лба, где он свисал, изливалась время от времени, как живое дыханье, эта волна мальчишества, двуполой магии. Я слушал ее испуганно и все же как под наркозом, словно бы наполовину отсутствуя.

— Ты расположен ко мне, — продолжала она, — по причине, которую я уже открыла тебе: я прорвала твое одиночество, я перехватила тебя у самых ворот ада и оживила вновь. Но я хочу от тебя большего, куда большего. Я хочу заставить тебя влюбиться в меня. Нет, не возражай мне, дай сказать! Ты очень расположен ко мне, я это чувствую, и благодарен мне, но ты не влюблен в меня. Я хочу сделать так, чтобы ты влюбился в меня, это входит в мою профессию; ведь я живу на то, что заставляю мужчин влюбляться в себя. Но имей в виду, я хочу сделать это не потому,

что нахожу тебя таким уж очаровательным. Я не влюблена в тебя, Гарри, как и ты не влюблен в меня. Но ты нужен мне так же, как тебе нужна я. Я нужна тебе сейчас, сию минуту, потому что ты в отчаянье и нуждаешься в толчке, который метнет тебя в воду и сделает снова живым. Я нужна тебе, чтобы ты научился танцевать, научился смеяться, научился жить. А ты понадобишься мне — не сегодня, позднее — тоже для одного очень важного и прекрасного дела. Когда ты будешь влюблен в меня, я отдам тебе свой последний приказ, и ты повинуешься, и это будет на пользу тебе и мне.

Она приподняла в стакане одну из коричнево-фиолетовых, с зелеными прожилками орхидей, склонила к ней на мгновенье лицо и стала глядеть на цветок.

— Тебе будет нелегко, но ты это сделаешь. Ты выполнишь мой приказ и убьешь меня. Вот в чем дело. Больше не спрашивай!

Все еще глядя на орхидею, она умолкла, ее лицо перестало быть напряженным, оно расправилось, как распускающийся цветок, и вдруг на губах ее появилась восхитительная улыбка, хотя глаза еще мгновение оцепенело глядели в одну точку. А потом она тряхнула головой с маленьким

мальчишеским локоном, выпила глоток вина, вспомнила вдруг, что мы сидим за ужином, и с веселым аппетитом набросилась на еду.

Я ясно слышал каждое слово ее жутковатой речи, угадал даже ее «последний приказ», прежде чем она открыла его, и уже не был испуган словами «ты убьешь меня». Все, что она сказала, прозвучало для меня убедительно, как неотвратимая предопределенность, я принял это без всякого сопротивления, и тем не менее, несмотря на ужасающую серьезность, с какой она говорила, все это казалось мне не вполне реальным и серьезным. Одна часть моей души впивала ее слова и верила им, другая часть моей души успокоительно кивала и принимала к сведенью, что и у такой умной, здоровой и уверенной Гермины тоже, оказывается, есть свои причуды и помрачения. Едва было выговорено последнее из ее слов, как вся эта сцена подернулась флером нереальности и призрачности.

И все же я не мог с такой же эквилибристической легкостью, как Гермина, совершить обратный прыжок в правдоподобность и реальность.

— Значит, когда-нибудь я тебя убью? — спросил я еще в полузабытьи, хотя она уже смеялась,

воодушевленно разрезая птичье мясо.

— Конечно, — кивнула она небрежно, — хватит об этом, сейчас время ужинать. Гарри, будь добр, закажи мне еще немножко зеленого салату! У тебя нет аппетита? Кажется, тебе надо учиться всему, что у других само собой получается, даже находить радость в еде. Смотри же, малыш, вот утиная ножка, и когда отделяешь прекрасное светлое мясо от косточки, то это праздник, и тут человек должен ощущать аппетит, должен испытывать волненье и благодарность, как влюбленный, когда он впервые снимает кофточку со своей девушки. Понял? Нет? Ты овечка. Погоди, я дам тебе кусочек от этой славной ножки, ты увидишь. Вот так, открой-ка рот!.. О, какое же ты чудовище! Боже, теперь он косится на других людей, не видят ли они, что я кормлю его с вилки! Не беспокойся, блудный сын, я не опозорю тебя. Но если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, тогда ты действительно бедняга.

Все нереальнее становилась недавняя сцена, все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом Гермина была как сама жизнь: всегда лишь мгновенье, которого нельзя

учесть наперед. Теперь она ела, и утиная ножка, салат, торт и ликер принимались всерьез, становились предметом радости и суждения, разговора и фантазии. Как только убирали тарелку, начиналась новая глава. Эта женщина, разглядевшая меня насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все мудрецы вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновеньем с таким искусством, что сразу превратила меня в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность, но кто умел до такой степени жить мгновеньем, кто до такой степени жил настоящим, так приветливо-бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновенье, тому нечего было бояться жизни. И этот-то резвый ребенок со своим хорошим аппетитом, со своим игривым гурманством был одновременно мечтательницей и истеричкой, которая желает себе смерти, или расчетливой обольстительницей, которая сознательно и с холодным сердцем хочет добиться, чтобы я влюбился в нее и стал ее рабом? Это было невероятно. Нет, просто она так целиком отдавалась мгновенью, что с такой же готовностью, как любую веселую мысль, впускала в себя и переживала любой темный страх,

мелькнувший в далеких глубинах ее души.

Эта Гермина, которую сегодня я видел второй раз, знала обо мне все, мне казалось невозможным что-либо от нее утаить. Может быть, она не вполне понимала мою духовную жизнь; в мои отношения с музыкой, с Гете, с Новалисом или Бодлером она, может быть, и не могла вникнуть — но и это было под большим вопросом, вероятно, и это удалось бы ей без труда. А если бы и не удалось — что уж там осталось от моей «духовной жизни»? Разве все это не рухнуло и не потеряло свой смысл? Но другие мои, самые личные мои проблемы и заботы, — их она все поняла бы, в этом я не сомневался. Скоро я поговорю с ней о Степном волке, о трактате, обо всем, что пока существует для меня одного, о чем я никому еще не проронил ни слова. Я не удержался от искушенья начать сейчас же.

— Гермина, — сказал я, — недавно со мной произошел странный случай. Какой-то незнакомец дал мне печатную книжечку, что-то вроде ярмарочной брошюрки, и там точно описаны вся моя история и все, что меня касается. Скажи, разве это не любопытно?

— Как же называется твоя книжечка? — спросила она невзначай.

— «Трактат о Степном волке».

— О, степной волк — это великолепно! И степной волк — это ты? Это, по-твоему, ты?

— Да, это я. Я наполовину человек и наполовину волк, так, во всяком случае, мне представляется.

Она не ответила. Она испытующе и внимательно посмотрела мне в глаза, посмотрела на мои руки, и на миг в ее взгляде и лице опять появились, как прежде, глубокая серьезность и мрачная страстность. Если я угадал ее мысли, то думала она о том, в достаточной ли мере я волк, чтобы выполнить ее «последний приказ».

— Это, конечно, твоя фантазия, — сказала она, снова повеселев, — или, если хочешь, поэтическая выдумка. Но что-то в этом есть. Сегодня ты не волк, но в тот раз, когда ты вошел в зал, словно с луны свалившись, в тебе и правда было что-то от зверя, это-то мне и понравилось.

Она вдруг спохватилась, запнулась и, словно бы смущенно, сказала:

— До чего глупо звучат такие слова — «зверь», «хищное животное»! Не надо так говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но все-таки они куда более настоящие, чем люди.

— Что значит «более настоящие»? Как ты это понимаешь?

— Ну, взгляни на какое-нибудь животное, на кошку или на собаку, на птицу или даже на каких-нибудь больших красивых животных в зоологическом саду, на пуму или на жирафу! И ты увидишь, что все они настоящие, что нет животного, которое бы смущалось, не знало бы, что делать и как вести себя. Они не хотят тебе льстить, не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни и цветы или как звезды на небе. Понимаешь?

Я понял.

— Животные большей частью бывают грустные, — продолжала она. — И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому, что он вдруг чувствует, каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая, — тогда он всегда немножко похож на животное, тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ведется, и когда я впервые увидела тебя, Степной волк, ты выглядел так.

— Ну а что, Гермина, ты думаешь о той книжке, где я описан?

— Ах, знаешь, я не люблю все время думать. Поговорим об этом в другой раз. Можешь мне

дать ее как-нибудь почитать.

Она попросила кофе и казалась некоторое время невнимательной и рассеянной, а потом вдруг просияла и, видимо, достигла какой-то цели в своих раздумьях.

— Ау, — воскликнула она радостно, — наконец дошло!

— Что — дошло?

— Насчет фокстрота, у меня это ни на минуту не выходило из головы. Скажи, у тебя есть комната, где мы могли бы иногда часок потанцевать вдвоем? Пусть маленькая, это не важно, лишь бы не было под тобой жильца, который поднимется и устроит скандал, если у него чуть-чуть подрожит потолок. Что ж, хорошо, очень хорошо! Тогда ты можешь дома учиться танцевать.

— Да, — сказал я робко, — тем лучше. Но я думал, что для этого нужна и музыка.

— Конечно, нужна. Ну, так музыку ты себе купишь, это стоит самое большее столько же, сколько курс у учительницы танцев. На учительнице ты сэкономишь, ею буду я сама. Значит, и музыка будет всегда к нашим услугам, и вдобавок у нас еще останется граммофон.

— Граммофон?

— Разумеется. Ты купишь небольшую такую

машинку и несколько танцевальных пластинок в придачу…

— Чудесно, — воскликнул я, — и если тебе действительно удастся научить меня танцевать, граммофон ты получишь в виде гонорара. Согласна?

Я сказал это очень бойко, но сказал не от чистого сердца. Я не мог представить себе такую совершенно несимпатичную мне машину в своем кабинетике, да и танцевать-то мне совсем не хотелось. При случае, думал я, это можно попробовать, — хоть и был убежден, что я слишком стар и неповоротлив и танцевать уж не научусь. Но так, с места в карьер — это было для меня слишком стремительно, и я чувствовал, как во мне восстает все мое предубеждение старого, избалованного знатока музыки против граммофона, джаза и современных танцевальных мелодий. И чтобы теперь в моей комнате, рядом с Новалисом и Жаном Полем, в келье, где я предавался своим мыслям, в моем убежище звучали американские шлягеры, а я танцевал под них, — этого люди никак не вправе были от меня требовать. Но требовали этого не какие-то отвлеченные «люди», требовала Гермина, а ей полагалось приказывать. Я подчинился. Конечно, я подчинился.

На следующий день, во второй его половине, мы встретились в кафе. Гермина уже сидела там, когда я пришел, и пила чай. Она, улыбаясь, показала мне газету, где обнаружила мое имя. Это был один из тех вызывающе реакционерных листков моей родины, в которых всегда время от времени проходили по кругу злопыхательские статейки против меня. Во время войны я был ее противником, после войны призывал к спокойствию, терпенью, человечности и самокритике, сопротивляясь все более с каждым днем грубой, глупой и дикой националистической травле. Это был опять выпад такого рода, плохо написанный, наполовину сочиненный самим редактором, наполовину состряпанный из множества подобных выступлений близкой ему прессы. Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии, никто не проявляет меньше опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они. Гермина прочла эту статью и узнала из нее, что Гарри Галлер — вредитель и безродный проходимец и что, конечно, дела отечества не могут не обстоять скверно, пока терпят таких людей и такие мысли и воспитывают молодежь в духе сентиментальной идеи единого человечества, вместо того чтобы воспитывать ее в боевом духе

мести заклятому врагу.

— Это ты? — спросила Гермина, указывая на мое имя. — Ну, и нажил же ты себе врагов, Гарри. Тебя это злит?

Я прочел несколько строк, все было как обычно, каждое из этих стереотипных ругательств было мне уже много лет знакомо до отвращения.

— Нет, — сказал я, — меня это не злит, я давно к этому привык. Я не раз высказывал мнение, что, вместо того чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом «кто виноват», каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам, из-за своих собственных ошибок, упущений, дурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны. Этого они мне не прощают, еще бы, ведь сами они нисколько не виноваты. — Кайзер, генералы, крупные промышленники, политики, газеты, — никому не в чем себя упрекнуть, ни на ком нет ни малейшей вины! Можно подумать, что в мире все обстоит великолепно, только вот десяток миллионов убитых лежит в земле. И понимаешь, Гермина, хотя такие пасквили уже не могут меня разозлить, мне иногда становится от них грустно. Две

трети моих соотечественников читают газеты этого рода, читают каждое утро и каждый вечер эти слова, людей каждый день обрабатывают, поучают, подстрекают, делают недовольными и злыми, а цель и конец всего этого — снова война, следующая, надвигающаяся война, которая, наверно, будет еще ужасней, чем эта. Все это ясно и просто, любой человек мог бы это понять, мог бы, подумав часок, прийти к тому же выводу. Но никто этого не хочет, никто не хочет избежать следующей войны, никто не хочет избавить себя и своих детей от следующей массовой резни, если это не стоит дешевле. Подумать часок, на какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире, — этого, понимаешь, никто не хочет! И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну. С тех пор как я это знаю, это убивает меня и приводит в отчаянье, для меня уже не существует ни «отечества», ни идеалов, это ведь все только декорация для господ, готовящих следующую бойню. Нет никакого смысла по-человечески думать, говорить, писать, нет никакого смысла носиться с хорошими мыслями: на двух-трех человек, которые это

делают, приходятся каждодневно тысячи газет, журналов, речей, открытых и тайных заседаний, которые стремятся к обратному и его достигают.

Гермина слушала с участием.

— Да, — сказала она теперь, — тут ты прав. Конечно, война опять будет, не нужно читать газет, чтобы это знать. Можно, конечно, грустить по этому поводу, но не стоит. Это все равно что грустить о том, что, как ни вертись, как ни старайся, а от смерти не отвертеться. Бороться со смертью, милый Гарри, — это всегда прекрасное, благородное, чудесное и достойное дело, а значит, бороться с войной — тоже. Но и это всегда — безнадежное донкихотство.

— Так оно, может быть, и есть, — воскликнул я резко, — но от таких истин, как та, что мы все скоро умрем и, значит, мол, на все наплевать, вся жизнь делается пошлой и глупой. По-твоему, значит, нам надо все бросить, отказаться от всякой духовности, от всяких стремлений, от всякой человечности, смириться с произволом честолюбия и денег и дожидаться за кружкой пива следующей мобилизации?

Удивителен был взгляд, который теперь метнула на меня Гермина, взгляд насмешливо-издевательский, плутоватый, отзывчиво-товарищеский

и одновременно тяжелый, полный знания и глубочайшей серьезности!

— Да нет же, — сказала она совсем по-матерински. — Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить, и как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри. Слушайся теперь и ступай со мной, у нас сегодня много дел. Сегодня я больше не буду думать о войне и газетах. А ты?

О нет, я тоже готов был не думать о них. Мы пошли вместе — это была наша первая совместная прогулка по городу — в магазин музыкальных принадлежностей и стали рассматривать там граммофоны, мы их открывали, закрывали, заводили, и когда один из них показался нам вполне подходящим, очень славным и недорогим, я собрался купить его, но Гермина не хотела спешить. Она удержала меня, и мне пришлось отправиться с ней сначала в другую лавку, чтобы и там

осмотреть и прослушать граммофоны всех типов и размеров, и лишь после этого она согласилась вернуться в первую и купить присмотренный там экземпляр.

— Вот видишь, — сказал я, — мы могли сделать это проще.

— Ты думаешь? А завтра, может быть, мы увидели бы в другой витрине такую же точно машину, только на двадцать франков дешевле. И кроме того, делать покупки — это удовольствие, а что доставляет удовольствие, тем надо насладиться сполна. Тебе еще многому нужно учиться.

С помощью посыльного мы доставили наше приобретение ко мне на квартиру.

Гермина внимательно осмотрела мою гостиную, похвалила печку и диван, посидела на стульях, потрогала книги, надолго задержалась перед фотографией моей возлюбленной. Граммофон мы поставили на комод среди нагроможденных кучами книг. И тут началось мое ученье. Она поставила фокстрот, показала мне первые па, взяла мою руку и стала меня водить. Я послушно топтался с ней, задевая стулья, подчинялся ее приказам, не понимал ее, наступал ей на ноги и был столь же неуклюж, сколь и усерден. После второго танца она бросилась на диван и

засмеялась, как ребенок.

— Боже, до чего ты неповоротлив! Ходи просто, как будто гуляешь! Напрягаться совсем не нужно. Тебе, кажется, даже жарко стало? Ладно, передохнем пять минут! Пойми, танцевать, если умеешь, так же просто, как думать, а научиться танцевать гораздо легче. Теперь ты будешь терпимее относиться к тому, что люди не приучаются думать, что они предпочитают называть господина Галлера изменником родины и спокойно дожидаться следующей войны.

Через час она ушла, заверив меня, что в следующий раз дело пойдет уже лучше. Я держался на этот счет другого мнения и был очень разочарован своей глупостью и неуклюжестью, за этот час я, казалось, вообще ничему не научился, и мне не верилось, что в следующий раз дело пойдет лучше. Нет, чтобы танцевать, нужны способности, которые у меня совершенно отсутствовали: веселость, невинность, легкомыслие, задор. Что ж, я ведь давно так и думал.

Но, странная вещь, в следующий раз дело и впрямь пошло лучше, и мне стало даже интересно, и в конце урока Гермина заявила, что фокстрот я уже усвоил. Но когда она вывела из этого заключение, что завтра я должен пойти танцевать

с ней в какой-нибудь ресторан, я перепугался и заартачился. Она холодно напомнила мне о моем обете послушания и велела мне явиться завтра на чай в отель «Баланс».

В тот вечер я сидел дома, хотел почитать, но не смог. Я боялся завтрашнего дня; ужасно было подумать, что я, старый, робкий, застенчивый нелюдим, не только появлюсь в одном из этих пошлых современных заведений, где пьют чай и танцуют, но и выступлю среди чужих людей в роли танцора, ничего еще не умея. И признаюсь, я смеялся над самим собой и стыдился самого себя, когда один, в тихом своем кабинете, завел граммофон и тихонько, на цыпочках, прорепетировал свои фокстротные па.

На следующий день в отеле «Баланс» играл небольшой оркестр, подавали чай и виски. Я попытался подкупить Гермину, предложил ей пирожные, попытался угостить ее хорошим вином, но она осталась непреклонна.

— Ты пришел сюда не ради удовольствия. Это урок танцев.

Мне пришлось протанцевать с ней раза два-три, и в промежутке она познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского

происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира. Этот сеньор, казалось, очень хорошо знал Гермину и находился с ней в самых дружеских отношеньях, перед ним стояли два разной величины саксофона, в которые он попеременно трубил, внимательно и весело изучая своими черными блестящими глазами танцующих. К собственному удивленью, я почувствовал что-то вроде ревности к этому простодушному, красивому музыканту, не любовной ревности, — ведь о любви у нас с Герминой и речи не было, — а ревности более духовной, дружеской, ибо он казался мне не столь уж достойным того интереса, того прямо-таки отличительного внимания, даже почтительности, которые она к нему проявляла. Забавные приходится мне заводить здесь знакомства, подумал я недовольно.

Потом Гермину несколько раз приглашали танцевать, я оставался один за столиком и слушал музыку, музыку, какой я до сих пор не выносил. Боже, думал я, теперь, значит, мне надо освоиться здесь и прижиться в этом всегда так старательно избегаемом, так глубоко презираемом мною мире гуляк и искателей удовольствий, в этом заурядном, стандартном мире мраморных столиков,

джазовой музыки, кокоток, коммивояжеров! Я уныло прихлебывал чай, рассматривая полупочтенную публику. Мой взгляд останавливался на двух красивых девушках, обе хорошо танцевали, с восхищеньем и завистью глядел я, как гибко, красиво, весело и уверенно они двигались.

Тут появилась Гермина, она была недовольна мной. Я здесь не для того, негодовала она, чтобы строить такую физиономию и сиднем сидеть за чаем, я обязан сейчас же взбодриться и пойти танцевать. Что, я ни с кем не знаком? Это совсем не нужно. Неужели здесь нет девушек, которые мне нравились бы?

Я указал ей на одну из тех, более красивую, которая как раз стояла неподалеку от нас. Ее прелестная бархатная юбочка, коротко остриженные густые волосы, полные, как у зрелой женщины, руки были очаровательны. Гермина настаивала на том, чтобы я тотчас подошел к ней и пригласил ее танцевать. Я отчаянно сопротивлялся.

— Да не могу же я! — сказал я, чувствуя себя несчастным. — Если бы я был красивым молодым парнем, куда ни шло! А этакий старый, неповоротливый дурак, который и танцевать-то не умеет, — да она же меня высмеет!

Гермина посмотрела на меня презрительно.

— А высмею ли я тебя, тебе, конечно, безразлично. Какой же ты трус! Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным, тут уж ничего не поделаешь. Так что рискни, Гарри, и в худшем случае тебя высмеют, — а не то я перестану верить в твое послушание.

Она не уступала. Я удрученно встал и подошел к этой красивой девушке, как только опять заиграла музыка.

— Вообще-то я не свободна, — сказала она и с любопытством взглянула на меня своими большими, живыми глазами, — но мой партнер, кажется, застрял в баре. Ну, что ж, давайте!

Я обнял ее и сделал первые шаги, еще удивляясь тому, что она не прогнала меня, но она уже поняла, как обстоит со мной дело, и стала вести меня. Танцевала она превосходно, я вошел во вкус и на время забыл все преподанные мне правила танцев, я просто плыл вместе с ней, чувствовал тугие бедра, чувствовал быстрые податливые колени моей партнерши, глядел в ее молодое, сияющее лицо и признался ей, что танцую сегодня впервые в жизни. Она улыбнулась и ободрила меня, отвечая на мои восторженные взгляды и лестные слова на диво податливо, — не словами, а тихими, обворожительными движеньями,

сближавшими нас тесней и завлекательней. Крепко держа правую руку на ее талии, я блаженно и рьяно слушался движений ее ног, ее рук, ее плеч, я ни разу, к своему удивлению, не наступил ей на ноги, и когда музыка кончилась, мы оба остановились и хлопали в ладоши, пока опять не заиграли, а потом я еще раз, рьяно, влюбленно и благоговейно, исполнил этот обряд.

Когда танец кончился, — а кончился он слишком рано, — моя бархатная красавица удалилась, и вдруг рядом со мной оказалась Гермина, которая все время наблюдала за нами.

— Теперь ты кое-что заметил? — засмеялась она одобрительно. — Ты обнаружил, что женские ножки — это не ножки стола? Ну, молодец! Фокс ты, слава Богу, усвоил, завтра мы приступим к бостону, а через три недели — бал-маскарад в залах «Глобуса».

Был перерыв в танцах, мы сидели, и тут подошел этот красивый молодой саксофонист, господин Пабло, кивнул нам и сел рядом с Германой. Он был с ней, казалось, в большой дружбе. Мне же, признаться, в ту первую встречу этот господин совсем не понравился. Красив-то он был, ничего не скажешь, хорош и лицом и сложеньем, но никаких других достоинств я в нем

не нашел. Да и владеть множеством языков было ему легко, поскольку вообще ничего не говорил, кроме таких слов, как «пожалуйста», «спасибо», «совершенно верно», «конечно», «алло» и тому подобных, а эти слова он и правда знал на многих языках. Да, он ничего не говорил, сеньор Пабло, и, кажется, он не так уж много и думал, этот красивый кабальеро. Его дело было наяривать в джазе на саксофоне, и этому занятию он, кажется, предавался с любовью и страстью, иногда во время игры он вдруг хлопал в ладоши или позволял себе другие бурные проявления энтузиазма, например, громко и нараспев выкрикивал междометия вроде «о-о-о», «ха-ха», «алло!». Вообще же он жил на свете явно лишь для того, чтобы быть красивым, нравиться женщинам, носить воротнички и галстуки самой последней моды, а также во множестве кольца на пальцах. Его вклад в беседу состоял в том, что он сидел с нами, улыбался нам, поглядывая на свои ручные часы, и скручивал себе папироски, в чем был очень искусен. Его темные, красивые креольские глаза, его черные кудри не таили никакой романтики, никаких проблем, никаких мыслей — с близкого расстояния этот экзотический красавец-полубог был веселым, несколько избалованным маль-

чишкой, только и всего. Я стал говорить с ним об его инструменте и о тембре в джазовой музыке, он должен был понять, что имеет дело со старым меломаном и знатоком по музыкальной части. Но он не подхватил этой темы, а когда я, из вежливости к нему или, скорее, к Гермине, попытался найти какое-то музыкально-теоретическое оправдание джазу, он отстранился от меня и моих усилий мирной улыбкой, и, видимо, ему было совершенно неведомо, что до и кроме джаза существовала еще какая-то другая музыка. Милый он был человек, милый и славный, и красиво улыбались его большие пустые глаза; но между ним и мной не было, казалось, ничего общего: все, что было для него важно и свято, не могло меня волновать, мы пришли из разных миров, в наших языках не было ни одного общего слова. (Но позднее Гермина сообщила мне любопытную вещь. Она сообщила, что после того разговора Пабло сказал ей насчет меня, чтобы она побережней обходилась с этим человеком, он ведь, мол, так несчастен. И когда она спросила, из чего он это заключил, тот сказал: «Бедняга, бедняга. Посмотри на его глаза! Неспособен смеяться».)

Когда черноглазый откланялся и опять пошла музыка, Гермина встала.

— Теперь ты мог бы снова потанцевать со мной, Гарри. Или тебе больше не хочется?

С ней тоже я танцевал теперь легче, свободней и веселее, хотя не так беззаботно и самозабвенно, как с той, другой. Предоставив мне вести, Гермина поддавалась легко и нежно, как лепесток, и у нее тоже я теперь нашел и почувствовал все эти то льнущие, то готовые упорхнуть прелести, от нее тоже пахло женщиной и любовью, ее танец тоже проникновенно и нежно пел завлекательную песнь пола — и, однако, на все это я не мог отвечать свободно и весело, не мог забыться и отдаться полностью, целиком. Гермина была мне слишком близка, она была моим товарищем, моей сестрой, была такой же, как я, походила на меня самого и на друга моей юности Германа, мечтателя, поэта, пламенного участника моих духовных упражнений и разгулов.

— Знаю, — сказала она потом, когда я заговорил об этом, — прекрасно знаю. Я тебя еще заставлю влюбиться в меня, но это не к спеху. Пока мы товарищи, мы люди, которые надеются стать друзьями, потому что мы узнали друг друга. Теперь мы будем оба друг у друга учиться и друг с другом играть. Я покажу тебе свой маленький театр, научу тебя танцевать и быть немножко веселей и

глупей, а ты покажешь мне свои мысли и кое-что из своих знаний.

— Ах, Гермина, тут нечего и показывать, ты ведь знаешь больше, чем я. Ты, девочка, удивительный человек! Во всем ты меня понимаешь и во всем впереди меня. Неужели я для тебя что-то значу? Неужели я не наскучил тебе?

Она потупила помрачневший взгляд.

— Мне не нравится, когда ты так говоришь. Вспомни тот вечер, когда ты, раздавленный отчаяньем, метнулся ко мне из мучительного своего одиночества и стал моим товарищем! Почему же, по-твоему, я тогда смогла узнать тебя и понять?

— Почему, Гермина? Скажи мне!

— Потому что я такая же, как ты. Потому что я так же одинока, как ты, и точно так же, как ты, неспособна любить и принимать всерьез жизнь, людей и себя самое. Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с ее глупостью и грубостью.

— Ишь ты! — воскликнул я изумленно. — Я понимаю тебя, мой товарищ, никто не поймет тебя так, как я. И все же ты для меня загадка. Ты же так играючи справляешься с жизнью, у тебя же есть это чудесное уважение к ее мелочам и радостям,

ты так искусна в жизни. Как ты можешь страдать от нее? Как ты можешь отчаиваться?

— Я не отчаиваюсь, Гарри. Но страдать от жизни — о да, в этом у меня есть опыт. Ты удивляешься, что я несчастлива, ведь я же умею танцевать и так хорошо ориентируюсь на поверхности жизни. А я, друг мой, удивляюсь, что ты так разочарован в жизни, ведь ты-то разбираешься в самых прекрасных и глубоких вещах, ведь ты же как дома в царстве Духа, искусства, мысли! Поэтому мы привлекли друг друга, поэтому мы брат и сестра. Я научу тебя танцевать, играть, улыбаться и все же не быть довольным. А от тебя научусь думать и знать и все же не быть довольной. Знаешь ли ты, что мы оба дети дьявола?

— Да, мы его дети. Дьявол — это дух, и мы его несчастные дети. Мы выпали из природы и висим в пустоте. Но вот что я вспомнил: в том трактате о Степном волке, о котором я тебе говорил, сказано что-то насчет того, что это лишь иллюзия Гарри, если он думает, что у него одна или две души, что он состоит из одной или двух личностей. Каждый человек состоит из десятка, из сотни, из тысячи душ.

— Это мне очень нравится, — воскликнула Гермина. — У тебя, например, очень развито ду-

ховное начало, но зато ты очень отстал во всяких маленьких умениях жить. Мыслителю Гарри сто лет, а танцору Гарри не минуло еще и дня. Теперь мы просветим его дальше и всех его маленьких братцев, таких же маленьких, глупых и невзрослых, как он.

Она, улыбаясь, взглянула на меня. И спросила тихо, изменившимся голосом:

— А как тебе понравилась Мария?

— Мария? Кто это?

— Это та, с которой ты танцевал. Красивая девушка, очень красивая девушка. Ты был немножко влюблен в нее, насколько я могу судить.

— Разве ты с ней знакома?

— О да, мы с ней очень близко знакомы. Она тебя очень интересует?

— Она мне понравилась, и я был рад, что она была так снисходительна к тому, как я танцую.

— И только-то! Ты должен поухаживать за ней, Гарри. Она очень красива и танцует прекрасно, да ведь и ты уже влюблен в нее. Я думаю, ты добьешься успеха.

— Ах, такого честолюбия у меня нет.

— Привираешь. Я ведь знаю, у тебя где-то осталась возлюбленная, и ты навещаешь ее раз в полгода, чтобы опять поссориться с ней. Конечно,

это очень мило с твоей стороны, если ты хочешь хранить верность своей странной приятельнице, но позволь мне не принимать этого так уж всерьез. Я вообще подозреваю, что ты принимаешь любовь очень уж всерьез. Ну и люби себе на свой идеальный лад сколько угодно, это твое дело, об этом мне не надо заботиться. А заботиться мне надо о том, чтобы ты немножко понаторел в маленьких, легких, житейских искусствах и играх, в этой области я твоя учительница и буду тебе лучшей учительницей, чем твоя идеальная возлюбленная, можешь не сомневаться! Тебе не мешало бы поспать с какой-нибудь красивой девушкой, Степной волк.

— Гермина, — воскликнул я измученно, — посмотри на меня, я же старый человек!

— Маленький мальчик — вот кто ты. И точно так же, как ты ленился учиться танцевать, пока чуть не упустил время, ты ленился учиться любить. О, любить идеально, трагически — это ты, друг мой, умеешь, конечно, как нельзя лучше, не сомневаюсь, что да, то да! Теперь ты научишься любить еще и обыкновенно, по-человечески. Почин-то уж сделан, скоро тебя можно будет пустить на бал. Только вот бостон надо будет тебе еще выучить, этим и займемся завтра. Я приду в

три часа. Кстати, как тебе понравилась здешняя музыка?

— Очень понравилась.

— Вот видишь, это тоже прогресс, ты кое-чему научился. До сих пор ты терпеть не мог всей этой танцевальной и джазовой музыки, она была для тебя недостаточно серьезна и глубока, а теперь ты увидел, что ее вовсе не нужно принимать всерьез, но что она может быть очень милой и завлекательной. Между прочим, без Пабло всему этому оркестру грош цена. Он их ведет, он им поддает жару.

Если граммофон губил атмосферу аскетичной духовности в моем кабинете, если американские танцы врывались в мой цивилизованный музыкальный мир, как какая-то помеха, как что-то чужое и разрушительное, то и в мою так четко очерченную, так строго замкнутую доселе жизнь отовсюду врывалось что-то новое, страшное и сумбурное. Трактат о Степном волке и Гермина были правы в своем учении о тысяче душ, наряду со всеми прежними во мне ежедневно обнаруживались какие-то новые души, они ставили требованья, поднимали шум, и я четко, как на картине, увидел в каком самообмане пребывал до сих пор. Придавая значение лишь тем считан-

ным своим способностям и навыкам, в которых случайно оказался силен, я нарисовал портрет Гарри и жил жизнью Гарри, который был всего-навсего очень тонким специалистом по части поэзии, музыки и философии, а все остальное в своей личности, весь прочий хаос своих способностей, инстинктов, устремлений воспринимал как обузу и окрестил Степным волком.

Между тем это освобождение от самообмана, этот распад моей личности отнюдь не были всего лишь приятным и занятным приключеньем, а были, напротив, порой остроболезненны, порой почти нестерпимы. Поистине адски звучал порой граммофон в этом окруженье, где все было настроено на совсем другие тона. И подчас, отплясывая уанстепы в каком-нибудь модном ресторане, среди всех этих элегантных бонвиванов и авантюристов, я казался себе изменником, предавшим все, что было у меня в жизни святого и дорогого. Оставь меня Гермина хоть на неделю в одиночестве, я незамедлительно пустился бы наутек от этих смешных потуг на бонвиванство. Но Гермина всегда была рядом; хотя я видел ее не каждый день, она зато неизменно видела меня, направляла, охраняла, разглядывала — и все мои яростные мысли о бунте и бегстве с усмешкой

угадывала по моему лицу.

По мере разрушения того, что я прежде называл своей личностью, я начал понимать, почему я, несмотря на все свое отчаяние, так ужасно боялся смерти, и стал замечать, что и этот позорный и гнусный страх смерти был частью моего старого, мещанского, лживого естества. Этот прежний господин Галлер, способный сочинитель, знаток Моцарта и Гете, автор занимательных рассуждений о метафизике искусства, о гении и трагизме, о человечности, печальный затворник своей переполненной книгами кельи, был подвергнут последовательной самокритике и ее не выдержал. Этот способный и интересный господин Галлер ратовал, правда, за разум и человечность и протестовал против жестокости войны, однако во время войны он не дал поставить себя к стенке и расстрелять, что было бы логическим выводом из его мыслей, а нашел какой-то способ существования, весьма, разумеется, пристойный и благородный, но какой-то все-таки компромисс. Он был, далее, противником власти и эксплуатации, однако в банке у него лежало множество акций промышленных предприятий, и проценты с этих акций он без зазрения совести проедал. И так было во всем. Ловко строя из себя прези-

рающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был, в сущности, буржуа, находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной, сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там талерах, испытывал угрызения совести и отнюдь не рвался к своему освобожденью и совершенству, а наоборот, всячески рвался назад, в те удобные времена, когда его духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу. Точно так же вздыхали об идеальных довоенных временах презираемые и высмеиваемые им читатели газет, потому что это было удобнее, чем извлечь какой-то урок из выстраданного. Тьфу, пропасть, он вызывал тошноту, этот Гарри Галлер! И все-таки я цеплялся за него или за его уже спадавшую маску, за его кокетство с духовностью, за его мещанский страх перед всем беспорядочным и случайным (к чему принадлежала и смерть) и язвительно-завистливо сравнивал возникающего нового Гарри, этого несколько робкого и смешного дилетанта танцзалов, с тем прежним, лживо-идеальным образом Гарри, в котором он, новый Гарри уже успел обнаружить все неприятные черты, так возмутившие его тогда, у профессора, в портрете Гете. Он сам,

прежний Гарри, был точно таким же по-мещански идеализированным Гете, этаким героем с чересчур благородным взором, светилом, которое сверкает величием, умом и человечностью, как бриллиантином, и чуть ли не растрогано благородством своей души! Сильно, однако, пообветшал, черт возьми, этот прелестный образ, в очень уж развенчанном виде представал ныне идеальный господин Гарри! Он походил на сановника, ограбленного разбойниками, который остался в драных штанах и поступил бы умней, если бы теперь вошел в роль оборванца, но вместо этого носит свои лохмотья с такой миной, словно на них все еще висят ордена, и плаксиво притязает на утраченную сановность.

Я то и дело встречался с музыкантом Пабло, и мое мненье о нем следовало пересмотреть хотя бы уж потому, что Гермина очень любила его и всячески искала его общества. Пабло запомнился мне смазливым ничтожеством, немного тщеславным красавчиком, веселым и бездумным ребенком, который с радостью дудит в свою дудку и которого легко подкупить похвалой или шоколадкой. Но Пабло не спрашивал моего мненья, оно было ему так же безразлично, как мои музыкальные теории. Он слушал меня вежливо

и любезно, с неизменной улыбкой, однако настоящего ответа никогда не давал. Тем не менее казалось, что я все-таки вызвал у него интерес, он явно старался понравиться мне и показать мне свою симпатию. Когда я как-то во время одного из этих бесплодных разговоров стал от раздраженья чуть ли не груб, он смущенно и грустно посмотрел мне в лицо, взял мою левую руку, погладил ее и подал мне золоченую табакерку с каким-то нюхательным порошком: это, мол, поможет. Я вопрошающе взглянул на Гермину, она утвердительно кивнула головой, и я угостился понюшкой. Вскоре я в самом деле стал свежей и бодрей — в порошке, вероятно, была примесь кокаина. Гермина сказала мне, что у Пабло много таких снадобий, он достает их какими-то тайными путями, иногда снабжает ими друзей и хорошо знает смеси и дозировки всех этих средств — обезболивающих, снотворных, вызывающих прекрасные сновиденья, веселящих, любовных.

Однажды я встретил его в городе, на набережной, и он сразу присоединился ко мне. На сей раз мне наконец удалось вызвать его на разговор.

— Господин Пабло, — сказал я ему, когда он стал играть тонкой черно-серебристой тросточкой, — вы друг Гермины, вот причина, по какой

я вами интересуюсь. Но вы, скажу вам, не очень-то облегчаете мне беседу. Я много раз пытался поговорить с вами о музыке — мне было бы интересно услышать ваше мнение, ваши возражения, ваши суждения. Но вы не удостаивали меня даже самым скупым ответом.

Он самым приветливым образом засмеялся и на сей раз не оставил меня без ответа, а невозмутимо сказал:

— Видите ли, по-моему, вовсе не стоит говорить о музыке. Я никогда не говорю о музыке. Да и что мог бы я вам ответить на ваши очень умные и верные слова? Ведь вы же были совершенно правы во всем, что вы говорили. Но, видите ли, я музыкант, а не ученый, и я не думаю, что в музыке правота чего-то стоит. Ведь в музыке важно не то, что ты прав, что у тебя есть вкус, и образование, и все такое прочее.

— Ну да. Но что же важно?

— Важно играть, господин Галлер, играть как можно лучше, как можно больше и как можно сильнее! Вот в чем штука, мосье. Если я держу в голове все произведения Баха и Гайдна и могу сказать о них самые умные вещи, то от этого нет еще никому никакой пользы. А если я возьму свою трубу и сыграю модное шимми, то это шим-

ми, хорошее ли, плохое ли, все равно доставит людям радость, ударит им в ноги и в кровь. Только это и важно. Взгляните как-нибудь на балу на лица в тот момент, когда после долгого перерыва опять раздается музыка, — как тут сверкают глаза, вздрагивают ноги, начинают смеяться лица! Вот для чего и играешь.

— Отлично, господин Пабло. Но, кроме чувственной, есть еще и духовная музыка. Кроме той музыки, которую играют в данный момент, есть еще и бессмертная музыка, которая продолжает жить, даже если ее и не играют в данный момент. Можно лежать в одиночестве у себя в постели и мысленно повторять какую-нибудь мелодию из «Волшебной флейты» или из «Страстей по Матфею»,[81] и тогда музыка состоится без всякого прикосновенья к флейте или скрипке.

— Конечно, господин Галлер. И «Томление», и «Валенсию» тоже каждую ночь молча воспроизводит множество одиноких мечтателей. Самая бедная машинисточка вспоминает у себя в конторе последний уанстеп и отстукивает на своих клавишах его такт. Вы правы, пускай у всех этих одиноких людей будет своя немая музыка,

[81] Примечания: 81

«Волшебная флейта» — опера Моцарта, любимое произведение Гессе. «Страсти по Матфею» — оратория И. С. Баха.

«Томление» ли, «Волшебная флейта» или «Валенсия»![82] Но откуда же берут эти люди свою одинокую, немую музыку? Они получают ее у нас, у музыкантов, сначала ее нужно сыграть и услышать, сначала она должна войти в кровь, а потом уже можно думать и мечтать о ней дома, в своей каморке.

— Согласен, — сказал я холодно. — И все-таки нельзя ставить на одну ступень Моцарта и новейший фокстрот. И не одно и то же — играть людям божественную и вечную музыку или дешевые однодневки.

Заметив волнение в моем голосе, Пабло тотчас же состроил самую милую физиономию, ласково погладил меня по плечу и придал своему голосу невероятную мягкость.

— Ах, дорогой мой, насчет ступеней вы, наверно, целиком правы. Я решительно ничего не имею против того, чтобы вы ставили и Моцарта, и Гайдна, и «Валенсию» на какие вам угодно ступени! Мне это совершенно безразлично, определять ступени — не мое дело, меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут играть и через сто лет, а «Валенсию» не будут — это, я ду-

---

[82] Примечания: 82

«Томление», «Валенсия» — танцевальные мелодии, популярные в Европе в 20-х гг.

маю, мы можем спокойно предоставить Господу Богу, Он справедлив и ведает сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту, Он наверняка поступит правильно. Мы же, музыканты, должны делать свое дело, выполнять свои обязанности и задачи: мы должны играть то, чего как раз в данный момент хочется людям, и играть мы это должны как только можно лучше, красивей и энергичней.

Я, вздохнув, сдался. Этого человека нельзя было пронять.

В иные мгновенья старое и новое, боль и веселье, страх и радость поразительно смешивались. Я был то на небесах, то в аду, чаще и тут и там одновременно. Старый Гарри и новый жили то в жестком разладе, то в мире друг с другом. Иногда казалось, что старый Гарри совсем уж мертв, что он умер и похоронен, и вдруг он опять оказывался тут как тут, повелевал, тиранил, брал безапелляционный тон, а новый, маленький, молодой Гарри конфузился, молчал и позволял припирать себя к стенке. В другие часы молодой Гарри хватал старого за горло лихой хваткой, и тогда стон стоял, шла борьба не на жизнь, а на смерть, неотвязно возвращались мысли о бритве.

Часто, однако, боль и счастье захлестывали меня единой волной. Так было в тот миг, когда я, через несколько дней после моего танцевального дебюта, вошел вечером к себе в спальню и, к несказанному своему удивленью, изумленью, ужасу и восторгу, застал у себя в постели красавицу Марию.

Из всех сюрпризов, какие мне до сих пор преподносила Гермина, это был самый разительный. Ведь в том, что прислала мне эту райскую птицу она, я ни секунды не сомневался. Тот вечер я в виде исключенья провел не с Герминой, я слушал в кафедральном соборе хорошее исполнение старинной церковной музыки — это была славная и грустная экскурсия в мою прежнюю жизнь, на нивы моей молодости, в пределы идеального Гарри. В высоком готическом зале церкви, прекрасные сетчатые своды которой, призрачно ожив, колыхались в игре немногочисленных огней, я слушал пьесы Букстехуде, Пахельбеля,[83] Баха, Гайдна, я бродил по своим любимым старым дорогам, я вновь слышал великолепный голос одной вокалистки, певшей Баха, с которой

[83] Примечания: 83

Букстехуде, Дитрих (1637–1757) — немецкий композитор и органист, основатель нового направления в органной музыке. Пахельбель Иоганн (1653–1756) — немецкий композитор и органист.

когда-то дружил и пережил множество необыкновенных концертов. Голоса старинной музыки, ее бесконечная достойность и святость вызвали в моей памяти все взлеты, экстазы и восторги молодости, грустно и задумчиво сидел я на высоком клиросе, гостя в этом благородном, блаженном мире, который когда-то был моей родиной. При звуках одного гайдновского дуэта у меня вдруг полились слезы, я не стал дожидаться окончания концерта, отказался от встречи с певицей (о, сколько лучезарных вечеров проводил я когда-то с артистами после таких концертов!), тихонько выскользнул из собора и устало зашагал по ночным улочкам, где повсюду за окнами ресторанов джаз-оркестры играли мелодию моей теперешней жизни. О, какая получилась из моей жизни мрачная путаница!

Долго думал я, бродя в ту ночь, и о моем особенном отношении к музыке[84] и снова усмотрел в этом столь же трогательном, сколь и злосчастном отношении к ней судьбу немецкой интеллигентности. В немецкой душе царит материнское право, связь с природой в форме гегемонии музыки, неведомая ни одному другому народу. Вместо

---

[84] Примечания: 84

Рассуждения Галлера об отношении немцев к музыке напоминают мысли Т. Манна в романе «Доктор Фаустус» (1947).

того чтобы по-мужски восстать против этого, прислушаться к интеллекту, к логосу, к слову, мы, люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов, способном выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя высказать. Вместо того чтобы как можно верней и честней играть на своем инструменте, интеллигентный немец всегда фрондировал против слова и разума, всегда кокетничал с музыкой. И, изойдя в музыке, в дивных и блаженных звуковых образах, в дивных и сладостных чувствах и настроениях, которые никогда не претворялись в действительность, немецкий ум прозевал большинство своих подлинных задач. Мы, люди интеллигентные, все сплошь не знали действительности, были чужды ей и враждебны, а потому и в нашей немецкой действительности, в нашей истории, в нашей политике, в нашем общественном мнении роль интеллекта была такой жалкой. Да, конечно, я часто продумывал эту мысль, томясь иной раз острым желаньем создать себе наконец действительность, стать наконец серьезным и деятельным человеком, вместо того чтобы вечно заниматься эстетикой и прикладным художеством в области духа. Но это всегда кончалось признанием своего бессилия, капитуляцией

перед судьбой. Правы были господа генералы и промышленники: от нас, «интеллигентов», не было толку, мы были ненужной, оторванной от действительности, безответственной компанией остроумных болтунов. Тьфу, пропасть! Бритву!

Полный таких мыслей, неся в себе отголоски музыки, с сердцем, тяжелым от грусти, от отчаянной тоски по жизни, по действительности, по смыслу, по невозвратно потерянному, я наконец вернулся домой, одолел свои лестницы, зажег в гостиной свет, безуспешно попытался немного почитать, вспомнил об уговоре, вынуждавшем меня явиться завтра вечером на виски и танцы в бар «Сесиль», и почувствовал злость и досаду не только на самого себя, но и на Гермину. Какие бы добрые и чистые побуждения ею ни руководили, каким бы замечательным существом она ни была — лучше бы она тогда дала мне погибнуть, чем толкать, чем сталкивать меня в этот сумбурный, чужой, суматошный, игрушечный мир, где я все равно всегда буду чужим и где все лучшее во мне зачахнет и сгинет.

И я грустно погасил свет, грустно вошел в свою спальню, грустно стал раздеваться, но тут меня смутил какой-то непривычный аромат, пахнуло духами, и, оглянувшись, я увидел, что в моей

постели лежит красавица Мария, улыбаясь, но робко, большими голубыми глазами.

— Мария! — сказал я. И первой моей мыслью было, что моя хозяйка откажет мне от квартиры, если об этом узнает.

— Я пришла, — сказала она тихо. — Вы на меня сердитесь?

— Нет, нет. Я знаю, Гермина дала вам ключ. Ну да.

— О, вы сердитесь за это. Я уйду.

— Нет, прекрасная Мария, оставайтесь! Только как раз сегодня вечером мне очень грустно, сегодня я не смогу быть веселым, но, может быть, смогу завтра.

Я немного склонился к ней, она охватила мою голову обеими своими большими, крепкими ладонями, привлекла ее к себе и поцеловала меня взасос. Затем я сел к ней на кровать, взял ее руку, попросил ее говорить тихо, чтобы нас не услышали, и стал глядеть на ее красивое, полное лицо, которое дивно и незнакомо, как какой-то большой цветок, лежало передо мной на моей подушке. Она медленно потянула мою руку к своему рту, потянула ее под одеяло и положила на свою теплую, тихо дышавшую грудь.

— Можешь не быть веселым, — сказала она. —

Гермина мне уже сказала, что у тебя горе. Это ведь всякий поймет. А я тебе еще нравлюсь, а? В тот раз, когда мы танцевали, ты был очень влюблен.

Я стал целовать ее глаза, рот, шею и груди. Только что я думал о Гермине, горько и с упреками. А сейчас я держал в руках ее подарок и был благодарен. Ласки Марии не причиняли боли чудесной музыке, которую я слышал сегодня, они были достойны ее и были ее воплощением. Я медленно стягивал одеяло с красавицы, пока не добрался, целуя, до кончиков ее ног. Когда я лег к ней, ее похожее на цветок лицо улыбнулось мне всеведуще и благосклонно.

В эту ночь, рядом с Марией, я спал недолго, но крепко и хорошо, как дитя. А в промежутках между сном я пил ее прекрасную, веселую юность и узнавал в тихой болтовне множество интересных вещей о жизни ее и Гермины. О житье-бытье этого рода я знал очень мало, лишь в театральном мире попадались мне иногда раньше подобные существа, и женщины, и мужчины, полухудожники-полубеспутники. Только теперь я немного заглянул в эти любопытные, эти диковинно невинные, эти диковинно развращенные души. Все эти девушки, обычно из бедноты, слишком умные и слишком красивые, чтобы отдавать всю

свою жизнь только какой-нибудь плохо оплачиваемой и безрадостной службе ради куска хлеба, жили то на случайные заработки, то на капитал своей привлекательности и приятности. Порой они сидели месяцами за пишущей машинкой, порой бывали любовницами состоятельных жуиров, получали карманные деньги и подарки, временами ходили в мехах, разъезжали на автомобилях и жили в гранд-отелях, а временами ютились на чердаках, и хотя иногда, при очень уж выгодном предложении, соглашались вступить в брак, в общем-то к нему отнюдь не стремились. Иные из них не были в любви чувственны и уступали домогательствам лишь с отвращением, выторговав самую высокую цену. Другие, и к ним принадлежала Мария, отличались необыкновенной способностью к любви и потребностью в ней, большинство знало толк в любви к обоим полам; они жили единственно ради любви и всегда, помимо официальных и платящих друзей, имели всякие другие любовные связи. Истово и деловито, тревожно и легкомысленно, умно и все-таки наобум жили эти мотыльки своей столь же ребяческой, сколь и утонченной жизнью, жили независимо, продаваясь не каждому, ожидая своей доли счастья и хорошей погоды,

влюбленные в жизнь и все же привязанные к ней гораздо меньше, чем мещане, жили в постоянной готовности пойти за сказочным принцем в его замок, с постоянной, хотя и полуосознанной уверенностью в тяжелом и печальном конце.

Мария научила меня — в ту поразительную первую ночь и в последующие дни — многому, не только прелестным новым играм и усладам чувств, но и новому пониманию, новому восприятию иных вещей, новой любви. Мир танцевальных и увеселительных заведений, кинематографов, баров и чайных залов при отелях, который для меня, затворника и эстета, все еще оставался каким-то неполноценным, каким-то запретным и унизительным, был для Марии, для Гермины и их подруг миром вообще, он не был ни добрым, ни злым, ни ненавистным, в этом мире цвела их короткая, полная страстного ожидания жизнь, в нем они чувствовали себя как рыба в воде. Они любили бокал шампанского или какое-нибудь фирменное жаркое, как мы любим какого-нибудь композитора или поэта, и какой-нибудь модной танцевальной мелодии или сентиментально-слащавой песенке они отдавали такую же дань восторга, волненья и растроганности, какую мы — Ницше или Гамсу-

ну. Рассказывая мне о моем знакомом красавце саксофонисте Пабло, Мария заговорила об одном американском сонге, который тот им иногда пел, и говорила она об этом с таким увлеченьем, с таким восхищеньем, с такой любовью, что они тронули и взволновали меня куда сильней, чем экстазы какого-нибудь эрудита по поводу какого-нибудь изысканно благородного искусства. Я готов был восторгаться вместе с ней, каков бы этот сонг ни был; дышавшие любовью слова Марии, ее страстно загоравшийся взгляд пробили в моей эстетике широкие бреши. Оставалось, конечно, прекрасное, то немногое непревзойденно прекрасное, что не подлежало, по-моему, итожим сомненьям и спорам, прежде всего Моцарт, но где тут была граница? Разве все мы, знатоки и критики, не обожали в юности произведения искусства и художников, которые сегодня кажутся нам сомнительными и неприятными? Разве не так обстояло у нас дело с Листом, с Вагнером, а у многих даже с Бетховеном? Разве ребячески пылкая растроганность Марии американским сонгом не была таким же чистым, прекрасным, не подлежащим никаким сомнениям сопереживанием искусства, как взволнованность какого-нибудь доцента «Тристаном» или восторг дирижера

при исполнении Девятой симфонии? И разве не было в этом примечательного соответствия со взглядами господина Пабло и подтвержденья его правоты?

Этого красавца Пабло Мария тоже, кажется, очень любила.

— Он красивый человек, — сказал я, — мне тоже он очень нравится. Но скажи мне, Мария, как можешь ты любить наряду с ним и меня, скучного старикана, который не блещет красотой, начал уже седеть и не умеет ни играть на саксофоне, ни петь по-английски любовные песенки?

— Не говори так гадко! — возмутилась она. — Это же очень естественно. Ты тоже мне нравишься, в тебе тоже есть что-то красивое, милое и особенное, тебе нельзя быть иным, чем ты есть. Не надо говорить об этих вещах и требовать отчета. Понимаешь, когда ты целуешь мне шею или ухо, я чувствую, что ты меня любишь, что я тебе нравлюсь. Ты умеешь как-то так целовать, чуть робко, что ли, и это говорит мне: он тебя любит, он благодарен тебе за то, что ты красива. Это мне очень, очень нравится. А в каком-нибудь другом мужчине мне нравится как раз противоположное — что он меня как бы ни во что не ставит и целует меня так, словно оказывает мне милость.

Мы снова уснули. Я снова проснулся, не переставая обнимать ее, мой прекрасный, прекрасный цветок.

И поразительно — этот прекрасный цветок так и оставался все же подарком Гермины! Она так и стояла за ним, он был маской, за которой она скрывалась! И вдруг, среди прочего, я подумал об Эрике, о моей далекой злой возлюбленной, о моей бедной подруге. Красотой она, наверно, не уступала Марии, хотя и не была такой цветущей, такой раскованной, такой изобретательно-умелой в любви, и ее образ, ее любимый, глубоко вплетенный в мою судьбу образ отчетливо и мучительно стоял передо мной несколько секунд, а потом снова исчез, канул в сон, в забвенье, в грустную даль.

И картины моей жизни во множестве вставали передо мной в эту прекрасную, нежную ночь, а ведь я так долго жил пусто и бедно и без картин. Теперь, по мановению Эроса, картины забили ключом, и сердце замирало у меня от восторга и от печали по поводу того, как богата была картинная галерея моей жизни, как полна была вечных звезд и созвездий душа бедного Степного волка. Нежно и просветленно, как далекие, сливающиеся с бесконечной синевой горы, глядели на меня

детство и мать, металлически звучал хор моих дружб, начинавшийся со сказочного Германа, связанного с Германой душевным братством; благоухающие и неземные, как влажные озерные цветки из водных глубин, всплывали образы многочисленных женщин, которых я любил, которых я желал, которых воспевал, — мало кем из них я владел и лишь немногих пытался получить в полную собственность. Появилась и моя жена, с которой я прожил много лет, которая научила меня товариществу, несогласию, покорности, жена, к которой, несмотря на все передряги, у меня сохранялось глубокое доверие до того дня, когда она, обезумев и заболев, вдруг взбунтовалась и не то что ушла от меня, а сбежала — и я понял, как сильно любил я ее и как глубоко доверял ей, если, обманув мое доверие, она нанесла мне такой тяжелый удар, и притом на всю жизнь.

Эти картины — их были сотни, с названиями и без названий — все до одной вернулись опять, вынырнув во всей своей свежести и новизне из кладезя этой ночи любви, и я опять вспомнил то, что давно забыл за бедой — что они-то и составляют достоянье и ценность моей жизни, что они нерушимы, эти ставшие звездами истории, которые я мог забыть, но не мог уничтожить,

череда которых была сказкой моей жизни, а звездный их блеск — нерушимой ценностью моего существованья на свете. Жизнь моя была трудной, сбивчивой и несчастливой, она привела к отреченью и отрицанью, она была горькой от соли, примешанной ко всем человеческим судьбам, но она была богатой, богатой и гордой, она была и в беде царской жизнью. Как ни убого растрачивается остаток пути до окончательной гибели, ядро этой жизни было благородно, в ней были недюжинность и накал, в ней дело шло не о жалких грошах, а о звездах.

Это было сравнительно давно, и с тех пор случилось много всяких событий и перемен, я плохо помню теперь все подробности той ночи, помню лишь какие-то отдельные наши слова, отдельные, полные глубокой любовной нежности прикосновенья, помню светлые, как звезды, минуты, когда мы пробуждались от тяжелого сна любовной усталости. Но именно в ту ночь, впервые с начала моей погибели, собственная моя жизнь взглянула на меня неумолимо сияющими глазами, именно в ту ночь я снова почувствовал, что случай — это судьба, а развалины моего бытия — божественные обломки. Моя душа снова вздохнула, мои глаза опять стали видеть, и ми-

нутами меня бросало в жар от догадки, что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою гарри-галлеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сонм образов и стану бессмертным. Разве не к этой цели стремилась жизнь каждого человека, разве не была она разбегом к ней, попыткой достигнуть ее?

Наутро я должен был, разделив с Марией свой завтрак, тайком вывести ее из дому, и это удалось. В тот же день я снял ей и себе в соседнем квартале комнатку только для наших свиданий.

Моя учительница танцев Гермина являлась, как положено, и мне все же пришлось разучивать бостон. Она была строга и неумолима и не освободила меня ни от одного урока, ибо было решено, что на следующий бал-маскарад я пойду с ней. Она попросила у меня денег на костюм, о котором, однако, отказалась сказать хоть что-нибудь. Навещать ее или хотя бы знать, где она живет, мне все еще не было дозволено.

Это время перед маскарадом, около трех недель, прошло необыкновенно хорошо. Мария казалась мне первой в моей жизни настоящей возлюбленной. От женщин, которых я прежде любил, я всегда требовал ума и образованности, не вполне

отдавая себе отчет в том, что даже очень умная и относительно очень образованная женщина никогда не отвечала запросам моего разума, а всегда противостояла им; я приходил к женщинам со своими проблемами и мыслями, и мне казалось совершенно невозможным любить дольше какого-нибудь часа девушку, которая не прочитала почти ни одной книжки, почти не знает, что такое чтение, и не смогла бы отличить Чайковского от Бетховена. У Марии не было никакого образования, она не нуждалась в этих окольных дорогах и мирах-заменителях, все ее проблемы вырастали непосредственно из чувств. Добиться как можно большего чувственного и любовного счастья отпущенными ей чувствами, своей особенной фигурой, своими красками, своими волосами, своим голосом, своей кожей, своим темпераментом, найти, выколдовать у любящего отзыв, понимание, несущую счастье ответную игру для каждой своей прелести, для каждого изгиба своих линий, для каждой извилинки своего тела — вот в чем состояли ее искусство, ее задача. Уже во время того первого робкого танца с ней я ощутил это, уже тогда почуял я этот аромат гениальной, восхитительно изощренной чувственности и был околдован им. И не случайно,

конечно, всеведущая Гермина подвела ко мне эту Марию. В ее аромате, во всем ее облике было что-то от лета, что-то от роз.

Я не имел счастья быть единственным возлюбленным Марии или пользоваться ее предпочтеньем, я был одним из многих. Часто у нее не оказывалось времени для меня, иногда она уделяла мне какой-нибудь час во второй половине дня, изредка — ночь. Брать деньги она у меня не хотела, за этим, наверно, крылась Гермина. Но подарки она принимала с удовольствием, и если я дарил ей, например, новый кошелек из красной лакированной кожи, туда разрешалось предварительно положить несколько золотых монет. Кстати, из-за этого красного кошелечка она подняла меня на смех! Кошелек был великолепен, но он был устарелого, уже не модного образца. В этих вопросах — а дотоле я смыслил в них меньше, чем в каком-нибудь эскимосском языке, — я многое узнал от Марии. Прежде всего я узнал, что все эти безделушки, все эти модные предметы роскоши — вовсе не чепуха, вовсе не выдумка корыстных фабрикантов и торговцев, а полноправный, прекрасный, разнообразный маленький или, вернее, большой мир вещей, имеющих одну-единственную цель — служить

любви, обострять чувства, оживлять мертвую окружающую среду, волшебно наделяя ее новыми органами любви — от пудры и духов до бальной туфельки, от перстня до портсигара, от пряжки для пояса до сумки. Эта сумка не была сумкой, этот кошелек не был кошельком, цветы не были цветами, веер не был веером, все было пластическим материалом любви, магии, очарованья, было гонцом, контрабандистом, оружием, боевым кличем.

Я часто думал — кого, собственно, любила Мария? Больше всего, по-моему, любила она юного саксофониста Пабло, обладателя отрешенных черных глаз и длинных, бледных, благородных и грустных кистей рук. Я считал этого Пабло несколько сонным, избалованным и пассивным в любви, но Мария заверила меня, что он хоть и медленнее разгорается, но зато потом бывает напряженнее, тверже, мужественней и требовательней, чем какой-нибудь боксер или наездник. И вот так я узнал тайные вещи о разных людях, о джазисте, об актере, о многих женщинах, о девушках и мужчинах нашего круга, узнал всякого рода тайны, заглянул за поверхность связей и неприязней, стал постепенно (это я-то, совершенно чужой в этом мире, никак не сопри-

касавшийся с ним) посвященным и причастным лицом. Многое узнал я и о Гермине. Особенно же часто встречался я теперь с господином Пабло, которого Мария очень любила. Иногда она прибегала и к его тайным средствам, да и мне порой доставляла эти радости, и Пабло всегда особенно рвался удружить мне. Однажды он сказал мне об этом без околичностей:

— Вы так несчастны, это нехорошо, так не надо. Мне жаль. Выкурите трубочку опиума.

Мое мнение об этом веселом, умном, ребячливом и притом непостижимом человеке то и дело менялось, мы стали друзьями, нередко я угощался его снадобьями. Моя влюбленность в Марию его немного забавляла. Однажды он устроил «праздник» в своей комнате, мансарде какой-то пригородной гостиницы. Там был только один стул, Марии и мне пришлось сидеть на кровати. Он дал нам выпить — слитого из трех бутылочек, таинственного, чудесного ликеру. А потом, когда я пришел в очень хорошее настроение, он, с горящими глазами, предложил нам учинить втроем любовную оргию. Я ответил резким отказом, такое было для меня немыслимо, но покосился все-таки на Марию, чтобы узнать, как она к этому относится, и хотя она сразу же присоединилась к

моему ответу, я увидел, как загорелись ее глаза, и почувствовал ее сожаленье о том, что это не состоится. Пабло был разочарован моим отказом, но не обижен.

— Жалко, — сказал он. — Гарри слишком опасается за мораль. Ничего не поделаешь. А было бы славно, очень славно! Но у меня есть замена.

Мы сделали по нескольку затяжек и неподвижно, сидя с открытыми глазами, пережили втроем предложенную им сцену, причем Мария дрожала от исступленья. Когда я ощутил после этого легкое недомоганье, Пабло уложил меня в кровать, дал мне несколько капель какого-то лекарства, и, закрыв на минуту-другую глаза, я почувствовал воздушно-беглое прикосновенье чьих-то губ сперва к одному, потом к другому моему веку. Я принял это так, словно полагал, что меня поцеловала Мария. Но я-то знал, что поцеловал меня он.

А однажды вечером он поразил меня еще больше. Он появился в моей квартире, сказал мне, что ему нужно двадцать франков, что он просит у меня эту сумму и предлагает мне взамен, чтобы сегодня ночью Марией располагал не он, а я.

— Пабло, — сказал я испуганно, — вы сами не знаете, что вы говорите. Уступать за деньги свою возлюбленную другому — это считается у нас

верхом позора. Я не слышал вашего предложенья, Пабло.

Он посмотрел на меня с сочувствием.

— Вы не хотите, господин Гарри. Ладно. Вы всегда сами устраиваете себе затрудненья. Что ж, не спите сегодня ночью с Марией, если вам это приятнее, и дайте мне деньги просто так, вы получите их обратно. Мне они крайне нужны.

— Зачем?

— Для Агостино — знаете, маленький такой, вторая скрипка. Он уже неделю болен, и никто за ним не ухаживает, денег у него нет ни гроша, а тут и у меня все вышли.

Из любопытства, да и в наказанье себе, я отправился с ним к Агостино, которому он принес в его каморку, жалкую чердачную каморку, молоко и лекарство, взбил постель, проветрил комнату, наложил на пылавшую жаром голову красивый, приготовленный по всем правилам искусства компресс — все это быстро, нежно, умело, как хорошая сестра милосердия. В тот же вечер, я видел, он играл на саксофоне в баре «Сити», играл до самого утра.

С Германой я часто долго и обстоятельно говорил о Марии, об ее руках, плечах, бедрах, об ее манере смеяться, целоваться, танцевать.

— А это она тебе уже показала? — спросила однажды Гермина и описала мне некую особую игру языка при поцелуе. Я попросил ее, чтобы она сама показала мне это, но она с самым серьезным видом осадила меня. — Еще не время, — сказала она, — я еще не твоя возлюбленная.

Я спросил ее, откуда известны ей это искусство Марии и многие тайные подробности ее жизни, о которых пристало знать лишь любящему мужчине.

— О, — воскликнула она, — мы ведь друзья. Неужели ты думаешь, что у нас могут быть секреты друг от друга? Я довольно часто спала и играла с ней. Да, ты поймал славную девушку, она умеет больше, чем другие.

— Думаю, все же, Гермина, что и у вас есть секреты друг от друга. Или ты и обо мне рассказала ей все, что знаешь?

— Нет, это другие вещи, которых ей не понять. Мария чудесна, тебе повезло, но между тобой и мной есть вещи, о которых она понятия не имеет. Я многое рассказала ей о тебе, еще бы, гораздо больше, чем то пришлось бы тебе по вкусу тогда — я же должна была соблазнить ее для тебя! Но понять, друг мой, как я тебя понимаю, ни Мария, ни еще какая-нибудь другая никогда не поймет.

От нее я узнала о тебе и еще кое-что, я знаю о тебе все, что о тебе знает Мария. Я знаю тебя почти так же хорошо, как если бы мы уже часто спали друг с другом.

Когда я снова встретился с Марией, мне было странно и диковинно знать, что Гермину она прижимала к сердцу так же, как меня, что ее волосы и кожу она так же осязала, целовала и испытывала, как мои. Новые, непрямые, сложные отношенья и связи всплыли передо мной, новые возможности любить и жить, и я думал о тысяче душ трактата о Степном волке.

В ту недолгую пору, между моим знакомством с Марией и большим балом-маскарадом, я был прямо-таки счастлив, и все же у меня ни разу не было чувства, что это и есть избавленье, достигнутое блаженство, нет, я очень отчетливо ощущал, что все это — только пролог и подготовка, что все неистово стремится вперед, что самое главное еще впереди.

Танцевать я научился настолько, что мне казалось теперь возможным участвовать в бале, о котором с каждым днем толковали все больше. У Гермины был секрет, она так и не открывала мне, в каком маскарадном наряде она появится. Уж как-нибудь я узнаю ее, говорила она, а не сумею

узнать — она мне поможет, но заранее мне ничего не должно быть известно. С другой стороны, и мои планы насчет костюма не вызывали у нее ни малейшего любопытства, и я решил вообще не переодеваться никем. Мария, когда я стал приглашать ее на бал, заявила мне, что на этот праздник она уже обзавелась кавалером, у нее и в самом деле был уже входной билет, и я несколько огорчился, поняв, что на праздник мне придется явиться в одиночестве. Костюмированный бал, ежегодно устраиваемый в залах «Глобуса» людьми искусства, был самым аристократическим в городе.

В эти дни я мало видел Гермину, на накануне бала она побывала у меня, зайдя за билетом, который я ей купил. Она мирно сидела со мной в моей комнате, и тут произошел один примечательный разговор, произведший на меня глубокое впечатление.

— Теперь тебе живется в общем-то хорошо, — сказала она, — танцы идут тебе на пользу. Кто месяц тебя не видел, не узнал бы тебя.

— Да, — признался я, — мне уже много лет не жилось так хорошо. Это все благодаря тебе, Гермина.

— О, а не благодаря ли твоей прекрасной Ма-

рии?

— Нет. Ведь и ее подарила мне ты. Она чудесная.

— Она — та возлюбленная, которая была нужна тебе, Степной волк. Красивая, молодая, всегда в хорошем настроении, очень умная в любви и доступная не каждый день. Если бы тебе не приходилось делить ее с другими, если бы она не была у тебя всегда лишь мимолетной гостьей, так хорошо не получилось бы.

Да, я должен был признать и это.

— Значит, теперь у тебя есть, собственно, все, что тебе нужно?

— Нет, Гермина, это не так. У меня есть что-то прекрасное и прелестное, большая радость, великое утешенье. Я прямо-таки счастлив…

— Ну, вот! Чего же ты еще хочешь?

— Я хочу большего. Я не доволен тем, что я счастлив, я для этого не создан, это не мое призванье. Мое призванье в противоположном.

— Значит, в том, чтобы быть несчастным? Ну, этого-то у тебя хватало и прежде — помнишь, когда ты из-за бритвы не мог вернуться домой.

— Нет, Гермина, не в том дело. Верно, тогда я был очень несчастен. Но это было глупое несчастье, неплодотворное.

— Почему же?

— Потому что иначе у меня не было бы этого страха перед смертью, которой я ведь желал! Несчастье, которое мне нужно и о котором я тоскую другого рода. Оно таково, что позволяет мне страдать с жадностью и умереть с наслажденьем. Вот какого несчастья или счастья я жду.

— Я понимаю тебя. В этом мы брат и сестра. Но почему ты против того счастья, которое нашел теперь, с Марией? Почему ты недоволен?

— Я ничего не имею против этого счастья, о нет, я люблю его, я благодарен ему. Оно прекрасно, как солнечный день среди дождливого лета. Но я чувствую, что оно недолговечно. Это счастье тоже неплодотворно. Оно делает довольным, но быть довольным — это не по мне. Оно усыпляет Степного волка, делает его сытым. Но это не то счастье, чтобы от него умереть.

— А умереть, значит, нужно, Степной волк?

— По-моему, да! Я очень доволен своим счастьем, я способен еще долго его выносить. Но когда мое счастье оставляет мне час-другой, чтобы очнуться и затосковать, вся моя тоска направлена не на то, чтобы навсегда удержать это счастье, а на то, чтобы снова страдать, только прекраснее и менее жалко, чем прежде. Я тоскую

о страданьях, которые дали бы мне готовность умереть.

Гермина нежно посмотрела мне в глаза — тем темным взглядом, что иногда появлялся у нее так внезапно. Великолепные, страшные глаза! Медленно, подбирая каждое слово отдельно, она сказала, сказала так тихо, что я должен был напрячься, чтобы это расслышать:

— Сегодня я хочу сказать тебе кое-что, нечто такое, что давно знаю, да и ты это уже знаешь, но еще, может быть, себе не сказал. Я скажу тебе сейчас, что я знаю о себе и о тебе и про нашу судьбу. Ты, Гарри, был художником и мыслителем, человеком, исполненным радости и веры, ты всегда стремился к великому и вечному, никогда не довольствовался красивым и малым. Но чем больше будила тебя жизнь, чем больше возвращала она тебя к тебе самому, тем больше становилась твоя беда, тем глубже, по самое горло, погружался ты в страданье, страх и отчаянье, и все то прекрасное и святое, что ты когда-то знал, любил, чтил, вся твоя прежняя вера в людей и в наше высокое назначенье — все это нисколько не помогло тебе, потеряло цену, разбилось вдребезги. Твоей вере стало нечем дышать. А удушье — жесткая разновидность смерти. Это правильно,

Гарри? Это действительно твоя судьба?

Я кивал, кивал, кивал головой.

— У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача, ты был готов к подвигам, страданьям и жертвам — а потом ты постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого, что жизнь — это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская комната, где вполне довольствуются едой и питьем, кофе и вязаньем чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтенье к великим поэтам или почтенье к святым, тот дурак и донкихот. Вот так. И со мной было то же самое, друг мой! Я была девочкой с хорошими задатками, созданной для того, чтобы жить по высокому образцу, предъявлять к себе высокие требованья, выполнять достойные задачи. Я могла взять на себя большой жребий, быть женой короля, возлюбленной революционера, сестрой гения, матерью мученика. А жизнь только и позволила мне стать куртизанкой более или менее хорошего вкуса, да и это далось мне с великим трудом! Вот как случилось со мной. Одно время я была безутешна и долго искала вину в самой себе.

Ведь жизнь, думала я, в общем-то всегда права, и если жизнь посмеялась над моими мечтаньями, значит, думала я, мои мечты были глупы, неправы. Но это не помогало. А поскольку у меня были хорошие глаза и уши, да и некоторое любопытство тоже, я стала присматриваться к так называемой жизни, к своим знакомым и соседям, к более чем пятидесяткам людей и судеб, и тут я увидела, Гарри: мои мечты были правы, тысячу раз правы, так же как и твои. А жизнь, а действительность была неправа. Если такой женщине, как я, оставалось либо убого и бессмысленно стареть за пишущей машинкой на службе у какого-нибудь добытчика денег, или ради его денег выйти за него замуж, либо стать чем-то вроде проститутки, то это было так же неправильно, как и то, что такой человек, как ты, должен в одиночестве, в робости, в отчаянье хвататься за бритву. Моя беда была, может быть, более материальной и моральной, твоя — более духовной, но путь был один и тот же. Думаешь, мне непонятны твой страх перед фокстротом, твое отвращенье к барам и танцзалам, твоя брезгливая неприязнь к джазовой музыке и ко всей этой ерунде? Нет, они мне слишком понятны, и точно так же понятны твое отвращенье к политике, твоя печаль по по-

воду болтовни и безответственной возни партий, прессы, твое отчаянье по поводу войны — и той, что была, и той, что будет, по поводу нынешней манеры думать, читать, строить, делать музыку, праздновать праздники, получать образование! Ты прав, Степной волк, тысячу раз прав, и все же тебе не миновать гибели. Ты слишком требователен и голоден для этого простого, ленивого, непритязательного сегодняшнего мира, он отбросит тебя, у тебя на одно измерение больше, чем ему нужно. Кто хочет сегодня жить и радоваться жизни, тому нельзя быть таким человеком, как ты и я. Кто требует вместо пиликанья — музыки, вместо удовольствия — радости, вместо баловства — настоящей страсти, для того этот славный наш мир — не родина…

Она потупила взгляд и задумалась.

— Гермина, — воскликнул я с нежностью, — сестра, какие хорошие у тебя глаза! И все-таки ты обучила меня фокстроту! Но как это понимать, что такие люди, как мы, с одним лишним измерением, не могут здесь жить? В чем тут дело? Это лишь в наше время так? Или это всегда было?

— Не знаю. К чести мира готова предположить, что все дело лишь в нашем времени, что это только болезнь, только нынешняя беда. Вожди рьяно

и успешно работают на новую войну, а мы тем временем танцуем фокстрот, зарабатываем деньги и едим шоколадки — ведь в такое время мир должен выглядеть скромно. Будем надеяться, что другие времена были лучше и опять будут лучше, богаче, шире, глубже. Но нам это не поможет. И, может быть, так всегда было…

— Всегда так, как сегодня? Всегда мир только для политиков, спекулянтов, лакеев и кутил, а людям нечем дышать?

— Ну да, я этого не знаю, никто этого не знает. Да и не все ли равно? Но я, друг мой, думаю сейчас о твоем любимце, о котором ты мне иногда рассказывал и читал письма, о Моцарте. А как было с ним? Кто в его времена правил миром, снимал пенки, задавал тон и имел какой-то вес — Моцарт или дельцы, Моцарт или плоские людишки? А как он умер и как похоронен? И наверно, думается мне, так было и будет всегда, и то, что они там в школах называют «всемирной историей», которую полагается для образования учить наизусть, все эти герои, гении, великие подвиги и чувства — все это просто ложь, придуманная школьными учителями для образовательных целей и для того, чтобы чем-то занять детей в определенные годы. Всегда так было и всегда так будет, что вре-

мя и мир, деньги и власть принадлежат мелким и плоским, а другим, действительно людям, ничего не принадлежит. Ничего, кроме смерти.[85]

— И ничего больше?

— Нет, еще вечность.

— Ты имеешь в виду имя, славу в потомстве?

— Нет, волчонок, не славу — разве она чего-то стоит? И неужели ты думаешь, что все действительно настоящие и в полном смысле слова люди прославились и известны потомству?

— Нет, конечно.

— Ну, вот, значит, не славу! Слава существует лишь так, для образования, это забота школьных учителей. Не славу, о нет! А то, что я называю вечностью. Верующие называют это Царством Божьим. Мне думается, мы, люди, мы все, более требовательные, знающие тоску, наделенные одним лишним измерением, мы и вовсе не могли бы жить, если бы, кроме воздуха этого мира, не было для дыханья еще и другого воздуха, если бы, кроме времени, не существовало еще и вечности, а она-то и есть царство истинного. В нее входят музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов,

[85] Примечания: 85

Утверждая это, Гермина имеет в виду не физическую смерть, а завоевание человеком цельности, переход к личностности, которая с точки зрения обывательских идеалов есть «ничто», смерть.

в нее входят святые, творившие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого, настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства, даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства. В вечности нет потомства, а есть только современники.

— Ты права, — сказал я.

— Верующие, — продолжала она задумчиво, — знали об этом все-таки больше других. Поэтому они установили святых и то, что они называют «ликом святых». Святые — это по-настоящему люди, младшие братья Спасителя. На пути к ним мы находимся всю свою жизнь, нас ведет к ним каждое доброе дело, каждая смелая мысль, каждая любовь. Лик святых — в прежние времена художники изображали его на золотом небосводе, лучезарном, прекрасном, исполненном мира, — он и есть то, что я раньше назвала «вечностью». Это царство по ту сторону времени и видимости. Там наше место, там наша родина, туда, Степной волк, устремляется наше сердце, и потому мы тоскуем по смерти. Там ты снова найдешь своего Гете, и своего Новалиса, и Моцарта,

а я своих святых, Христофора, Филиппе Нери![86] — всех. Есть много святых, которые сначала были закоренелыми грешниками, грех тоже может быть путем к святости, грех и порок. Ты будешь смеяться, но я часто думаю, что, может быть, и мой друг Пабло — скрытый святой. Ах, Гарри, нам надо продраться через столько грязи и вздора, чтобы прийти домой[87] И у нас нет никого, кто бы повел нас, единственный наш вожатый — это тоска по дому.

Последние свои слова она произнесла опять еле слышно, и в комнате наступила мирная тишина, солнце садилось, и золотые литеры на многих корешках моих книг мерцали в его лучах. Я взял в ладони голову Гермины, поцеловал ее в лоб и прижался щекой к ее щеке — по-братски. Несколько мгновений мы оставались в такой позе. Я предпочел бы остаться в такой позе и уже никуда

---

[86] Примечания: 86

Христофор — популярный католический святой, перенесший, согласно легенде, младенца Христа через реку. Был близок Гессе связанным с ним мотивом «служения». Филиппа Нери, прозванный «Пиппо Добрым» (1515–1595), — католический святой, основатель ораторианского ордена; использовал для обращения грешников музыку и песнопения.

[87] Примечания: 87

Перефразировка известного изречения Новалиса: «Куда же мы идем? Всегда домой». Знаменательно, что эти слова вложены в уста Гермины, персонажа, которого критики часто сравнивают с Матильдой из незаконченного романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген».

сегодня не выходить. Но на эту ночь, последнюю перед большим балом, Мария обещала себя мне.

По дороге к ней думал я, однако, не о Марии, а о том, что сказала Гермина. Все это, так мне казалось, были, вероятно, не ее собственные мысли, а мои, которые эта ясновидящая, прочтя и вдохнув их в себя, воспроизвела мне так, что они обрели форму и предстали передо мной в новом виде. За то, что она высказала мысль о вечности, я был ей особенно благодарен в тот час. Мне нужна была эта мысль, без нее я не мог жить и не мог умереть. Святая потусторонняя жизнь, не связанная ни с каким временем, мир вечных ценностей, божественной сущности — вот что было сегодня заново подарено мне моей подругой и учительницей танцев. Я невольно вспомнил свой гетевский сон, вспомнил облик старого мудреца, который смеялся таким нечеловеческим смехом и шутил со мной на свой бессмертный манер. Теперь только понял я его смех, смех бессмертных.[88] Он был беспредметен, этот смех, он был только светом, только прозрачностью, он был тем, что остается в итоге, когда подлинный человек, пройдя через людские страданья, пороки, ошибки, страсти

[88] Примечания: 88

Мотив смеха непосредственно вытекает из гессевской концепции юмора.

и недоразуменья, прорывается в вечность, в мировое пространство. А «вечность» была не чем иным, как избавлением времени, неким возвратом его к невинности, неким обратным превращеньем его в пространство.

Я поискал Марию в том месте, где мы обычно ужинали в наши вечера, но она еще не пришла.

Я сидел в ожиданье за накрытым столом в тихом трактирчике на окраине города, продолжая думать о нашем разговоре. Все эти мысли, объявившиеся между Германой и мной, казались мне такими знакомыми, такими родными, они словно бы выплыли из сокровеннейших глубин моей мифологии, моего мира образов! Бессмертные, отрешенно живущие во вневременном пространстве, ставшие образами, хрустальная вечность, обтекающая их как эфир, и холодная, звездная, лучезарная ясность этого внеземного мира — откуда же все это так мне знакомо? Я задумался, и на ум мне пришли отдельные пьесы из «Кассаций» Моцарта, из «Хорошо темперированного клавира» Баха, и везде в этой музыке светилась, казалось мне, эта холодная, звездная прозрачность, парила эта эфирная ясность. Да, именно так, эта музыка была чем-то вроде застывшего, превратившегося в пространство

времени, и над ней бесконечно парили сверхчеловеческая ясность, вечный, божественный смех. О, да ведь и старик Гете из моего сновиденья был здесь вполне уместен! И вдруг я услышал вокруг себя этот непостижимый смех, услышал, как смеются бессмертные. Я завороженно сидел, завороженно вытащил карандаш из кармана жилетки, поискал глазами бумаги, увидел перед собой прейскурант вин и стал писать на его обороте, писать стихи, которые лишь на следующий день нашел у себя в кармане. Вот они:

БЕССМЕРТНЫЕ

К нам на небо из земной юдоли
Жаркий дух вздымается всегда —
Спесь и сытость, голод и нужда,
Реки крови, океаны боли,
Судороги, страсти, похоть, битвы,
Лихоимцы, палачи, молитвы.
Жадностью гонимый и тоской,
Душной гнилью сброд разит людской,
Дышит вожделеньем, злобой, страхом,
Жрет себя и сам блюет потом,
Пестует искусства и с размахом

Украшает свой горящий дом.
Мир безумный мечется, томится,
Жаждет войн, распутничает, врет,
Заново для каждого родится,
Заново для каждого умрет.
Ну, а мы в эфире обитаем,
Мы во льду астральной вышины
Юности и старости не знаем,
Возраста и пола лишены.
Мы на ваши страхи, дрязги, толки,
На земное ваше копошенье
Как на звезд глядим коловращенье,
Дни у нас неизмеримо долги.
Только тихо головой качая
Да светил дороги озирая,
Стужею космической зимы
В поднебесье дышим бесконечно.
Холодом сплошным объяты мы,
Холоден и звонок смех наш вечный.

Затем пришла Мария, и после веселого ужина я пошел с ней в нашу комнатку. В этот вечер она была красивее, теплее и сердечнее, чем когда-ли-

бо, и в ее нежностях, в ее играх я почувствовал предельную готовность отдаться.

— Мария, — сказал я, — ты сегодня расточительна, как богиня. Не замучь нас обоих до смерти, ведь завтра бал-маскарад. Что за кавалер будет у тебя завтра? Боюсь, дорогой мой цветок, что это — сказочный принц и что он похитит тебя и ты уже не вернешься ко мне. Ты любишь меня сегодня почти так, как это обычно бывает у любящих на прощанье, напоследок.

Она прижалась губами к самому моему уху и прошептала:

— Лучше не говори, Гарри! Каждый раз может быть последним. Когда Гермина возьмет тебя, ты уже не придешь ко мне. Может быть, она возьмет тебя завтра.

Никогда не ощущал я сильнее особого чувства тех дней, их удивительно двойственного, сладостно-горького настроения, чем в ту ночь перед балом. Это было счастье — красота Марии и ее готовность отдаться, часы, когда можно было натешиться, надышаться, проникнуться сотнями тонких чувственных прелестей, о которых я с таким опозданьем, на старости лет, узнал, плескаясь в мягких, убаюкивающих волнах наслажденья. И все же это была лишь оболочка:

внутри все было полно значенья, напряженья, дыханья и, предаваясь милым и трогательным мелочам любви с любовной нежностью, словно бы купаясь в теплой воде счастья, я чувствовал, как моя судьба опрометью несется вперед, брыкается, как испуганный конь, мчится в тоске и страхе к обрыву, к пропасти, готовая к смерти. И если еще недавно я с опаской и робостью противился приятному легкомыслию любви только чувственной, если еще недавно страшился смеющейся, уступчивой красоты Марии, то теперь я испытывал страх перед смертью — но страх, который уже знал, что скоро он превратится в покорность и избавление.

В то время, как мы молча предавались хлопотливым играм нашей любви и принадлежали друг другу полней, чем когда-либо, душа моя прощалась с Марией, прощалась со всем, что она для меня означала. Благодаря ее науке я перед концом еще раз по-детски доверился игре поверхностного, искал мимолетных радостей, стал ребенком и животным в невинности пола, — а в прежней моей жизни это состояние было знакомо мне лишь как редкое исключенье, ибо к чувственной жизни и к полу почти всегда примешивался для меня горький привкус вины, сладкий, но жутко-

ватый вкус запретного плода, которого человек духовный должен остерегаться. Теперь Гермина и Мария показали мне этот Эдем в его невинности, я благодарно погостил в нем — но мне приспевала пора идти дальше, слишком красиво и тепло было в этом Эдеме. Опять домогаться венца жизни, опять искупать бесконечную вину жизни — такой был мой жребий. Легкая жизнь, легкая любовь, легкая смерть — это не для меня.

Из намеков девушки я заключил, что на завтрашнем балу или после него нас ждут какие-то особые удовольствия, какой-то особый разгул. Может быть, это и есть конец, может быть, Марию ее предчувствие не обманывает, и сегодня мы лежим рядом в последний раз, а завтра судьба, может быть, повернется иначе? Я был полон жгучей тоски; полон щемящего страха, и, отчаянно цепляясь за Марию, я еще раз судорожно и жадно обежал все тропинки и чащи ее Эдема, еще раз впился зубами в сладкий плод райского древа.

После этой ночи я отсыпался днем. Утром я поехал сначала в баню, потом, смертельно усталый, домой, затемнил свою спальню, нашел, раздеваясь, в кармане свои стихи, снова забыл о них, сразу же лег, забыл о Марии, Гермине и маскараде и проспал весь день. Поднявшись

вечером, я лишь во время бритья вспомнил, что уже через час начнется бал и мне нужно приготовить рубашку с пластроном. Я собрался в хорошем настроенье и вышел из дому, чтобы сначала поесть.

Это был первый костюмированный бал, в котором я участвовал. В прежние времена, впрочем, я посещал иногда подобные праздники и порой находил их красивыми, но я не танцевал, я был лишь зрителем, и энтузиазм, с каким о них рассказывали, с каким их ждали другие, всегда казался мне смешным. А сегодня и для меня бал был событием, которого я ждал со смесью радости, любопытства и страха. Поскольку дамы у меня не было, я решил явиться туда попозже, да и Гермина советовала мне так поступить.

В «Стальной шлем», прежнее мое прибежище, где, прихлебывая вино и строя из себя холостяков, коротали вечера разочарованные мужчины, я последнее время редко захаживал, он уже не отвечал стилю теперешней моей жизни. Но сегодня вечером меня как-то само собой потянуло туда; при том тоскливо-радостном ощущенье судьбы и прощанья, в котором я сейчас пребывал, все вехи и памятные места моей жизни озарились еще раз мучительно прекрасным отблеском прошлого, в

том числе и этот прокуренный кабачок, где я еще недавно был завсегдатаем, где мне еще недавно достаточно было такого нехитрого наркотического средства, как бутылка местного вина, чтобы еще на одну ночь лечь в свою одинокую постель, чтобы еще на один день смириться с жизнью. Другие, более сильные возбудительные средства довелось мне с тех пор узнать, довелось наглотаться с тех пор ядов послаще. Улыбаясь, переступил я порог старого кабака, и хозяйка встретила меня приветственными словами, а завсегдатаи молчаливым кивком. Мне предложили и принесли жареного цыпленка, светлой струей лилось молодое эльзасское вино в толстый мужицкий стакан, ласково глядели на меня чистые белые деревянные столы, старые желтые панели. И в то время как я ел и пил, во мне все крепло это чувство увяданья и расставанья, это мучительно глубокое чувство никогда так и не распадавшейся, но теперь созревающей для распада слитности со всеми местами и вещами прежней моей жизни. «Современный» человек называет это сентиментальностью; он перестает любить вещи, вещи, даже самые священные для него некогда, даже свой автомобиль, который надеется при первой возможности поменять

на новый, лучшей марки. Этот современный человек энергичен, деловит, здоров, холоден и молодцеват — тип хоть куда, он еще покажет себя в следующей войне. Мне это было безразлично, я не был ни современным человеком, ни старомодным, я выпал из времени и несся куда-то, близкий к смерти, готовый к смерти. Я ничего не имел против сентиментальностей, я был благодарно рад, что в моем сгоревшем сердце теплилось хоть какое-то подобие чувств. И я отдался воспоминаньям, навеянным этим старым кабаком, своей привязанности к этим старым грубым стульям, отдался запаху дыма и вина, тому дуновенью привычки, тепла, сходства с родиной, которое я во всем этом ощущал. Прощанье — прекрасная вещь, оно размягчает. Мне были милы мое жесткое сиденье, мои мужицкий стакан, мил прохладный фруктовый вкус эльзасского, мила моя близость со всем и со всеми в этом зале, милы лица замечтавшихся пьяниц, этих разочарованных, чьим братом я давно был. Мещанскими сантиментами упивался я здесь, слегка приправленными ароматом старомодной трактирной романтики той отроческой поры, когда трактир, вино и сигара были еще запретными, неведомыми, великолепными вещами. Но

Степной волк не встрепенулся, чтобы оскалить зубы и разорвать в клочья мои сантименты. Я мирно сидел, озаренный прошлым, озаренный слабым светом успевшей уже погибнуть звезды.

Вошел уличный торговец с жареными каштанами, и я купил у него горсть. Вошла старуха с цветами, я купил у нее несколько гвоздик и преподнес их хозяйке. Лишь собираясь расплатиться и не найдя привычного пиджачного кармана, я заметил, что я во фраке. Бал-маскарад? Гермина!

Но было еще очень рано, я не мог решиться пойти в «Глобус» уже сейчас. К тому же, как-то случалось со мной во время всех этих увеселений последней поры, я чувствовал какую-то внутреннюю помеху, какую-то скованность, какое-то нежеланье входить в большие, переполненные, шумные залы, какую-то ученическую робость перед чуждой атмосферой, перед миром прожигателей жизни, перед танцами.

Слоняясь по улицам и проходя мимо какого-то кино, я взглянул на блеснувшие пучки света и огромные цветные афиши, пошел было дальше, но вернулся и вошел внутрь. До одиннадцати примерно я мог здесь преспокойно посидеть в темноте. С помощью служителя, указывавшего мне путь фонариком, я пробрался через зана-

вески в темный зал, нашел свободное место и оказался вдруг в Ветхом завете. Шел один из тех фильмов, которые будто бы не для заработка, а в благородных и святых целях ставятся с большой помпой и выдумкой и на которые даже учителя закона Божия водят своих учеников. Давалась история Моисея и израильтян в Египте — со щедрым набором людей, лошадей, верблюдов, дворцов, фараоновских богатств и еврейских мук в горячих песках пустыни. Я видел, как Моисей, причесанный немножко под Уолта Уитмена, роскошный театральный Моисей вотановской походкой,[89] с длинным посохом, рьяно и мрачно идет по пустыне впереди евреев. Я видел, как он молился Богу у Чермного моря, видел, как расступается Чермное море, давая дорогу, образуя ложбину между громоздящимися горами воды (о том, каким образом устроили это киношники, могли долго спорить конфирманды, приведенные на этот религиозный фильм пастором), видел, как шагают сквозь море пророк и боязливый народ, видел, как позади них появляются колесницы фараона, видел, как египтяне сперва изумляются и робеют на морском берегу, а потом смело бро-

[89] Примечания: 89

Вотан — бог грома, войны, колдовства и поэзии в древнегерманской мифологии.

саются вперед, видел, как над великолепным, златопанцирным фараоном и надо всеми его колесницами и воинами смыкаются толщи воды, и вспомнил чудесный генделевский дуэт для двух басов, где это событие великолепно воспето. Я видел затем, как Моисей, мрачный герой среди мрачной скалистой пустыни, поднимается на Синай, смотрел, как Иегова через посредство бури, грозы и световых сигналов сообщает ему там десять заповедей, а его недостойный народ воздвигает у подножья горы Золотого тельца и предается довольно-таки неумеренным увеселеньям. Мне было невероятно странно видеть все это воочию, глядеть, как священные истории, с их героями и чудесами, осенившие некогда наше детство первым смутным представленьем о другом мире, о чем-то сверхчеловеческом, разыгрываются здесь за плату перед благородной публикой, которая тихонько жует принесенные с собой булочки, — в этой маленькой картинке видна была вся бросовость, вся обесцененность культуры в нашу эпоху. Господи, пускай бы уж, чтобы только предотвратить это свинство, погибли тогда, кроме египтян, и евреи, и все другие люди на свете, погибли насильственной и пристойной смертью, а не этой ужасной, мнимой

и половинчатой, которой умираем сегодня мы. Право, пускай бы!

Мою тайную скованность, мою безотчетную робость перед балом-маскарадом кино и вызванные им чувства не уменьшили, а неприятно усилили, и я должен был, подумав о Гермине, сделать над собой усилие, чтобы наконец поехать в «Глобус» и войти в залы. Время было уже позднее, бал был давно в полном разгаре; трезвый и робкий, я сразу же, не успев раздеться, попал в бурную толпу масок, меня фамильярно толкали в бока, девушки требовали, чтобы я угостил их шампанским, клоуны хлопали меня по плечу и обращались ко мне на «ты». Не поддаваясь ничьим уговорам, я с трудом протиснулся к гардеробу через битком набитые залы и, получив номерок, тщательно спрятал его в карман с мыслью, что, наверно, скоро воспользуюсь им, устав от этой сутолоки.

Во всех помещеньях большого здания бушевал

праздник,[90] во всех залах танцевали, в подвальном этаже тоже, все коридоры и лестницы были заполнены масками, танцами, музыкой, смехом и беготней. Я удрученно пробирался сквозь эту толчею — от негритянского оркестра к крестьянской музыке, из большого, сияющего главного зала в проходы, на лестницы, в бары, к буфетам, в комнаты, где пили шампанское. Стены были по большей части увешаны дикарскими веселыми картинами самых модных художников. Все были здесь — художники, журналисты, ученые, дельцы и, конечно, вся жуирующая публика города. В одном из оркестров сидел мистер Пабло и вдохновенно дудел в свою изогнутую трубу; узнав меня, он громко пропел мне свое приветствие. Теснимый толпой, я оказывался то в одном, то в другом зале, поднимался по лестницам, спускался по лестницам; один из коридоров подвального этажа изображал ад, и там неистовствовал музы-

---

[90] Примечания: 90

Атмосфера маскарада несомненно вызывает ассоциацию с Вальпургиевой ночью в «Фаусте» Гете. Сходство это проявляется не только во внешних деталях, как то: черти, волшебники, время действия — полночь, обстановка — ад и т. д., но в общем осмыслении разворачивающегося на грани сна и фантазии эпизода, который у Гессе, как и у Гете, демонстрирует нисхождение к чувственным первоосновам и растворение индивидуальности во всеобщем эросе. В этом смысле знаменательно, что в дальнейшем кульминация всей сцены разворачивается в самом нижнем, подвальном, этаже, названном «ад», под аккомпанемент чертей-музыкантов.

кальный ансамбль чертей. Постепенно я начал поглядывать, где же Гермина, где же Мария, я пустился на поиски, сделал несколько попыток проникнуть в главный зал, но каждый раз сбивался с пути или отступал перед встречным потоком толпы. К полуночи я еще никого не нашел; хоть я еще не танцевал, мне было жарко, и голова у меня кружилась, я плюхнулся на ближайший стул, среди сплошь незнакомых людей, спросил вина и пришел к выводу, что на такие шумные праздники старикам вроде меня соваться нечего. Я уныло пил вино, глядел на голые руки и спины женщин, смотрел, как мимо проносятся ряженые в причудливых костюмах, сносил легкие толчки в бок и молча отогнал от себя нескольких девушек, желавших посидеть у меня на коленях или потанцевать со мной. «Старый брюзга!» — воскликнула одна из них и была права. Я решил выпить для храбрости и поднятия духа, но в вине тоже не нашел вкуса, я с трудом одолел второй стакан. И постепенно я почувствовал, как стоит за моей спиной, высунув язык, Степной волк. Ничего не получалось, я был здесь не на месте. Ведь пришел-то я сюда с самыми лучшими намереньями, но развеселиться я здесь не мог, и эта громкая бурная радость, этот смех, все это

буйство казались мне глупыми и вымученными.

Поэтому, около часу ночи, злой и разочарованный, я стал пробираться к гардеробу, чтобы надеть пальто и уйти. Это было поражением, возвратом к Степному волку, и Гермина вряд ли простила бы мне это. Но иначе поступить я не мог. С трудом протискиваясь через толпу к гардеробу, я снова внимательно смотрел по сторонам в надежде увидеть хоть одну из подруг. Тщетно. И вот я уже стоял у гардероба, вежливый человек за его стойкой уже протянул руку за моим номерком, я полез в жилетный карман — номерка там не было! Черт возьми, этого еще не хватало. Когда я печально бродил по залам, когда сидел за безвкусным вином, я, борясь со своим решением удалиться, неоднократно совал руку в карман, и каждый раз этот плоский кружок оказывался на месте. А теперь он пропал. Все было против меня.

— Потерял номерок? — спросил какой-то случившийся рядом красно-желтый чертенок пронзительным голосом. — На тебе мой, приятель. — И он уже протянул мне свой номерок. Когда я машинально взял его и стал вертеть в пальцах, юркий коротышка уже исчез.

Поднеся, однако, эту круглую картонную бир-

ку к глазам, чтобы разглядеть номер, я увидел вместо него какие-то мелкие каракули. Я попросил гардеробщика подождать, подошел к ближайшему светильнику и прочел их. Мелкими, спотыкающимися, неразборчивыми буквами было нацарапано:

Сегодня ночью с четырех часов магический театр

— только для сумасшедших —

плата за вход — разум.

Не для всех. Гермина в аду.

Как марионетка, веревочки которой выскользнули на секунду из рук кукольника, вновь оживает после короткой, мертвой, тупой неподвижности, снова включается в игру, танцует и шевелится, так и я, стоило меня дернуть за магическую веревочку, пружинисто, с молодой прытью, побежал назад в ту самую толчею, от которой только что удирал усталым, тоскующим стариком. Ни один грешник не стремился в ад с такой поспешностью. Только что мне жали лакированные ботинки, мне был противен густой, надушенный воздух, меня расслабляла жара; а теперь я легко и ловко, в ритме уанстепа, бежал через все залы к аду, воздух был полон теперь волшебства, меня окрыляли и несли вперед

это тепло, вся эта гремящая музыка, мельканье красок, аромат женских плеч, шум толпы, смех, ритмы танцев, блеск воспаленных глаз. Какая-то испанская танцовщица бросилась ко мне в объятья: «Потанцуй со мной!» — «Нельзя, — сказал я, — мне нужно в ад. Но твой поцелуй я рад взять с собой». Алый рот под маской приблизился к моему рту, и, лишь целуя, узнал я Марию. Я крепко ее обнял, ее полные губы цвели, как зрелая летняя роза. И вот мы уже танцевали, не прервав поцелуя, и прошли в танце мимо Пабло, а тот влюбленно припадал к своей нежно стонавшей трубе, и полуотрешенно обвел нас его сияющий, его прекрасный звериный взгляд. Но не успели мы сделать и двадцати па, как музыка прекратилась, я с сожаленьем выпустил Марию из рук.

— С удовольствием потанцевал бы с тобой еще, — сказал я, опьяненной ее теплом, — проводи меня немножко, Мария, я влюблен в твое прекрасное плечо, дай мне его еще на минутку! Но понимаешь, меня зовет Гермина. Она в аду.

— Так я и думала. Прощай, Гарри, я буду о тебе вспоминать с любовью.

Она попрощалась. Это было прощанье, это была осень, это была судьба, которой так зрело и пряно пахла моя летняя роза.

Я побежал дальне, по длинным коридорам, где повсюду шла нежная возня, вниз по лестницам, в ад. Там на черных как смоль стенах горели беспощадно яркие лампы и лихорадочно играл оркестр чертей. На высоком табурете, у бара, сидел какой-то красивый юноша без маски, во фраке, он коротко окинул меня насмешливым взглядом. Я был оттеснен танцующими к стене, в этом очень тесном зале танцевало десятка два пар. Жадно и боязливо разглядывал я всех женщин, большинство было еще в масках, некоторые улыбались мне, но ни одна из них не была Германой. С высокого табурета бросал насмешливые взгляды красивый юноша. В следующую паузу между танцами, думал я, она появится и меня пригласит. Танец кончился, но никто не подошел ко мне.

Я прошел к бару, втиснутому в угол низкого зальца. Став у табурета юноши, я спросил виски. Я пил и видел профиль этого молодого человека, показавшийся мне теперь знакомым и прелестным, как какая-нибудь картина из очень далеких времен, дорогая тихим налетом пыли минувшего. О, тут я вздрогнул: это же был Герман, друг моей юности!

— Герман! — сказал я нерешительно.

Он улыбнулся.

— Гарри? Ты нашел меня?

Это была Гермина, только немного иначе причесанная и слегка подкрашенная, необычным и бледным казалось ее умное лицо над модным стоячим воротничком, удивительно маленькими, по контрасту с широкими черными рукавами фрака и белыми манжетами, руки, удивительно изящными, по контрасту с длинными брюками, ее ножки в шелковых черно-белых мужских носках.

— Это и есть тот костюм, Гермина, в котором ты хочешь заставить меня влюбиться в себя?

— Пока что, — кивнула она, — я заставила влюбиться в себя лишь нескольких дам. Но теперь на очереди ты. Давай сперва выпьем по бокалу шампанского.

Мы пили, сидя на высоких табуретах, а рядом продолжались танцы и кипела жаркая, ожесточенная струнная музыка. И без каких-либо видимых усилии со стороны Гермины я очень скоро влюбился в нее. Поскольку она была в мужской одежде, я не мог танцевать с ней, не мог позволить себе никаких нежностей, никаких посягательств, и хотя в этом мужском наряде она казалась далекой и безучастной, ее

взгляды, слова, жесты дышали всей прелестью женственности. Без единого прикосновенья к ней я поддался ее волшебству, и само это волшебство входило в ее роль, было двуснастным. Ведь беседовала она со мной о Германе и о детстве, моем и своем, о тех годах, предшествующих половой зрелости, когда отроческая сила любви направлена не только на оба пола, но на все вообще, на чувственное и духовное, когда она придает всему то очарование, ту сказочную способность к метаморфозам, которые лишь для избранных и поэтов оживают иногда и в более позднем возрасте. Играла она, безусловно, юношу, курила сигареты, болтала легко и умно, порой чуть глумливо, но все светилось эротикой, все превращалось на пути к моим чувствам в прелестный соблазн.

Как хорошо и глубоко знал я, по моему представленью, Гермину и как совершенно по-новому открылась она мне в эту ночь! Как мягко и незаметно обволакивала она меня вожделенной сетью, как игриво и по-русалочьи поила сладкой отравой!

Мы сидели, болтали и пили шампанское. Мы бродили, наблюдая, по залам, пускались в авантюры открытий, выбирая пары и подслушивая любовную их игру. Она показывала мне женщин,

с которыми я должен был танцевать, и давала советы относительно способов обольщения той или другой. Мы выступали в роли соперников, увивались за одной и той же женщиной, попеременно танцевали с ней оба, старались оба ее покорить. Но все это было лишь маскарадной игрой, игрой между нами двумя, все это лишь теснее сплетало нас и распаляло обоих. Все было сказкой, все было на одно измеренье богаче, на одно значение глубже, было игрой и символом. Мы увидели какую-то очень красивую молодую женщину, у которой был несколько болезненный и недовольный вид, Герман потанцевал с ней, заставил ее расцвести, исчез с ней в одной из питейных беседок, а потом рассказал мне, что победил эту женщину лесбийским волшебством. Для меня же весь этот громогласный дом, полный гремевших танцами залов, этот хмельной хоровод масок стал постепенно каким-то безумным, фантастическим раем, один за другим соблазняли меня лепестки своим ароматом, один за другим обласкивал я наудачу плоды испытующими перстами, змеи обольстительно глядели на меня из зеленой тени листвы, цветок лотоса парил над

черной трясиной,[91] жар-птицы на ветках манили меня, но все лишь вело меня к вожделенной цели, все заново заряжало меня томленьем по одной-единственной. Мне довелось танцевать с какой-то незнакомой девушкой; пылая, завлекая, она утопала в хмельном восторге, и когда мы витали в неземном мире, она вдруг рассмеялась и сказала: «Тебя не узнать. Сегодня вечером ты был такой глупый и нудный». И я узнал ту, которая несколько часов назад сказала мне «старый брюзга». Теперь она полагала, что заполучила меня, но во время следующего танца я пылал уже в объятьях другой. Я танцевал подряд два часа или больше, все танцы, в том числе и те, которым никогда не учился. То и дело поблизости возникал Герман, улыбающийся юноша, кивал мне, исчезал в толпе.

Одно ощущенье, неведомое мне дотоле за все мои пятьдесят лет, хотя оно знакомо любой девчонке, любому студенту, выпало на мою долю в эту бальную ночь — ощущенье праздника, упоенности общим весельем, проникновения в

[91] Примечания: 91

В Индии лотос — религиозный символ: поза лотоса предписывается йогами во время медитации, целью которой является созерцание божественного единства путем углубления в собственный внутренний мир. Кроме того, с лотосом связана эротическая символика.

тайну гибели личности в массе, unio mystica[92] радости. Я часто слышал рассказы об этом — это знала любая служанка, — часто видел, как загорались глаза у тех, кто рассказывал, а сам только полунадменно-полузавистливо посмеивался. Это сиянье в пьяных глазах отрешенного, освобожденного от самого себя существа, эту улыбку, эту полубезумную, самозабвенную растворенность в общем опьяненье я наблюдал сотни раз на высоких и низких примерах — у пьяных рекрутов и матросов, равно как и у больших артистов, охваченных энтузиазмом праздничных представлений, а также у молодых солдат, уходивших на войну, да ведь и совсем недавно я, восхищаясь, любя, насмехаясь и завидуя, видел это сиянье, эту счастливую улыбку отрешенности на лице моего друга Пабло, когда он, опьяненный игрой в оркестре, блаженно припадал к своему саксофону или, изнемогая от восторга, глядел на дирижера, на барабанщика, на музыканта банджо. Такая улыбка, такое детское сиянье, думал я иногда, даны лишь очень молодым людям или народам, не позволяющим себе четко индивидуализировать и различать отдельных своих представителей. Но

---

[92] Примечания: 92
Мистического союза (лат.).

сегодня, в эту благословенную ночь, я, Степной волк Гарри, сам сиял этой улыбкой, сам купался в этом глубоком, ребяческом, сказочном счастье, сам дышал этим сладким дурманом сообщничества, музыки, ритма, вина и похоти, тем самым дурманом, похвалы которому из уст какого-нибудь побывавшего на балу студента я когда-то так часто слушал с насмешкой и с бедной надменностью. Я не был больше самим собой, моя личность растворилась в праздничном хмелю, как соль в воде. Я танцевал с той или иной женщиной, но не только она была той, кого я обнимал, чьи волосы касались меня, чей аромат я вбирал в себя, нет, все другие женщины тоже, что плыли в этом же танце, в этом же зале, под эту же музыку, все, чьи сияющие лица мелькали передо мной как большие фантастические цветки, — все принадлежали мне, всем принадлежал я, все мы были причастны друг к другу. И мужчины тоже входили сюда, я был и в них, они тоже не были мне чужими, их улыбки были моими улыбками, их домогательства исходили от меня, а мои — от них.

В ту зиму мир был завоеван одним новым танцем, фокстротом под названием «Томление». Это «Томление» игралось не раз и не переставало

пользоваться спросом, мы все проникались и опьянялись им, все напевали его мелодию, вторя оркестру. Я танцевал непрерывно, танцевал с каждой женщиной, которая оказывалась на моем пути, с совсем юными девушками, с цветущими молодыми женщинами, с по-летнему зрелыми, с печально отцветшими — восхищаясь всеми, смеясь, ликуя, сияя. И когда Пабло увидел, что я так сияю, я, которого он всегда считал беднягой, его глаза засветились счастьем, он ретиво поднялся со своего места в оркестре, затрубил энергичнее, влез на стул и, стоя на нем, блаженно и бешено качаясь вместе со своей трубой в такт «Томлению», продолжал дудеть во все щеки, а я и моя партнерша посылали ему воздушные поцелуи и громко подпевали. Ах, думал я, будь что будет, хоть раз да был счастлив, хоть раз да сиял и я, хоть раз да освободился от самого себя, был братом Пабло, ребенком.

Утратив чувство времени, я не знал, сколько часов или мгновений длилось это хмельное счастье. Не заметил я также, что праздник, по мере того как накал его нарастал, сосредоточивался на все более тесном пространстве. Большинство гостей уже ушло, в коридорах стало тихо, много огней уже погасло, лестничная клетка вымерла,

в верхних залах умолкали и расходились один оркестр за другим; лишь в главном зале и внизу, в аду, еще бушевало, все более разгораясь, хмельное веселье. Поскольку с Германой, как с юношей, танцевать я не мог, встречались мы с ней и приветствовали друг друга лишь мельком, в перерывах между танцами, и в конце концов она совсем пропала для меня, исчезла не только с моих глаз, но даже из моих мыслей. Мыслей больше не было. Я растворился в пьяной толчее танцев, меня касались запахи, звуки, вздохи, слова, меня приветствовали и воспламеняли чужие глаза, окружали чужие лица, губы, щеки, плечи, груди, колени, меня, как волну, ритмично бросала музыка.

Вдруг, полуочнувшись на миг, я увидел среди последних, оставшихся еще гостей, переполнивших один из маленьких залов, последний, где еще звучала музыка, — вдруг я увидел какую-то черную коломбину с набеленным лицом, красивую, свежую девушку, единственную, чье лицо скрывала маска, прелестную фигурку, которая за всю эту ночь еще ни разу не попадалась мне на глаза. По виду всех других, по их красным, разгоряченным лицам, измятым костюмам, увядшим воротничкам и жабо было заметно, что час уже

поздний, а эта черная коломбина с белым лицом под маской, в костюме без единой морщинки, с нетронуто девственным жабо, белоснежными кружевными манжетами и свежей прической, стояла как новенькая. Меня потянуло к ней, я взял ее за талию, повел в танце, ее душистое жабо щекотало мне подбородок, прядь ее душистых волос касалась моей щеки; нежней и проникновенней, чем любая другая партнерша этой ночи, шло навстречу моим движеньям, уходило от них, принуждало их и манило, играя, ко все новым касаньям ее молодое, тугое тело. И вдруг, когда я среди танца стал, наклонившись, искать губами ее губ, эти губы улыбнулись высокомерной, давно знакомой улыбкой, я узнал ее крепкий подбородок, узнал, счастливый, ее плечи, ее локти, ее руки. Это была Гермина, уже не Герман, переодевшаяся, свежая, слегка надушенная и напудренная. Наши губы, пылая, встретились, на миг все ее тело, до самых колен, жадно и преданно прижалось ко мне, затем она отвела от меня свой рот и танцевала сдержанно и отчужденно. Когда музыка прекратилась, мы остановились, обнявшись, все распаленные пары вокруг нас хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, подбивая изнуренный оркестр повторить «Том-

ление». И вдруг мы все почувствовали утро, увидели бледный свет за занавесками, ощутили близкий конец веселья, почуяли надвигающуюся усталость и слепо, со смехом и отчаяньем еще раз бросились в танец, в музыку, в поток света, буйно зашагали в такт, еще раз блаженно почувствовали, как захлестывает нас эта огромная волна. Во время этого танца Гермина отбросила свое высокомерие, свою насмешливость, свою холодность — она знала, что ей уже ничего не нужно делать, чтобы заставить меня влюбиться. Я принадлежал ей. И она отдавалась — танцем, взглядом, поцелуем, улыбкой. Все женщины этой лихорадочной ночи, все, с которыми я танцевал, все, которых я разжигал, все, которые разжигали меня, все, за которыми я ухаживал, все, к которым с жадностью прижимался, все, которым смотрел вслед с любовной тоской, слились и стали той единственной, которая цвела в моих объятьях.

Долго длился этот свадебный танец. Дважды, трижды замирала музыка, трубачи опускали свои инструменты, пианист вставал из-за рояля, первый скрипач изнеможенно мотал головой, и каждый раз они снова, раззадоренные молящим восторгом последних танцоров, играли, играли быстрее, играли бешеннее. Потом — мы стояли

еще обнявшись и не успев отдышаться от последнего жадного танца — крышка рояля громко захлопнулась, наши руки упали так же устало, как руки трубачей и скрипачей, флейтист, подмигнув, уложил свою флейту в футляр, распахнулись двери, ворвался холодный воздух, появились служители с верхней одеждой, и бармен выключил свет. Что-то призрачно-жутковатое было в этом всеобщем уходе, в том, как танцоры, только что пылавшие пламенем, зябко кутались в пальто и поднимали воротники. Гермина стояла бледная, но улыбалась. Она медленно подняла руки и пригладила волосы, ее подмышечная впадина блеснула на свету, тонкая, бесконечно нежная тень пробежала оттуда к закрытой груди, и мне показалось, что эта порхнувшая полосочка тени вобрала в себя, словно улыбка, всю ее прелесть, все игры и все возможности ее прекрасного тела.

Мы стояли и глядели друг на друга, последние в зале, последние в доме. Я слышал, как где-то внизу хлопнула дверь, разбился стакан, заглохло хихиканье, смешавшись со злым, торопливым шумом заводимых автомобилей. Я слышал, как где-то, в какой-то не поддающейся определенью вышине и дали, зазвучал смех, необыкновенно звонкий и радостный, однако жуткий и чужой

смех, смех как бы хрустальный и ледяной, звонкий и лучезарный, но холодный и неумолимый. Откуда же этот удивительный смех был мне знаком? Я этого не мог понять.

Мы стояли вдвоем и глядели друг на друга. На миг я очнулся и отрезвел, я почувствовал, как наваливается на меня сзади невероятная усталость, почувствовал, как противно липнет ко мне влажная и холодная от пота одежда, увидел, как торчат из мятых и пропотевших манжет мои красные, жилистые руки. Но все это тут же прошло, взгляд Гермины все это погасил. От ее взгляда, которым глядела на меня, казалось, моя собственная душа, рушилась всякая реальность, в том числе и реальность моего чувственного влечения к ней.

— Ты готов? — спросила Гермина, и ее улыбка исчезла, как исчезла тень на ее груди. Далеко и высоко замер тот странный смех в неведомых покоях.

Я кивнул головой. О да, я был готов.

Тут появился в дверях этот музыкант Пабло и осветил нас своими веселыми глазами, которые были, в сущности, глазами животного, но у животных глаза всегда серьезны, а его глаза всегда смеялись, и смех-то и делал их человеческими.

Он подзывал нас со всем своим радушием. На нем была пестрая шелковая домашняя куртка с красными лацканами, на фоне которых промокший воротничок его рубашки и его предельно усталое бледное лицо казались уж очень несвежими, но лучезарные черные глаза это сглаживали. Они тоже сглаживали реальность, они тоже колдовали.

Мы последовали его призыву, и у двери он тихо сказал мне: — Брат Гарри, я приглашаю вас на небольшой аттракцион.

Допускаются только сумасшедшие, плата за вход — разум. Вы готовы?

Я снова кивнул головой.

Славный малый! Нежно и заботливо взял он нас под руки, Гермину справа, меня слева, повел по лестнице и привел в какую-то небольшую, круглую комнату, синевато освещенную сверху и почти совсем пустую, в ней ничего не было, кроме небольшого круглого стола и трех кресел, в которые мы и сели.

Где мы находились? Спал ли я? Был ли я дома? Сидел ли в автомобиле и ехал? Нет, я находился в освещенной синеватым светом круглой комнате, в разреженном воздухе, в пласте какой-то разжившейся реальности. Почему была так бледна Гермина? Почему так много говорил Паб-

ло? Может быть, это я заставлял его говорить, это я говорил его устами? Не глядела ли на меня и его черными глазами лишь моя собственная душа, эта заблудшая, объятая страхом птица, точно так же, как серыми глазами Гермины?

Друг Пабло глядел на нас со своей доброй, чуть церемонной приветливостью и говорил, говорил много и долго. Тот, от кого я ни разу не слышал связной речи, тот, кого не интересовали никакие диспуты, никакие формулировки, тот, за кем я никак не предполагал способности думать, говорил своим добрым, теплым голосом плавно и без ошибок.

— Друзья, я пригласил вас на аттракцион, которого Гарри уже давно ждет и о котором он долго мечтал. Сейчас довольно поздно, и, наверно, все мы немного устали. Давайте поэтому сперва передохнем здесь и подкрепимся.

Он достал из стенной ниши три рюмки и какую-то забавную бутылочку, достал какую-то экзотическую шкатулочку из цветных дощечек, налил дополна все три рюмки, достал из шкатулки три тонкие, длинные, желтые сигареты, вынул из шелковой куртки зажигалку и дал нам закурить. Развалясь в креслах, мы медленно курили эти сигареты, дым от которых был густ, как

от ладана, и маленькими, медленными глотками пили терпко-сладкую жидкость удивительно незнакомого, ни на что не похожего вкуса, оказывавшую и правда необычайно живительное и отрадное действие — тебя словно бы наполняли газом и ты терял свою тяжесть. Так мы сидели, курили короткими затяжками, пили маленькими глотками, чувствовали в себе все большую веселость и легкость. А Пабло приглушенно говорил теплым своим голосом:

— Я рад, дорогой Гарри, что могу немного угостить вас сегодня. Вам часто очень надоедала ваша жизнь. Вы стремились уйти отсюда, не так ли? Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени.[93] Сделайте это, дорогой друг, я приглашаю вас это сделать. Вы ведь знаете, где таится этот другой мир и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души. Лишь в собственном вашем сердце живет та, другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами, я не могу открыть вам другого картинного зала,

[93] Примечания: 93
Имеется в виду внутренний мир, мир души.

кроме картинного зала вашей души. Я не могу вам дать ничего, разве лишь удобный случай, толчок, ключ. Я помогу вам сделать зримым ваш собственный мир, только и всего.

Он снова полез в карман своей пестрой куртки и вынул оттуда круглое карманное зеркальце.

— Глядите: вот каким видели вы себя до сих пор!

Он поднес зеркальце к моим глазам (мне вспомнился детский стишок: «Ах ты, зеркальце в руке!»[94]), и я, несколько расплывчато и смутно, увидел жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину — себя самого, Гарри Галлера, а внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль, и этот контур волка не переставал литься сквозь Гарри — так мутит и морщит реку приток с другой окраской воды, когда обе струи, мучительно борясь, пожирают одна другую в неизбывной тоске по окончательной форме. Печально, печально глядел на меня текущий, наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими

---

[94] Примечания: 94

«Ах ты, зеркальце в руке!» — слегка видоизмененная первая строка присказки из немецкой сказки «Снегурочка».

глазами.

— Вот каким видели вы себя, — повторил Пабло мягко и сунул зеркало обратно в карман.

Я благодарно закрыл глаза и отпил глоток эликсира.

— Теперь мы отдохнули, — сказал Пабло, — мы подкрепились и немного поболтали. Если вы уже не чувствуете усталости, я поведу вас сейчас в свою панораму и покажу вам свой маленький театр. Согласны?

Мы поднялись, Пабло, улыбаясь, пошел впереди, отворил какую-то дверь, отдернул какую-то портьеру, и мы очутились в круглом, подковообразном коридоре театра, как раз посредине, и в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи.

— Это наш театр, — объявил Пабло, — веселый театр, надеюсь, вам удастся здесь посмеяться.

При этом он громко засмеялся, он издал всего каких-нибудь два-три звука, но они пробрали меня насквозь, это был снова тот звонкий, странный смех, который я уже раньше слышал сверху.

— В моем театрике столько лож, сколько вы пожелаете, десять, сто, тысяча, и за каждой дверью вас ждет то, чего вы как раз ищете. Это славная

картинная галерея, дорогой друг, но вам не было бы никакой пользы осматривать ее таким, как вы есть. Вы были бы скованы и ослеплены тем, что вы привыкли называть своей личностью. Вы, несомненно, давно догадались, что преодоление времени, освобождение от действительности и как бы там еще ни именовали вы вашу тоску, означают не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она — тюрьма, в которой вы сидите. И войди вы в театр таким, как вы есть, вы увидели бы все глазами Гарри, сквозь старые очки Степного волка. Поэтому вас приглашают избавиться от этих очков и соблаговолить сдать эту глубокоуважаемую личность в здешний гардероб, где она будет к вашим услугам в любое время. Прелестный бал, в котором вы участвовали, трактат о Степном волке, наконец, маленькое возбуждающее средство, которое мы только что приняли, пожалуй, достаточно вас подготовили. Сдав свою уважаемую личность, Гарри, вы получите в свое распоряжение левую сторону театра, а Гермина — правую, встретиться вы можете внутри в любое время. Гермина, будь добра, зайди пока за портьеру, я хотел бы сначала провести Гарри.

Гермина удалилась направо, пройдя мимо

огромного зеркала, покрывавшего заднюю стену от пола до свода.

— Ну вот, Гарри, теперь ступайте и будьте в хорошем настроенье. Привести вас в хорошее настроенье, научить вас смеяться и есть цель всей этой затеи — надеюсь, вы не доставите мне хлопот. Вы ведь хорошо себя чувствуете? Да? Не боитесь? Вот и прекрасно, вот и отлично. Теперь, без страха и с полным удовольствием, вы вступите в наш фиктивный мир, войдя в него, как то принято, путем маленького фиктивного самоубийства.

Он снова достал карманное зеркальце и поднес его к моему лицу. Опять на меня глядел смятенный, туманный, размываемый Степным волком Гарри — хорошо знакомая и действительно неприятная картина, уничтожение которой не могло тревожить меня.

— Эту ненужную уже картинку вы сейчас погасите, дорогой друг, она теперь ни к чему. Вам достаточно, когда это позволит ваше настроенье, взглянуть на нее с искренним смехом. Вы находитесь сейчас в школе юмора, вы должны научиться смеяться. Ну, а всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону.

Я пристально поглядел в зеркальце, в ах-ты-зер-кальце-в-руке, в котором свершал свои подергиванья Гарри-волк. На миг что-то во мне дрогнуло, глубоко внутри, тихо, но мучительно, как воспоминанье, как тоска по дому, как раскаянье. Затем легкая подавленность сменилась новым чувством, похожим на то, которое испытываешь, когда у тебя из челюсти, замороженной кокаином, выдернут больной зуб, — чувство глубокого облегченья и одновременно удивленья, что было совсем не больно. И к этому чувству примешивалась какая-то бодрая веселость и смешливость, которой я не смог противостоять, отчего и разразился спасительным смехом.

Мутная картинка в зеркальце дрогнула и погасла, его маленькая круглая плоскость стала вдруг словно бы выжженной, — серой, шероховатой и непрозрачной. Пабло со смехом швырнул эту стекляшку, она покатилась и затерялась где-то на полу бесконечного коридора.

— Смеялся ты хорошо, Гарри, — воскликнул Пабло, — ты еще научишься смеяться, как бессмертные. Ну вот, наконец ты убил Степного волка. Бритвами тут ничего не сделаешь, смотри, чтобы он оставался мертвым! Сейчас ты сможешь покинуть глупую действительность. По

ближайшему поводу мы выпьем на брудершафт. Никогда, дорогой, ты не нравился мне так, как сегодня. И если потом для тебя это еще будет иметь значенье, мы сможем с тобой потом и философствовать, и диспутировать, и говорить о музыке, и о Моцарте, и о Глюке, и о Платоне, и о Гете, сколько ты пожелаешь. Теперь ты поймешь, почему это раньше не получалось… Надо надеяться, тебе повезет, и от Степного волка ты на сегодня избавишься. Ведь твое самоубийство, конечно, не окончательное. Мы находимся сейчас в магическом театре, здесь есть только картины, а не действительность. Выбери себе какие-нибудь славные и веселые картины и докажи, что ты в самом деле уже не влюблен в свою сомнительную личность! Но если ты все-таки хочешь вернуть ее, тебе достаточно снова взглянуть в зеркало, которое я теперь тебе покажу. Ты ведь знаешь старую мудрую пословицу: лучше одно зеркальце в руке, чем два на стенке. Ха-ха! (Опять он рассмеялся так прекрасно и страшно.) Ну вот, а теперь осталось проделать одну совсем маленькую, веселую церемонию. Теперь ты отбросил очки твоей личности, так взгляни же разок в настоящее зеркало! Это доставит тебе удовольствие.

Со смехом и забавными поглаживаньями он

повернул меня так, что я оказался напротив огромного стенного зеркала. В нем я увидел себя.

Какое-то короткое мгновенье я видел знакомого мне Гарри, только с необыкновенно веселым, светлым, смеющимся лицом. Но не успел я его узнать, как он распался, от него отделилась вторая фигура, третья, десятая, двадцатая, и все огромное зеркало заполнилось сплошными Гарри[95] или кусками Гарри, бесчисленными Гарри, каждого из которых я видел и узнавал лишь в течение какой-то молниеносной доли секунды. Иные из этого множества Гарри были моего возраста, иные старше, иные были древними, иные совсем молодыми, юношами, мальчиками, школьниками, мальчишками, детьми. Пятидесятилетние и двадцатилетние Гарри бегали и прыгали вперемешку, тридцатилетние и пятилетние, серьезные и веселые, степенные и смешные, хорошо одетые, и оборванные, и совсем голые, безволосые и длиннокудрые, и все были мной, и каждого я

[95] Примечания: 95

Мысль о расщеплении личности на множество «я» была знакома еще немецкому романтизму. Э. Гофман писал в 1809 г. в своем дневнике: «Я представляю себе свое „я“ через размножающее стекло — все фигуры, которые движутся вокруг меня, — это я, и я сержусь на их поведение». Аналогичная мысль повторяется у Новалиса: «Каждая личность способна, будучи разделенной на несколько личностей, тем не менее оставаться одной. Настоящий анализ личности, как таковой, создает множество личностей».

видел один миг и вмиг узнавал, и каждый затем исчезал, они разбегались во все стороны, налево, направо, убегали в глубину зеркала, выбегали из зеркала. Один из них, молодой элегантный парень, бросился, смеясь, Пабло на грудь, обнял его и с ним убежал. А другой, который особенно мне понравился, красивый, очаровательный мальчик шестнадцати или семнадцати лет, как молния, выбежал в коридор, стал жадно читать надписи на всех этих дверях, я побежал за ним, перед одной дверью он остановился, я прочел надпись на ней:

Все девушки твои!
Опусти в щель одну марку

Этот милый мальчик подпрыгнул, взвился головой вперед, ринулся в щель и исчез за дверью.

Пабло тоже исчез, да и зеркало как будто исчезло, а с ним и все эти бесчисленные образы Гарри. Я почувствовал, что предоставлен теперь себе самому и театру и стал с любопытством ходить от двери к двери, читая на каждой надпись, соблазн, обещанье.

Надпись

Приглашаем на веселую охоту!

приманила меня, я отворил узкую дверь и вошел.

Меня сразу рвануло в какой-то шумный и взволнованный мир. По улицам носились автомобили, частью бронированные, и охотились на пешеходов, давили колесами вдрызг, расплющивали о стены домов. Я сразу понял: это была борьба между людьми и машинами, давно готовившаяся, давно ожидавшаяся, давно внушавшая страх и теперь наконец разразившаяся. Повсюду валялись трупы и куски разодранных тел, повсюду же разбитые, искореженные, полусгоревшие автомобили, над этим безумным хаосом кружили самолеты, и по ним тоже палили с крыш и из окон из ружей и пулеметов. Дикие, великолепно-зажигательные плакаты на всех стенах огромными, пылавшими, как факелы, буквами призывали нацию выступить наконец на стороне людей против машин, перебить наконец жирных, хорошо одетых, благоухающих богачей, которые с помощью машин выжимают жир из других, а заодно и их большие, кашляющие, злобно рычащие, дьявольски гудящие автомобили, поджечь наконец фабрики и немножко очистить, немножко опу-

стошить поруганную землю, чтобы снова росла трава, чтобы запыленный цементный мир снова превратился в леса, луга, поля, ручьи и болота. Зато другие плакаты, чудесно выполненные, великолепно стилизованные, выдержанные в более нежной, не столь ребяческой цветовой гамме, сочиненные необычайно умно и талантливо, взволнованно предостерегали, наоборот, всех имущих и благонамеренных от грозящего хаоса анархии, живописуя поистине трогательное счастье порядка, труда, собственности, культуры, права и славя машины как высочайшее и последнее открытие людей, благодаря которому они могут превратиться в богов. Задумчиво и восхищенно читал я эти плакаты, красные и зеленые, поразительное воздействие оказывали на меня их пламенное красноречие, их железная логика, они были правы, и, глубоко убежденный прочитанным, стоял я то перед одним, то перед другим, хотя довольно-таки густая пальба вокруг мне все-таки ощутимо мешала. Что ж, главное было ясно: это была война, жаркая, шикарная и в высшей степени симпатичная война, где дело шло не об императоре, республике, границах, не о знаменах, партиях и тому подобных преимущественно декоративных и театральных

вещах, пустяках по сути, а где каждый, кому не хватало воздуха и приелась жизнь, выражал свое недовольство разительным образом и добивался всеобщего разрушенья металлического цивилизованного мира. Я видел, как звонко и как откровенно смеется в глазах у всех сладострастье убийства и разоренья, и во мне самом пышно зацвели эти красные дикие цветы и засмеялись не тише. Я радостно вмешался в борьбу.

Но прекрасней всего было то, что рядом со мной вдруг оказался мой школьный товарищ Густав, о котором я уже десятки лет ничего не слышал, самый когда-то необузданный, сильный и жизнелюбивый из друзей моего раннего детства. У меня возликовала душа, когда я увидел, как мне вновь подмигнули его голубые глаза. Он сделал мне знак, и я тут же последовал за ним с радостью.

— Боже мой, Густав, — счастливо воскликнул я, — вот так встреча! Кем же ты стал?

Он рассмеялся сердито, совсем как в мальчишеские времена. — Дурень, неужели нужно сразу лезть с вопросами и болтовней? Профессором богословия — вот кем я стал, ну вот, ты это узнал, но сейчас, старик, уже не до богословия, к счастью, сейчас война. Пошли!

С маленькой машины, которая, фыркая, двига-

лась нам навстречу, он выстрелом сбил водителя, ловко, как обезьяна, вскочил в машину, остановил ее и посадил меня, потом, с сумасшедшей скоростью, сквозь пули и опрокинутые машины, мы помчались прочь, удаляясь от центра города.

— Ты на стороне фабрикантов? — спросил я своего друга.

— Не важно, это дело вкуса, выедем за город — разберемся. Впрочем, нет, погоди, я скорее за то, чтобы мы выбрали другую партию, хотя, по сути, это, конечно, совершенно безразлично. Я богослов, и мой предок Лютер помогал в свое время князьям и богачам в борьбе с крестьянами, а мы теперь это немножко исправим. Дрянь машина, надо надеяться, ее хватит еще на несколько километров!

Как ветерок, неба сынок, вырвались мы, тарахтя, из города в зеленые спокойные места, проехали много миль по широкой равнине, а затем медленно поднялись и углубились в могучие горы. Здесь мы остановились на гладкой, скользкой дороге, которая, смело извиваясь между отвесной скалой и низким парапетом, уходила вверх, высоко, над синевшим вдалеке озером.

— Славная местность, — сказал я.

— Очень красивая. Мы можем назвать ее Осевой

дорогой, здесь сломается не одна ось, Гарринька, вот увидишь!

У дороги стояла большая пиния, а на пинии, вверху, мы увидели что-то вроде сколоченной из досок будки, этакую наблюдательную вышку. Густав звонко засмеялся, хитро подмигнул мне своими голубыми глазами, мы поспешно вышли из машины, вскарабкались по стволу и, тяжело дыша, спрятались в будке, которая нам очень понравилась. Мы нашли там ружья, пистолеты, ящики с патронами. И не успели мы немного остыть и обосноваться в засаде, как с ближайшего поворота уже донесся хриплый и властный гудок большой роскошной машины, она, рыча, ехала по гладкой горной дороге с высокой скоростью. Ружья мы уже приготовили. Это было удивительно интересно.

— Целься в шофера! — быстро приказал Густав, тяжелая машина мчалась как раз мимо нас.

И вот уже я прицелился и выстрелил — в синий картуз водителя. Шофер повалился, машина пронеслась дальше, ударилась о скалу, отскочила назад, тяжело и злобно, как большой, толстый шмель, ударилась о низкую стенку, опрокинулась и, с тихим, коротким треском перемахнув через нее, рухнула в пропасть.

— Готово! — засмеялся Густав. — Следующего я беру на себя.

Вот уже снова летела сюда машина, на сиденьях видны были три или четыре фигурки пассажиров, за одной женской головкой неподвижно и горизонтально плыл конец шарфа, голубого шарфа, его мне, собственно, было жаль, кто знает, не смеялось ли под ним прекрасное женское лицо. Господи, если уж мы играем в разбойников, то было бы, наверно, правильней и красивей следовать великим примерам и не распространять нашей славной кровожадности на прекрасных дам. Шофер дернулся, повалился, машина подпрыгнула у отвесной скалы, отскочила и плюхнулась колесами вверх на дорогу. Мы подождали, ничто не шевельнулось, люди бесшумно лежали под машиной, как в ловушке. Машина еще урчала, хрипела и забавно вращала колесами в воздухе, но вдруг она издала страшный треск и вспыхнула светлым пламенем.

— «Форд», — сказал Густав. — Надо сойти вниз и очистить дорогу.

Мы спустились и осмотрели горящую груду. Она догорела очень скоро, мы тем временем сделали рычаги из молодых деревцев, затем приподняли ее, оттолкнули и сбросили через парапет

с обрыва, после чего в кустах еще долго что-то трещало. Когда мы переворачивали машину, два трупа выпали, теперь они лежали на дороге, одежда обгорела. На одном довольно хорошо сохранился пиджак, я обследовал его карманы в надежде узнать, кто это был. Обнаружил бумажник, в нем визитные карточки. Я взял одну из них и прочел на ней слова: «Тат твам аси».[96]

— Очень остроумно, — сказал Густав. — Но и в самом деле неважно, как зовут людей, которых мы сейчас убиваем. Они такие же бедняги, как мы, имена не имеют значенья. Этот мир должен погибнуть, и мы с ним вместе.

Мы бросили трупы вслед машине. Уже подъезжал, сигналя, новый автомобиль. Его мы расстреляли прямо с дороги. Он, пьяно кружась, пролетел еще немного вперед, затем упал и так и улегся, хрипя, один пассажир тихо сидел на своем месте, но целой и невредимой, хотя она была бледна и вся дрожала, вышла из машины красивая девушка. Мы дружески приветствовали ее и предложили ей свои услуги. Она была очень испугана, не могла говорить и несколько мгновений глядела на нас как безумная.

---

[96] Примечания: 96
Это ты (санскр.).

— Что ж, посмотрим сперва, как обстоит дело с этим пожилым господином, — сказал Густав и обернулся к пассажиру, который все еще держался на сиденье позади мертвого шофера. Это был человек с короткими седыми волосами, он не закрыл своих умных светло-серых глаз, но, кажется, сильно пострадал, во всяком случае изо рта у него шла кровь, а шею он держал как-то зловеще косо и неподвижно.

— Разрешите представиться, почтеннейший, меня зовут Густав. Мы позволили себе застрелить вашего шофера. Смеем ли спросить, с кем имеем честь?

Серые глаза старика глядели холодно и грустно.

— Я старший прокурор Леринг, — сказал он медленно. — Вы убили не только моего бедного шофера, но и меня, я чувствую, что дело идет к концу. Почему вы стреляли в нас?

— Вы слишком быстро ехали.

— Мы ехали с нормальной скоростью.

— Что было нормально вчера, сегодня уже ненормально, господин старший прокурор. Сегодня мы считаем, что любая скорость, с которой может ехать автомобиль, слишком велика. Теперь мы сломаем автомобили, все до одного, и

другие машины тоже.

— И ваши ружья?

— Дойдет очередь и до них, если у нас останется время на это. Вероятно, завтра или послезавтра мы все погибнем. Вы же знаете, наша часть света была отвратительно перенаселена. Ну, а теперь дышать будет легче.

— Вы стреляете во всех, без разбора?

— Конечно. Некоторых, несомненно, жаль. Например, этой красивой молодой дамы мне было бы жаль — она, видимо, ваша дочь?

— Нет, моя стенографистка.

— Тем лучше. А теперь, пожалуйста, вылезайте или позвольте нам вытащить вас из машины: машина подлежит уничтоженью.

— Предпочитаю быть уничтоженным вместе с ней.

— Как вам угодно. Разрешите еще один вопрос. Вы прокурор. Мне всегда было непонятно, как человек может быть прокурором. Вы живете тем, что обвиняете и приговариваете к наказаньям других людей, в большинстве несчастных бедняков. Не так ли?

— Да, это так. Я выполнял свой долг. Это была моя обязанность. Точно так же, как обязанность палача — убивать осужденных мною. Вы же сами

взяли на себя такую же обязанность. Вы же тоже убиваете.

— Верно. Только мы убиваем не по долгу, а для удовольствия, точнее — от неудовольствия, оттого, что мы отчаялись в мире. Поэтому убийство доставляет нам известное удовольствие. Вам никогда не доставляло удовольствия убийство?

— Вы мне надоели. Сделайте милость, доведите свою работу до конца. Если у вас нет понятия о долге…

Он умолк и перекосил губы, словно хотел сплюнуть. Но вышло лишь немного крови, которая прилипла к его подбородку.

— Погодите, — вежливо сказал Густав. — Понятия о долге у меня правда нет, уже нет. Прежде мне по обязанности приходилось много заниматься этим понятием, я был профессором богословия. Кроме того, я был солдатом и участвовал в войне. В том, что мне казалось долгом и что мне приказывало начальство, ничего хорошего не было, я всегда предпочитал бы делать прямо противоположное. Но если у меня и нет понятия о долге, то зато у меня есть понятие о вине — а это, может быть, одно и то же. Поскольку я рожден матерью, я виновен, я осужден жить, обязан быть подданным какого-то государства, быть

солдатом, убивать, платить налоги для гонки вооружений. И сейчас вот, сию минуту, вина жизни снова, как когда-то во время войны, привела меня к необходимости убивать. Но на этот раз я убиваю без отвращенья, я смирился со своей виной, я ничего не имею против того, чтобы этот глупый, закупоренный мир рухнул, я рад помочь этому и с радостью погибну сам.

Прокурор сделал большое усилие, чтобы слегка улыбнуться слипшимися от крови губами. Удалось это ему не блестяще, но его доброе намеренье было заметно.

— Отлично, — сказал он. — Мы, значит, коллеги. А теперь выполните, пожалуйста, свой долг, коллега.

Красивая девушка успела тем временем упасть в обморок у края дороги.

В этот момент снова загудела машина, приближавшаяся на полном ходу. Мы оттащили девушку в сторонку, прижались к скалам и предоставили мчавшейся машине врезаться в обломки другой. Она резко затормозила и стала дыбом, не получив никаких повреждений. Мы быстро схватили ружья и взяли на прицел новеньких.

— Вылезайте! — скомандовал Густав. — Руки вверх! Трое мужчин вылезли из машины и по-

слушно подняли руки.

— Есть ли среди вас врач? — спросил Густав.

Они ответили отрицательно.

— Тогда, будьте добры, осторожно снимите с сиденья этого застрявшего господина, он тяжело ранен. А потом довезите его на своей машине до следующего города. Вперед, взяли!

Вскоре старика уложили в другую машину, Густав скомандовал, и все уехали.

Наша стенографистка успела тем временем прийти в себя и наблюдала за происходившим. Мне было приятно, что нам досталась эта красивая добыча.

— Барышня, — сказал Густав, — вы лишились работодателя. Надо надеяться, больше ни в чем этот пожилой господин не был вам близок. Я вас принимаю на службу, будьте нам хорошим товарищем! Так, а теперь надо поторапливаться. Скоро здесь будет неуютно. Вы умеете карабкаться, барышня? Да? Ну, так давайте же, полезайте между нами, мы вам поможем.

Стараясь не терять ни секунды, мы втроем вскарабкались по дереву в нашу будку. Наверху барышне стало дурно, но ей дали хлебнуть коньяку, и вскоре она настолько оправилась, что оценила великолепный вид на горы и озеро и

сообщила нам, что ее зовут Дора.

Сразу затем внизу снова появилась машина, которая, не останавливаясь, осторожно объехала лежавший автомобиль, а потом резко увеличила скорость.

— Отлыниваете! — засмеялся Густав и свалил пулей водителя. Машина, поплясав, сделала скачок к парапету, продавила его и косо повисла над пропастью.

— Дора, — сказал я, — вы умеете обращаться с ружьями?

Она не умела, но научилась у нас заряжать карабин. Сперва у нее не было сноровки, она ссадила до крови палец, заревела и потребовала английского пластыря. Но Густав объяснил ей, что идет война, и она, Дора, должна показать, что она смелая, храбрая девушка. И дело пошло на лад.

— Но что будет с нами? — спросила она потом.

— Не знаю, — сказал Густав. — Мой друг Гарри любит красивых женщин; он будет вашим близким другом.

— Но они явятся с полицией и солдатами и убьют нас.

— Полиции и тому подобного больше не существует. У нас есть выбор, Дора. Либо спокойно

ждать здесь наверху и расстреливать все проезжающие машины. Либо сесть самим в какую-нибудь машину, уехать отсюда и предоставить другим стрелять в нас. Безразлично, на чью сторону мы станем. Я за то, чтобы остаться здесь.

Внизу опять появилась машина, до нас донесся ее полнозвучный сигнал. С ней мы быстро покончили, и она осталась лежать вверх колесами.

— Смешно, — сказал я, — что стрельба может доставлять такое удовольствие! А ведь раньше я был противником войн!

Густав улыбнулся.

— То-то и оно, слишком много людей на свете. Раньше это не было так заметно. А теперь, когда каждый хочет не только дышать воздухом, но и иметь автомобиль, теперь это заметно. Конечно, то, что мы сейчас делаем, неразумно, это ребячество, да и война была огромным ребячеством. Со временем человечество волей-неволей научится ограничивать свое размноженье разумными средствами. Пока мы реагируем на невыносимое положенье довольно-таки неразумно, но делаем, по существу, то, что нужно, — уменьшаем в количестве.

— Да, — сказал я, — то, что мы делаем, наверно, безумно, и все же, наверно, это хорошо и

необходимо. Нехорошо, когда человечество перенапрягает разум и пытается с помощью разума привести в порядок вещи, которые разуму еще совсем недоступны. Тогда возникают разные идеалы… они чрезвычайно разумны, и все же они страшно насилуют и обирают жизнь, потому что очень уж наивно упрощают ее. Образ человека, некогда высокий идеал, грозит превратиться в стереотип. Мы, сумасшедшие, может быть, снова облагородим его.

Густав, засмеявшись, ответил:

— Старик, ты говоришь замечательно умно, слушать этот кладезь премудрости отрадно и полезно. И, может быть, ты даже немножко прав. Но, будь добр, заряди теперь свое ружье, ты, по-моему, замечтался. В любой миг может прибежать еще косулька-другая, а их философией не уложишь, нужны как-никак пули в стволе.

Подъехал автомобиль и сразу погиб, дорога была теперь загорождена. Тучный рыжеголовый человек, оставшийся в живых, дико жестикулировал возле обломков, глазел вниз и вверх, обнаружил наше укрытие, побежал, рыча, в нашу сторону и выстрелил в нас снизу из револьвера несколько раз.

— Убирайтесь, а то буду стрелять, — крик-

нул Густав вниз. Рыжий взял его на прицел и выстрелил снова. Тогда мы сразили его двумя выстрелами.

Мы уложили еще две подошедших машины. Затем на дороге стало тихо и пусто, распространилось, видимо, известие о том, что она опасна. У нас было время полюбоваться красивым видом. По ту сторону озера лежал в лощине небольшой город, там поднимался дым, и вскоре мы увидели, как огонь перебегает с крыши на крышу. Слышна была и стрельба. Дора захныкала, я стал гладить ее мокрые щеки.

— Неужели мы все должны умереть? — спросила она. Никто не ответил. Тем временем внизу показался пешеход, увидел лежащие разбитые автомобили, обнюхал их со всех сторон, сунулся, наклонившись, в один из них, вытащил оттуда пестрый зонтик от солнца, кожаную дамскую сумку, бутылку вина, мирно сел на парапет, отпил из бутылки, съел что-то из сумки, завернутое в фольгу, допил бутылку до дна, весело пошел дальше с зонтиком под мышкой. Он мирно шагал вперед, и я сказал Густаву:

— Ты бы смог теперь выстрелить в этого славного парня и продырявить ему голову? Видит Бог, я не смог бы.

— Этого и не требуется, — буркнул мой друг.

Но и ему стало не по себе. Стоило лишь нам увидеть человека, который еще вел себя бесхитростно, мирно, по-детски, который жил еще в состоянии невинности, как все наши такие вроде похвальные и такие необходимые действия показались нам вдруг дурацкими и отвратительными. Тьфу, пропасть, сколько крови! Нам стало стыдно. Но говорят, что даже генералы испытывали порой на войне подобное чувство.

— Уйдем отсюда, — заныла Дора, — сойдем вниз, в машинах наверняка найдется что-нибудь съестное. Неужели вы не проголодались?

Внизу, в горящем городе, зазвонили колокола — взволнованно и испуганно. Мы приготовились к спуску. Помогая Доре перелезть через загородку, я поцеловал ей коленки. Она звонко рассмеялась. Но тут доски не выдержали, и мы с ней рухнули в пустоту…

Я снова находился в круглом коридоре, еще не остыв от этого приключенья с охотой. И отовсюду, со всех бесчисленных дверей, манили надписи:

Mutabor[97][98]

Превращение в любых животных и любые растения

Камасутра[99]

Обучение индийскому искусству любви

Курс для начинающих: 42 разных способа любви

Наслаждение от самоубийства! Ты доконаешь себя смехом

Хотите превратиться в дух? Мудрость Востока

О, если б у меня была тысяча языков!

Только для мужчин

---

[97] Примечания: 97

Я превращаюсь (лат.).

[98] Примечания: 98

Mutabor — волшебное слово в сказке Вильгельма Гауфа «История о Калифе-аисте», способное превращать людей в зверей и птиц.

[99] Примечания: 99

Камасутра — древнеиндийский учебник искусства любви.

Закат Европы[100]
Цены снижены. Все еще вне конкуренции

Воплощение искусства
Время превращается в пространство с помощью музыки

Смеющаяся слеза
Кабинет юмора

Игры отшельника
Полноценная замена любого общения

Ряд надписей тянулся бесконечно. Одна гласила:

Урок построения личности
Успех гарантируется

Это показалось мне достойным вниманья, и я вошел в соответствующую дверь.

---

[100] Примечания: 100

«Закат Европы» — так называлось сочинение позднебуржуазного культур-философа О. Шпенглера (1880–1936), которое Гессе рецензировал в 1924 г. Следует отметить, что Гессе вкладывал в понятие «заката» несколько иное содержание, чем Шпенглер, подразумевая прежде всего «закат» определенного психологического типа человека, что, по его мнению, должно явиться предпосылкой рождения нового человека.

Я оказался в сумрачной тихой комнате, где без стула, на восточный манер, сидел на полу человек, а перед ним лежало что-то вроде большой шахматной доски. В первый момент мне показалось, что это мой друг Пабло, — во всяком случае, он носил такую же пеструю шелковую куртку и у него были такие же темные сияющие глаза.

— Вы Пабло? — спросил я.

— Я никто, — объяснил он приветливо. — У нас здесь нет имен, мы здесь не личности. Я шахматист. Желаете взять урок построения личности?

— Да, пожалуйста.

— Тогда, будьте добры, дайте мне десяток-другой ваших фигур.

— Моих фигур?..

— Фигур, на которые, как вы видели, распадалась ваша так называемая личность. Ведь без фигур я не могу играть.

Он поднес к моим глазам зеркало, я снова увидел, как единство моей личности распадается в нем на множество «я», число которых, кажется, еще выросло. Но фигуры были теперь очень маленькие, размером с обычные шахматные. Тихими, уверенными движеньями пальцев игрок отобрал несколько десятков и поставил их на пол рядом с доской. При этом он монотонно, как

повторяют хорошо заученную речь или лекцию, твердил:

— Вам известно ошибочное и злосчастное представленье, будто человек есть некое постоянное единство. Вам известно также, что человек состоит из множества душ, из великого множества «я». Расщепление кажущегося единства личности на это множество фигур считается сумасшествием, наука придумала для этого названье — шизофрения. Наука права тут постольку, поскольку ни с каким множеством нельзя совладать без руководства, без известного упорядоченья, известной группировки. Не права же она в том, что полагает, будто возможен лишь один, раз навсегда данный, непреложный, пожизненный порядок множества подвидов «я». Это заблужденье науки имеет массу неприятных последствий, ценно оно только тем, что упрощает состоящим на государственной службе учителям и воспитателям их работу и избавляет их от необходимости думать и экспериментировать. Вследствие этого заблужденья «нормальными», даже социально высокосортными, считаются часто люди неизлечимо сумасшедшие, а как на сумасшедших, смотрят, наоборот, на иных гениев. Поэтому несовершенную научную психологию мы допол-

няем понятием, которое называем искусством построения. Тому, кто изведал распад своего «я», мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни. Как писатель создает драму из горстки фигур, так и мы строим из фигур нашего расщепленного «я» все новые группы с новыми играми и напряженностями, с вечно новыми ситуациями. Смотрите!

Тихими, умными пальцами он взял мои фигуры, всех этих стариков, юношей, детей, женщин, все эти веселые и грустные, сильные и нежные, ловкие и неуклюжие фигуры, и быстро расставил из них на своей доске партию, где они тотчас построились в группы и семьи для игр и борьбы, для дружбы и вражды, образуя мир в миниатюре. Перед моими восхищенными глазами он заставил этот живой, но упорядоченный маленький мир двигаться, играть и бороться, заключать союзы и вести сраженья, осаждать любовью, вступать в браки и размножаться; это была и правда многоперсонажная, бурная и увлекательная драма.

Затем он весело провел рукой по доске, осторожно опрокинул фигуры, сгреб их в кучу и задумчиво, как разборчивый художник, построил из тех же фигур совершенно новую партию, с

совершенно другими группами, связями и сплетеньями. Вторая партия была родственна первой: это был тот же мир, и построена она была из того же материала, но переменилась тональность, изменился темп, переместились акценты мотивов, ситуации приобрели иной вид.

И вот так этот умный строитель строил из фигур, каждая из которых была частью меня самого, одну партию за другой, все они отдаленно походили друг на друга, все явно принадлежали к одному и тому же миру, имели одно и то же происхожденье, но каждая была целиком новой.

— Это и есть искусство жить, — говорил он поучающе. — Вы сами вольны впредь на все лады развивать и оживлять, усложнять и обогащать игру своей жизни, это в ваших руках. Так же как сумасшествие, в высшем смысле, есть начало всяческой мудрости, так и шизофрения есть начало всякого искусства, всякой фантазии. Даже ученые это уже наполовину признали, о чем можно прочесть, например, в «Волшебном роге принца»,[101] очаровательной книжке, где

[101] Примечания: 101

Название дано по аналогии с известным романтическим сборником песен «Волшебный рог мальчика» (по-немецки «Des Knaben Wunderhorn») И. Арнима и К. Брентано. Так зашифрована фамилия гейдельбергского врача Принцхорна, автора сочинения «Живопись душевнобольных. К психологии и психопатологии формотворчества» (1923).

кропотливый и прилежный труд ученого облагораживается гениальным сотрудничеством нескольких сумасшедших художников, засаженных в психиатрические лечебницы. Возьмите с собой ваши фигурки, эта игра еще не раз доставит вам радость. Фигуру, которая сегодня выросла в несносное пугало и портит вам партию, вы завтра понизите в чине, и она станет безобидной второстепенной фигурой. А из милой, бедной фигурки, обреченной, казалось уже, на сплошные неудачи и невезенье, вы сделаете в следующей партии принцессу. Желаю вам хорошо повеселиться, сударь.

Я низко и благодарно поклонился этому талантливому актеру, сунул фигурки в карман и вышел через узкую дверь.

Вообще-то я думал, что сразу же сяду в коридоре на пол и буду часами, целую вечность, играть со своими фигурами, но едва я вернулся в этот светлый и круглый коридор, как меня понесли новые теченья, которые были сильнее меня. Перед моими глазами ярко вспыхнул плакат:

Чудо дрессировки степных волков

Множество чувств пробудила во мне эта надпись; всякого рода страхи и тяготы, пришедшие из былой моей жизни, из покинутой действитель-

ности, мучительно сжали мне сердце. Дрожащей рукой отворив дверь, я вошел в какой-то ярмарочный балаган, где увидел железную решетку, которая и отделяла меня от убогих подмостков. А на подмостках стоял укротитель, чванный, смахивавший на шарлатана господин, который, несмотря на большие усы, могучие бицепсы и крикливый циркаческий костюм, каким-то коварным, довольно-таки противным образом походил на меня самого. Этот сильный человек держал на поводке, как собаку, — жалкое зрелище! — большого, красивого, но страшно отощавшего волка, во взгляде которого видна была рабская робость. И столь же противно, сколь интересно, столь же омерзительно, сколь и втайне сладостно, было наблюдать, как этот жестокий укротитель демонстрировал такого благородного и все же такого позорно послушного хищного зверя в серии трюков и сногсшибательных сцен.

Своего волка этот мой проклятый карикатурный близнец выдрессировал, ничего не скажешь, чудесно. Волк точно исполнял каждое приказанье, реагировал, как собака, на каждый окрик, на каждое щелканье бича, падал на колени, притворялся мертвым, служил, послушнейше носил в зубах то яйцо, то кусок мяса, то корзиночку, боль-

ше того, поднимал бич, уроненный укротителем, и носил его за ним в пасти, невыносимо раболепно виляя при этом хвостом. К волку приблизили кролика, а затем белого ягненка, и зверь, хоть он и оскалил зубы, хотя у него и потекла слюна от трепетной жадности, не тронул ни того, ни другого, а изящно перепрыгнул по приказанью через обоих животных, которые, дрожа, прижимались к полу, более того, улегся между кроликом и ягненком и обнял их передними лапами, образуя с ними трогательную семейную группу. Затем он съел плитку шоколада, взяв ее из руки человека. Мука мученическая была глядеть, до какой фантастической степени научился этот волк отрекаться от своей природы, у меня волосы дыбом вставали.

Однако за эту муку и взволнованный зритель, и сам волк были во второй части представленья вознаграждены. По окончании этой изощренной дрессировочной программы, после того как укротитель торжествующе, со сладкой улыбкой, склонился над волчье-ягнячьей группой, роли переменились. Укротитель, похожий на Гарри, вдруг с низким поклоном положил свой бич к ногам волка и стал так же дрожать и ежиться, принял такой же несчастный вид, как раньше зверь. А волк только облизывался, всякая вы-

мученность и неестественность слетели с него, его взгляд светился, все его тело подтянулось и расцвело во вновь обретенной дикости.

Теперь приказывал волк, а человек подчинялся. По приказанью человек опускался на колени, играл волка, высовывал язык, рвал на себе пломбированными зубами одежду. Ходил, в зависимости от воли укротителя людей, на своих двоих или на четвереньках, служил, притворялся мертвым, катал волка верхом на себе, носил за ним бич. Изобретательно и с собачьей готовностью подвергал он себя извращеннейщим униженьям. На сцену вышла красивая девушка, подошла к дрессированному мужчине, погладила ему подбородок, потерлась щекой об его щеку, но он по-прежнему стоял на четвереньках, оставался зверем, мотал головой и начал показывать красавице зубы, под конец настолько грозно, настолько по-волчьи, что та убежала. Ему предлагали шоколад, но он презрительно обнюхивал его и отталкивал. А в заключенье опять принесли белого ягненка и жирного пестрого кролика, и переимчивый человек исполнил последний свой номер, сыграл волка так, что любо было глядеть. Схватив визжащих животных пальцами и зубами, он вырывал у них клочья шерсти и мяса,

жевал, ухмыляясь, живое их мясо и самозабвенно, пьяно, сладострастно зажмурившись, пил их теплую кровь.

Я в ужасе выбежал за дверь. Этот магический театр не был, как я увидел, чистым раем, за его красивой поверхностью таились все муки ада. О Господи, неужели и здесь не было избавленья?

В страхе бегал я взад и вперед, ощущая во рту вкус крови и вкус шоколада, одинаково отвратительные, и, страстно стремясь ускользнуть от этой мутной волны, силился исторгнуть из самого себя более терпимые, более приветливые картины. «О друзья, довольно этих звуков!»[102] — пело во мне, и я с ужасом вспомнил те мерзкие фотографии с фронта, что иногда попадались на глаза во время войны, — беспорядочные груды трупов, чьи лица противогазы преображали в какие-то дьявольские рожи. Как еще глуп и наивен был я в ту пору, когда меня, человеколюбивого противника войны, ужасали эти картинки. Сегодня я знал, что ни один укротитель, ни один министр, ни один генерал, ни один безумец не способен додуматься ни до каких мыслей и кар-

[102] Примечания: 102

Речитатив, предшествующий заключительному хору Девятой симфонии Бетховена. Так Гессе озаглавил свою первую антивоенную статью, опубликованную 3 февраля 1914 г. в «Нойе цюрхер цайтунг».

тин, которые не жили бы во мне самом, такие же гнусные, дикие и злые.

Со вздохом облегченья вспомнил я надпись, вызвавшую, как я видел, в начале спектакля такой энтузиазм у того красивого юноши, надпись:

Все девушки твои

и мне показалось, что в общем-то ничего другого не стоит и желать. Радуясь, что снова убегу от проклятого волчьего мира, я вошел внутрь.

О, чудо, — это было так поразительно и одновременно так знакомо, — на меня здесь пахнуло моей юностью, атмосферой моего детства и отрочества, и в моем сердце потекла кровь тех времен. Все, что я еще только что делал и думал, все, чем я еще только что был, свалилось с меня, и я снова стал молодым. Еще час, еще минуту тому назад я считал, что довольно хорошо знаю, что такое любовь, желанье, влеченье, но это были любовь и влеченье старого человека. Сейчас я снова был молод, и то, что я в себе чувствовал, этот жаркий, текучий огонь, эта неодолимо влекущая тяга, эта расковывающая, как влажный мартовский ветер, страстность, было молодым, новым и настоящим. О, как загорелись забытые огни, как мощно и глухо зазвучала музыка былого, как заиграло в крови, как закричало и запело в душе! Я был

мальчиком пятнадцати или шестнадцати лет, моя голова была набита латынью, греческим и стихами прекрасных поэтов, мои мысли полны честолюбивых устремлений, мои фантазии наполнены мечтой о художничестве, но намного глубже, сильней и страшней, чем все эти полыхающие огни, горели и вспыхивали во мне огонь любви, голод пола, изнурительное предчувствие наслажденья.

Я стоял на скалистом холме над моим родным городком, пахло влажным ветром и первыми фиалками, внизу, в городке, сверкала река, сверкали окна моего отчего дома, и во всем этом зрелище, во всех этих звуках и запахах была та бурная полнота, новизна и первозданность, та сияющая красочность, все это дышало на весеннем ветру той неземной просветленностью, что виделись мне в мире когда-то, в самые богатые, поэтические часы моей первой молодости. Я стоял на холме, ветер шевелил мои длинные волосы; погруженный в мечтательную любовную тоску, я рассеянно сорвал с какого-то едва зазеленевшего куста молодую, полураскрывшуюся почку, поднес ее к глазам, понюхал (и уже от этого запаха меня обожгли воспоминания обо всем, что было тогда), взял в губы, которые еще не целовали ни одной

девушки, этот зеленый комочек и стал жевать его. И стоило лишь мне ощутить его терпкий, душисто-горький вкус, как я вдруг отчетливо понял, что со мной происходит, все вернулось опять. Я заново переживал один час из моего позднего отрочества, один воскресный день ранней весны, тот день, когда я, гуляя в одиночестве, встретил Розу Крейслер и так робко поздоровался с ней, так одурело влюбился в нее.

Тогда я с боязливым ожиданьем глядел на эту красивую девушку, которая, еще не замечая меня, одиноко и мечтательно поднималась в мою сторону, видел ее волосы, заплетенные в толстые косы и все же растрепанные у щек, где играли и плыли на ветру вольные пряди. Я увидел в первый раз в жизни, как прекрасна эта девушка, как прекрасна и восхитительна эта игра ветра в нежных ее волосах, как томительно прекрасно облегает ее тонкое синее платье юное тело, и точно так же, как от горько-пряного вкуса разжеванной почки меня проняла вся сладостно-жуткая, вся зловещая радость весны, так при виде этой девушки меня охватило, во всей его полноте, смертельное предчувствие любви, представленье о женщине, потрясающее предощущенье огромных возможностей и обещаний,

несказанных блаженств, немыслимых смятений, страхов, страданий, величайшего освобожденья и глубочайшей вины. О, как горел этот горький весенний вкус на моем языке! О, как струился, играя, ветер сквозь волосы, распустившиеся у ее румяных щек! Потом она приблизилась ко мне, подняла глаза и узнала меня, на мгновенье чуть покраснела и отвела взгляд; потом я поздоровался с ней, сняв свою конфирмандскую шляпу, и Роза сразу овладела собой, улыбнувшись и немножко по-дамски задрав голову, ответила на мое приветствие и медленно, твердо и надменно пошла дальше, овеянная тысячами любовных желаний, требований, восторгов, которые я посылал ей вослед.

Так было когда-то, в одно воскресенье тридцать пять лет тому назад, и все тогдашнее вернулось в эту минуту — и холм, и город, и мартовский ветер, и запах почки, и Роза, и ее каштановые волосы, и эта нарастающая тяга, и этот сладостный, щемящий страх. Все было как тогда, и мне казалось, что я уже никогда в жизни так не любил, как любил тогда Розу. Но на сей раз мне было дано встретить ее иначе, чем в тот раз. Я видел, как она покраснела, узнав меня, видел, как старалась скрыть, что покраснела, и сразу понял,

что нравлюсь ей, что для нее эта встреча имеет такое же значенье, как для меня. И, вместо того чтобы снова снять шляпу и чинно постоять со шляпой в руке, пока она не пройдет мимо, я на сей раз, несмотря на страх и стесненье, сделал то, что велела мне сделать моя кровь, и воскликнул: «Роза! Слава Богу, что ты пришла, прекрасная, прекрасная девочка. Я тебя так люблю». Это было, наверно, не самое остроумное, что можно было сказать, но тут вовсе не требовалось ума, этого было вполне достаточно. Роза не приосанилась по-дамски и не прошла мимо, Роза остановилась, посмотрела на меня, покраснела еще больше и сказала: «Здравствуй, Гарри, я тебе действительно нравлюсь?» Ее карие глаза, ее крепкое лицо сияли, и я почувствовал: вся моя прошлая жизнь и любовь была неправильной, несуразной и глупо несчастной с тех пор, как я в то воскресенье дал Розе уйти. Но теперь ошибка была исправлена, и все изменилось, все стало хорошо.

Мы взялись за руки и, рука в руке, медленно пошли дальше, несказанно счастливые, очень смущенные; мы не знали, что говорить и что делать, от смущенья мы пустились бегом и бежали, пока не запыхались, а потом остановились, не разнимая, однако, рук. Мы оба были еще в дет-

стве и не знали, что делать друг с другом, мы не дошли в то воскресенье даже до первого поцелуя, но были невероятно счастливы. Мы стояли и дышали, потом сели на траву, и я гладил ей руку, а она другой рукой робко касалась моих волос, а потом мы опять встали и попытались померяться ростом, и на самом деле я был чуточку выше, но я этого не признал, а заявил, что мы совершенно одинакового роста, и что Господь предназначил нас друг для друга, и что мы позднее поженимся. Тут Роза сказала, что пахнет фиалками, и, ползая на коленях по низкой весенней траве, мы нашли несколько фиалок с короткими стебельками, и каждый подарил другому свои, а когда стало прохладнее и свет начал уже косо падать на скалы, Роза сказала, что ей пора домой, и нам обоим сделалось очень грустно, потому что провожать я ее не смел, но теперь у нас была общая тайна, и это было самое дивное, чем мы обладали. Я остался наверху, среди скал, понюхал подаренные Розой фиалки, лег у обрыва на землю, лицом к пропасти, и стал смотреть вниз на город, и глядел до тех пор, пока далеко внизу не появилась ее милая фигурка и не пробежала мимо колодца и через мост. И теперь я знал, что она добралась до дома своего отца и ходит по комнатам, и я лежал здесь

наверху вдалеке от нее, но от меня к ней тянулась нить, шли токи, летела тайна.

Мы встречались то здесь, то там, на скалах, у садовых оград, всю эту весну, и когда зацвела сирень, — впервые боязливо поцеловались. Мы, дети, мало что могли дать друг другу, и в поцелуе нашем не было еще ни жара, ни полноты, и распущенные завитки волос у ее ушей я осмелился лишь осторожно погладить, но вся любовь и радость, на какую мы были способны, была нашей, и с каждым застенчивым прикосновеньем, с каждым незрелым словом любви, с каждым случаем робкого ожиданья друг друга мы учились новому счастью, поднимались еще на одну ступеньку по лестнице любви.

Так, начиная с Розы и фиалок, я прожил еще раз всю свою любовную жизнь, но под более счастливыми звездами. Роза потерялась, и появилась Ирмгард, и солнце стало жарче, звезды — пьянее, но ни Роза, ни Ирмгард не стали моими, мне довелось подниматься со ступеньки на ступеньку, многое испытать, многому научиться, довелось потерять и Ирмгард, и Анну тоже. Каждую девушку, которую я в юности когда-то любил, я любил снова, но способен был каждой внушить любовь, каждой что-то дать, быть одаренным каждой.

Желанья, мечты и возможности, жившие некогда только в моем воображенье, были теперь действительностью и подлинной жизнью. О, все вы, прекрасные цветки, Ида и Лора, все, кого я когда-то любил хоть одно лето, хоть один месяц, хоть один день!

Я понял, что я был теперь тем славным, пылким юнцом, который так рьяно устремился тогда к вратам любви, понял, что теперь я проявлял и взращивал эту часть себя, эту лишь на десятую, на тысячную долю сбывшуюся часть своего естества, что теперь меня не отягощали все прочие ипостаси моего «я», не перебивал мыслитель, не мучил Степной волк, не урезал поэт, фантаст, моралист. Нет, теперь я не был никем, кроме как любящим, не дышал никаким счастьем и никаким страданьем, кроме счастья и страданья любви. Уже Ирмгард научила меня танцевать, Ида — целоваться, а самая красивая, Эмма, была первой, которая осенним вечером, под колышущейся листвой вяза, дала поцеловать мне свои смуглые груди и испить чашу радости.

Многое пережил я в театрике Пабло, и словами не передать даже тысячной доли. Все девушки, которых я когда-либо любил, были теперь моими, каждая давала мне то, что могла дать только она,

каждой давал я то, что только она была способна взять у меня. Много любви, много счастья, много наслаждений, но и немало замешательств, немало страданий довелось мне изведать, вся упущенная любовь моей жизни волшебно цвела в моем саду в этот сказочный час, — невинные, нежные цветки, цветки полыхающие, яркие, цветы темные, быстро вянущие, жгучая печаль, испуганное умиранье, сияющее возрожденье. Я встречал женщин, завладеть которыми можно было лишь поспешно и приступом, и таких, за которыми долго и тщательно ухаживать было счастьем; вновь возникал каждый туманный уголок моей жизни, где когда-либо, хоть минуту, звал меня голос пола, зажигал женский взгляд, манил блеск белой девичьей кожи, и все упущенное наверстывалось. Каждая становилась моей, каждая на свой лад. Появилась та женщина с необыкновенными темно-карими глазами под льняными локонами, рядом с которой я когда-то простоял четверть часа у окна в коридоре скорого поезда, — она не сказала ни слова, но научила меня небывалым, пугающим, смертельным искусствам любви. И гладкая, тихая, стеклянно улыбающаяся китаянка из марсельского порта с гладкими, черными как смоль волосами и плава-

ющими глазами — она тоже знала неслыханные вещи. У каждой была своя тайна, аромат своего земного царства, каждая целовала, смеялась по-своему, была на свой, особенный лад стыдлива, на свой, особенный лад бесстыдна. Они приходили и уходили, поток приносил их ко мне, нес меня, как щепку, к ним и от них, это было озорное, ребяческое плаванье в потоке, полное прелести, опасностей, неожиданностей. И я удивлялся тому, как богата была моя жизнь, моя на вид такая бедная и безлюбовная волчья жизнь, влюбленностями, благоприятными случаями, соблазнами. Я их почти все упускал, почти ото всех бежал, об иные споткнувшись, я забывал их как можно скорее, — а тут они все сохранились, без единого пробела, сотнями. И теперь я видел их, отдавался им, был ими открыт, погружался в розовые сумерки их преисподней. Вернулся и тот соблазн, что некогда предложил мне Пабло, и другие, более ранние, которые я в то время даже не вполне понимал, фантастические игры втроем и вчетвером — все они с улыбкой принимали меня в свой хоровод. Такие тут творились дела, такие игрались игры, что и слов нет.

Из бесконечного потока соблазнов, пороков, коллизий я вынырнул другим человеком — ти-

хим, молчаливым, подготовленным, насыщенным знаньем, мудрым, искушенным, созревшим для Гермины. Последним персонажем в моей тысячеликой мифологии, последним именем в бесконечном ряду возникла она, Гермина, и тут же ко мне вернулось сознанье и положило конец сказке любви, ибо с Германой мне не хотелось встречаться здесь, в сумраке волшебного зеркала, ей принадлежала не только одна та фигура моих шахмат, ей принадлежал Гарри весь. О, теперь следовало перестроить свои фигуры так, чтобы все завертелось вокруг нее и свершилось.

Поток выплеснул меня на берег, я снова стоял в безмолвном коридоре театра. Что теперь? Я потянулся было к лежавшим у меня в кармане фигуркам, но этот порыв сразу прошел. Неисчерпаем был окружавший меня мир дверей, надписей, магических зеркал. Я безвольно прочел ближайшую надпись и содрогнулся:

Как убивают любовью

гласила она. В моей памяти мгновенно вспыхнула картина: Гермина за столиком ресторана, забывшая вдруг про вино и еду и ушедшая в тот многозначительный разговор, когда она, со страшной серьезностью во взгляде, сказала мне, что заставит меня влюбиться в нее лишь для

того, чтобы принять смерть от моих рук. Тяжелая волна страха и мрака захлестнула мне сердце, все снова вдруг встало передо мной, я снова почувствовал вдруг в глубинах души беду и судьбу. В отчаянии я полез в карман, чтобы достать оттуда фигуры, чтобы немного поколдовать и изменить весь ход моей партии. Фигур там уже не было. Вместо фигур я вынул из кармана нож. Испугавшись до смерти, я побежал по коридору, мимо дверей, потом вдруг остановился у огромного зеркала и взглянул в него. В зеркале стоял, с меня высотой, огромный прекрасный волк, стоял тихо, боязливо сверкая беспокойными глазами. Он нет-нет да подмигивал мне и посмеивался, отчего пасть его на миг размыкалась, обнажая красный язык.

Где был Пабло? Где была Гермина? Где был тот умный малый, что так красиво болтал о построении личности?

Я еще раз взглянул в зеркало. Я тогда, видно, спятил. Никакого волка, вертевшего языком, за высоким стеклом не было. В зеркале стоял я, стоял Гарри, стоял с серым лицом, покинутый всеми играми, уставший от всех пороков, чудовищно бледный, но все-таки человек, все-таки кто-то, с кем можно было говорить.

— Гарри, — сказал я, — что ты здесь делаешь?

— Ничего, — сказал тот, в зеркале, — я просто жду. Жду смерти.

— А где смерть? — спросил я.

— Придет, — сказал тот.

И я услыхал музыку, донесшуюся из пустых помещений внутри театра, прекрасную и страшную музыку, ту музыку из «Дон-Жуана», что сопровождает появление Каменного гостя. Зловещим гулом наполнили этот таинственный дом ледяные звуки, пришедшие из потустороннего мира, от бессмертных.

«Моцарт!» — подумал я и вызвал этим словом, как заклинаньем, самые любимые и самые высокие образы моей внутренней жизни.

Тут позади меня раздался смех, звонкий и холодный как лед, смех, рожденный неведомым человеку потусторонним миром выстраданного, потусторонним миром божественного юмора. Я обернулся, оледененный и осчастливленный этим смехом, и тут показался Моцарт, прошел, смеясь, мимо меня, спокойно направился к одной из дверей, что вели в ложи, отворил ее и вошел внутрь, и я устремился за ним, богом моей юности, пожизненным пределом моей любви и моего поклоненья. Музыка зазвучала опять. Моцарт

стоял у барьера ложи, театра не было видно, безграничное пространство наполнял мрак.

— Видите, — сказал Моцарт, — можно обойтись и без саксофона. Хотя я, конечно, не хочу обижать этот замечательный инструмент.

— Где мы? — спросил я.

— Мы в последнем акте «Дон-Жуана», Лепорелло уже на коленях. Превосходная сцена, да и музыка ничего, право. Хоть в ней еще и много очень человеческого, но все-таки уже чувствуется потустороннее, чувствуется этот смех — разве нет?

— Это последняя великая музыка, которая была написана, — сказал я торжественно, как какой-нибудь школьный учитель. — Конечно, потом был еще Шуберт, был еще Гуго Вольф, и бедного прекрасного Шопена тоже забывать я не должен. Вы морщите лоб, маэстро, — о да, ведь есть еще и Бетховен, он тоже чудесен. Но во всем этом, как оно ни прекрасно, есть уже какая-то отрывочность, какое-то разложенье, произведений такой совершенной цельности человек со времен «Дон-Жуана» уже не создавал.

— Не напрягайтесь, — засмеялся Моцарт, засмеялся со страшным сарказмом. — Вы ведь, наверно, сами музыкант? Ну так вот, я бросил это

занятие, я ушел на покой. Лишь забавы ради я иногда еще поглядываю на эту возню.

Он поднял руки, словно бы дирижируя, и где-то взошла не то луна, не то какое-то другое бледное светило, я смотрел поверх барьера в безмерные глубины пространства, там плыли туманы и облака, неясно вырисовывались горы и взморья, под нами простиралась бескрайняя, похожая на пустыню равнина. На этой равнине мы увидели какого-то старого длиннобородого господина почтенного вида, который с печальным лицом возглавлял огромное шествие: за ним следовало несколько десятков тысяч мужчин, одетых в черное. Вид у него был огорченный и безнадежный, и Моцарт сказал:

— Видите, это Брамс. Он стремится к освобожденью, но время еще терпит.

Я узнал, что черные тысячи — это все исполнители тех голосов и нот, которые, с божественной точки зренья, были лишними в его партитурах.

— Слишком густая оркестровка, растрачено слишком много материала, — покачал головой Моцарт.

И сразу затем мы увидели Рихарда Вагнера, который шагал во главе столь же несметных полчищ, и почувствовали, какая изматывающая

обуза для него — эти тяжелые тысячи. Он тоже, мы видели, брел усталой походкой страдальца.

— Во времена моей юности, — заметил я грустно, — оба эти музыканта считались предельно противоположными друг другу.

Моцарт засмеялся.

— Да, это всегда так. Если взглянуть с некоторого расстояния, то такие противоположности обычно все ближе сходятся. Густая оркестровка не была, кстати, личной ошибкой Вагнера и Брамса, она была заблужденьем их времени.

— Что? И за это они должны так тяжко поплатиться? — воскликнул я обвиняюще.

— Разумеется. Дело идет по инстанциям. Лишь после того как они погасят долг своего времени, выяснится, осталось ли еще столько личных долгов, чтобы стоило взыскивать их.

— Но они же оба в этом не виноваты!

— Конечно, нет. Не виноваты они и в том, что Адам съел яблоко, а платить за это должны.

— Но это ужасно.

— Конечно. Жизнь всегда ужасна. Мы не виноваты, и все-таки мы в ответе. Родился — и уже виноват. Странно же вас учили закону Божьему, если вы этого не знали.

Я почувствовал себя довольно несчастным. Я

увидел, как сам я, смертельно усталый странник, бреду по пустыне того света, нагруженный множеством ненужных книг, которые я написал, всеми этими статьями, всеми этими литературными заметками, а за мной следуют полчища наборщиков, которые должны были над ними трудиться, полчища читателей, которые должны были все это проглотить. Боже мой! А ведь, кроме того, были еще Адам, и яблоко, и весь остальной первородный грех. Все это, значит, надо искупить, пройти через бесконечное чистилище, и лишь потом встанет вопрос, есть ли за всем этим еще что-то личное, что-то собственное, или же все мои усилия и их последствия были лишь пустой пеной на море, лишь бессмысленной игрой в потоке событий.

Моцарт стал громко смеяться, увидев мое вытянувшееся лицо. От смеха он кувыркался в воздухе и дробно стучал ногами. При этом он покрикивал на меня:

— Что, мальчонка, свербит печенка,[103] зудит селезенка? Вспомнил своих читателей, пройдох и

[103] Примечания: 103

Здесь Гессе, с целью достижения комического эффекта, следует рекомендации Жана Поля, считавшего чувственность обязательным элементом юмора, и строит речь Моцарта по образцу приведенных Жаном Полем речевых построений Рабле и Фишарта.

стяжателей, несчастных пенкоснимателей, и своих наборщиков, подстрекателей-наговорщиков, еретиков-заговорщиков, паршивых притворщиков? Ну, насмешил, змей-крокодил, так ублажил, так уморил, что я чуть в штаны не наложил! Тебе, легковерному человечку, печатному твоему словечку, печальному твоему сердечку, поставлю для смеха поминальную свечку! Наврал, набрехал, языком натрепал, хвостом повилял, наплел, навонял. В ад пойдешь на муки вящие, на страданья надлежащие за писанья негодящие. Все, что ты кропал, ненастоящее, все-то ведь чужое, завалящее.

Это уже показалось мне наглостью, от злости у меня не осталось времени предаваться грусти. Я схватил Моцарта за косу, он взлетел, коса все растягивалась и растягивалась, как хвост кометы, а я, повиснув как бы на его конце, несся через вселенную. Черт возьми, до чего же холодно было в этом мире! Эти бессмертные любили ужасно разреженный ледяной воздух. Но он веселил, этот ледяной воздух, это я еще почувствовал в тот короткий миг, после которого потерял сознанье. Меня проняло острейшей, сверкающей, как сталь, ледяной радостью, желаньем залиться таким же звонким, неистовым, неземным смехом,

каким заливался Моцарт. Но тут я задохнулся и лишился чувств.

Я очнулся растерянным и разбитым, белый свет коридора отражался на блестящем полу. Я не был у бессмертных, еще нет. Я был все еще в посюстороннем мире загадок, страданий, степных волков, мучительных сложностей. Скверное место, пребывать в нем невыносимо. С этим надо было покончить.

В большом стенном зеркале напротив меня стоял Гарри. Выглядел он плохо, так же примерно, как выглядел в ту ночь после визита к профессору и бала в «Черном орле». Но это было давно, много лет, много столетий тому назад; Гарри стал старше, он научился танцевать, побывал в магических театрах, слышал, как смеется Моцарт, не боялся уже ни танцев, ни женщин, ни ножей. Даже человек умеренно одаренный созревает, пробежав через несколько столетий. Долго глядел я на Гарри в зеркале: он был еще хорошо мне знаком, он все еще чуточку походил на пятнадцатилетнего Гарри, который в одно мартовское воскресенье встретил среди скал Розу и снял перед ней свою конфирмандскую шляпу. И все же он стал теперь на сотню-другую годиков старше, он уже занимался музыкой и философией

и донельзя насытился ими, уже пивал эльзасское в «Стальном шлеме» и диспутировал с добропорядочными учеными о Кришне, уже любил Эрику и Марию, уже стал приятелем Гермины, стрелял по автомобилям, спал с гладкой китаянкой, встречался с Гете и Моцартом и прорывал в разных местах сеть времени и мнимой действительности, еще опутывавшую его. Если он и потерял свои красивые шахматные фигурки, то зато у него в кармане был славный нож. Вперед, старый Гарри, старый, усталый воробей!

Тьфу, пропасть, как горька была на вкус жизнь! Я плюнул на Гарри в зеркале, я пнул его ногой и разбил вдребезги. Медленно шел я по гулкому коридору, внимательно оглядывая двери, которые раньше обещали столько хорошего: ни на одной не было теперь надписи. Я медленно обошел сотни дверей магического театра. Разве не был я сегодня на костюмированном балу? С тех пор миновало сто лет. Скоро никаких лет больше не будет. Оставалось еще что-то сделать. Гермина еще ждала. Странная это будет свадьба. Меня несла какая-то мутная волна, я мрачно куда-то плыл, раб, Степной волк. Тьфу, пропасть!

У последней двери я остановился. Мутная волна тянула меня туда. О Роза, о далекая юность, о

Гете и Моцарт!

Я отворил дверь. За ней мне открылась простая и прекрасная картина. На коврах, покрывавших пол, лежали два голых человека, прекрасная Гермина и прекрасный Пабло, рядышком, в глубоком сне, глубоко изнуренные любовной игрой, которая кажется ненасытной и, однако, так быстро насыщает. Прекрасные, прекрасные человеческие экземпляры, прелестные картины, великолепные тела. Под левой грудью Гермины было свежее круглое пятно с темным кровоподтеком, любовный укус, след прекрасных, сверкающих зубов Пабло. Туда, в этот след, всадил я свой нож во всю длину лезвия. Кровь потекла по белой нежной коже Гермины. Я стер бы эту кровь поцелуями, если бы все было немного иначе, сложилось немного иначе. А теперь я этого не сделал; я только смотрел, как текла кровь, и увидел, что ее глаза на секунду открылись, полные боли и глубокого удивления. «Почему она удивлена?» — подумал я. Затем я подумал о том, что мне надо бы закрыть ей глаза. Но они сами закрылись опять. Дело было сделано. Она только повернулась чуть набок, я увидел, как от подмышки к груди порхнула легкая, нежная тень, которая мне что-то напоминала. Забыл!

Потом Гермина не шевелилась.

Я долго смотрел не нее. Наконец как бы очнулся от сна и собрался уйти. Тут я увидел, как потянулся Пабло, увидел, как он раскрыл глаза и расправил члены, увидел, как он склонился над мертвой красавицей и улыбнулся. Никогда этот малый не станет серьезней, подумал я, все вызывает у него улыбку. Пабло осторожно отогнул угол ковра и прикрыл Гермину по грудь, так что раны не стало видно, а затем неслышно вышел из ложи. Куда он пошел? Неужели все покинут меня? Я остался наедине с полузакрытой покойницей, которую любил и которой завидовал. На бледный ее лоб свисал мальчишеский завиток, рот ее алел на побледневшем лице и был приоткрыт, сквозь ее нежно-душистые волосы просвечивало маленькое, затейливо вылепленное ухо.

Вот и исполнилось ее желанье. Еще до того как она стала совсем моей, я убил свою возлюбленную. Я совершил немыслимое, и вот я стоял на коленях, не зная, что означает этот поступок, не зная даже, хорош ли он, правилен ли или нехорош и неправилен. Что сказал бы о нем тот умный шахматист, что сказал бы о нем Пабло? Я ничего не знал, я не мог думать. Все жарче на гаснущем лице алел накрашенный рот. Такой была вся моя

жизнь, такой была моя малая толика любви и счастья, как этот застывший рот: немного алой краски на мертвом лице.

И от этого мертвого лица, от мертвых белых плеч, от мертвых белых рук медленно подкрадывался ужас, от них веяло зимней пустотой и заброшенностью, медленно нарастающим холодом, на котором у меня стали коченеть пальцы и губы. Неужели я погасил солнце? Неужели убил сердце всяческой жизни? Неужели это врывался мертвящий холод космоса?

Содрогаясь, глядел я на окаменевший лоб, на застывший завиток волос, на бледно-холодное мерцанье ушной раковины. Холод, истекавший от них, был смертелен и все же прекрасен: он звенел, он чудесно вибрировал, он был музыкой!

Не чувствовал ли я уже однажды и в прошлом этого ужаса, который в то же время был чем-то вроде счастья? Не слыхал ли уже когда-то этой музыки? Да, у Моцарта, у бессмертных.

Мне вспомнились стихи, которые я однажды в прошлом где-то нашел:

Ну, а мы в эфире обитаем,
Мы во льду астральной вышины
Юности и старости не знаем,

Возраста и пола лишены…
Холодом сплошным объяты мы,
Холоден и звонок смех наш вечный…

Тут дверь ложи открылась, и вошел — я узнал его лишь со второго взгляда — Моцарт, без косицы, не в штанах до колен, не в башмаках с пряжками, а современно одетый. Он сел совсем рядом со мной, я чуть не дотронулся до него и не задержал его, чтобы он не замарался кровью, вытекшей на пол из груди Гермины. Он сел и сосредоточенно занялся какими-то стоявшими вокруг небольшими аппаратами и приборами, он очень озабоченно орудовал какими-то винтами и рычагами, и я с восхищеньем смотрел на его ловкие, быстрые пальцы, которые рад был бы увидеть разок над фортепьянными клавишами. Задумчиво глядел я на него, вернее, не задумчиво, а мечтательно, целиком уйдя в созерцанье его прекрасных, умных рук, отогретый и немного испуганный чувством его близости. Что, собственно, он тут делал, что подкручивал и налаживал, — на это я совсем не обращал внимания.

А устанавливал он и настраивал радиоприемник, и теперь он включил громкоговоритель и сказал:

— Это Мюнхен, передают фа-мажорный «Кончерто гроссо» Генделя.

И правда, к моему неописуемому изумленью и ужасу, дьявольская жестяная воронка выплюнула ту смесь бронхиальной мокроты и жеваной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио, — а за мутной слизью и хрипами, как за корой грязи старую, великолепную картину, можно было и в самом деле различить благородный строй этой божественной музыки, ее царственный лад, ее холодное глубокое дыханье, ее широкое струнное полнозвучье.

— Боже, — воскликнул я в ужасе, — что вы делаете, Моцарт? Неужели вы не в шутку обрушиваете на себя и на меня эту гадость, не в шутку напускаете на нас этот мерзкий прибор, триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против искусства? Неужели без этого нельзя обойтись, Моцарт?

О, как рассмеялся тут этот жуткий собеседник, каким холодным и призрачным, беззвучным и в то же время всеразрушающим смехом! С искренним удовольствием наблюдал он за моими муками, вертел проклятые винтики, передвигал жестяную воронку. Смеясь, продолжал он цедить

обезображенную, обездушенную и отравленную музыку, смеясь, отвечал мне:

— Не надо пафоса, соседушка! Кстати, вы обратили вниманье на это ритардандо? Находка, а? Ну, так вот, впустите-ка в себя, нетерпеливый вы человек, идею этого ритардандо, — слышите басы? Они шествуют, как боги, — и пусть эта находка старика Генделя проймет и успокоит ваше беспокойное сердце! Вслушайтесь, человечишка, вслушайтесь без патетики и без насмешки, как за покровом этого смешного прибора, покровом и правда безнадежно дурацким, маячит далекий образ этой музыки богов! Прислушайтесь, тут можно кое-чему поучиться. Заметьте, как этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь, как он глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чуждые ей, в самые неподходящие для нее места — как он все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, как демонстрирует на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество! Прислушайтесь, человечишка, хорошенько, вам это необходимо! Навострите-ка ушки! Вот так. А ведь теперь вы слышите не только изнасило-

ванного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божествен, — вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявленьем, между вечностью и временем, между Божественным и человеческим. Точно так же, мой дорогой, как радио в течение десяти минут бросает наобум великолепнейшую на свете музыку в самые немыслимые места, в мещанские гостиные и в чердачные каморки, меча ее своим болтающим, жрущим, зевающим, спящим абонентам, как оно крадет у музыки ее чувственную красоту, как оно портит ее, корежит, слюнит и все же не в силах окончательно убить ее дух — точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает без разбора великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике подчистки баланса на средних промышленных предприятиях, превращает волшебные звуки оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество, сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не

можем поделать, и если мы не ослы, то мы смеемся по этому поводу. Таким людям, как вы, совсем не к лицу критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать! Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношенья, и смеяться над прочим! А разве вы сами-то поступали лучше, благородней, умней, с большим вкусом? О нет, мосье Гарри, никак нет. Вы сделали из своей жизни какую-то отвратительную историю болезни, из своего дарованья какое-то несчастье. И такой красивой, такой очаровательной девушке вы, как я вижу, не нашли другого применения, чем пырнуть ее ножом и убить! Неужели вы считаете это правильным?

— Правильным? О нет! — воскликнул я в отчаянье. — Боже мой, все это ведь так неправильно, так дьявольски глупо и скверно! Я скотина, Моцарт, глупая, злая скотина, больная и испорченная, тут вы тысячу раз правы… Но что касается этой девушки, то она сама этого хотела, я только исполнил ее собственное желанье.

Моцарт беззвучно рассмеялся, но все же соблаговолил выключить радио.

Мое оправданье, хотя я еще только что чистосердечно верил в него, внезапно показалось мне довольно глупым. Когда Гермина однажды

— вспомнил я вдруг — говорила о времени и вечности, я сразу готов был считать ее мысли отраженьем моих собственных мыслей. А что мысль о том, чтобы я убил ее, возникла у Гермины самой, без какого бы то ни было влияния с моей стороны, — это я принял как нечто само собой разумеющееся. Но почему же я тогда не просто принял эту страшную, эту поразительную мысль, не просто поверил в нее, а даже угадал ее наперед? Не потому ли все-таки, что она была моей собственной? И почему я убил Гермину как раз в тот миг, когда застал ее голой в объятиях другого? Всеведенья и издевки был полон беззвучный смех Моцарта.

— Гарри, — сказал он, — вы шутник. Неужели и в самом деле эта красивая девушка не хотела от вас ничего, кроме удара ножом? Рассказывайте это кому-нибудь другому! Ну, хоть пырнули-то вы хорошенько, бедная малышка мертвехонька. Пора вам, пожалуй, уяснить себе последствия вашей галантности по отношению к этой даме. Или вы хотите увильнуть от последствий?

— Нет, — крикнул я. — Неужели вы ничего не понимаете? Увильнуть от последствий! Да ведь если я чего и хочу, то только искупить, искупить свою вину, положить голову на плаху, принять

наказанье, быть уничтоженным!

Моцарт поглядел на меня с нестерпимой издевкой.

— До чего же вы патетичны! Но вы еще научитесь юмору, Гарри. Юмор всегда юмор висельника, и в случае надобности вы научитесь юмору именно на виселице. Вы готовы к этому? Да? Отлично, тогда ступайте к прокурору и терпеливо сносите всю лишенную юмора судейскую канитель вплоть до того момента, когда вам холодно отрубят голову ранним утром в тюрьме. Вы, значит, готовы к этому?

Передо мной вдруг сверкнула надпись:

Казнь Гарри

и я кивнул головой в знак согласия. Голый двор среди четырех стен с маленькими зарешеченными окошками, опрятно прибранная гильотина, десяток господ в мантиях и сюртуках, а среди них стоял я, продрогший на сером воздухе раннего утра, с давящим и жалобным страхом в сердце, но готовый и согласный. По приказу я сделал несколько шагов вперед, по приказу стал на колени. Прокурор снял свою шапочку и откашлялся, и все остальные господа тоже откашлялись. Он развернул какую-то грамоту и, держа ее перед собой, стал читать:

— Господа, перед вами стоит Гарри Галлер, обвиненный и признанный виновным в преднамеренном злоупотреблении нашим магическим театром. Галлер не только оскорбил высокое искусство, спутав нашу прекрасную картинную галерею с так называемой действительностью и заколов зеркальное изображение девушки зеркальным изображением ножа, он, кроме того, не юмористическим образом обнаружил намерение воспользоваться нашим театром как механизмом для самоубийства. Вследствие этого мы приговариваем Галлера к наказанию вечной жизнью и к лишению на двенадцать часов права входить в наш театр. Обвиняемый не может быть освобожден также и от наказания однократным высмеиванием. Господа, приступайте — раз — два — три!

И по счету «три» присутствующие самым добросовестным образом залились смехом, смехом небесного хора, ужасным, нестерпимым для человеческого слуха смехом потустороннего мира.

Когда я пришел в себя, Моцарт, сидевший рядом со мной, как прежде, похлопал меня по плечу и сказал:

— Вы слышали вынесенный вам приговор. Придется, стало быть, вам привыкнуть слушать

и впредь радиомузыку жизни. Это пойдет вам на пользу. Способности у вас, милый дуралей, из ряда вон маленькие, но теперь вы, наверно, постепенно все-таки поняли, чего от вас требуют! Вы готовы закалывать девушек, готовы торжественно идти на казнь, и вы были бы, вероятно, готовы также сто лет бичевать себя и умерщвлять свою плоть? Или нет?

— О да, готов всей душой! — воскликнул я горестно.

— Конечно! Вас можно подбить на любую лишенную юмора глупость, великодушный вы господин, на любое патетическое занудство! Ну, а меня на это подбить нельзя, за все ваше романтическое покаянье я не дам и ломаного гроша. Вы хотите, чтобы вас казнили. Вы хотите, чтобы вам отрубили голову, неистовый вы человек! Ради этого дурацкого идеала вы согласны совершить еще десять убийств. Вы хотите умереть, трус вы эдакий, а не жить. А должны-то вы, черт вас возьми, именно жить! Поделом бы приговорить вас к самому тяжкому наказанью.

— О, что же это за наказанье?

— Мы могли бы, например, оживить эту девушку и женить вас на ней.

— Нет, к этому я не готов. Вышла бы беда.

— А то вы уже не натворили бед! Но с патетикой и убийствами надо теперь покончить. Образумьтесь наконец! Вы должны жить и должны научиться смеяться. Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни, должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью. Вот и все, большего от вас не требуют.

Я тихо, сквозь сжатые зубы, спросил:

— А если я откажусь? А если я, господин Моцарт, не признаю за вами права распоряжаться Степным волком и вмешиваться в его судьбу?

— Тогда, — миролюбиво сказал Моцарт, — я предложил бы тебе выкурить еще одну мою папироску.

И пока он говорил это и протягивал мне папиросу, каким-то волшебством извлеченную им из кармана жилетки, он вдруг перестал быть Моцартом: он тепло смотрел на меня темными, чужеземными глазами и был моим другом Пабло и одновременно походил, как близнец, на того человека, который научил меня игре фигурками.

— Пабло! — воскликнул я, вздрогнув. — Пабло, где мы?

Пабло дал мне папиросу и поднес к ней огонь.

— Мы, — улыбнулся он, — в моем магическом

театре, и если тебе угодно выучить танго, или стать генералом, или побеседовать с Александром Великим, то все это в следующий раз к твоим услугам. Но должен сказать тебе, Гарри, что ты меня немного разочаровал. Ты совсем потерял голову, ты прорвал юмор моего маленького театра и учинил безобразие, ты пускал в ход ножи и осквернял наш славный мир образов пятнами действительности. Это некрасиво с твоей стороны. Надеюсь, ты сделал это, по крайней мере, из ревности, когда увидел, как мы лежим с Германой. С этой фигурой ты, к сожалению, оплошал — я думал, что ты усвоил игру лучше. Ничего, дело поправимое.

Он взял Гермину, которая в его пальцах сразу же уменьшилась до размеров шахматной фигурки, и сунул ее в тот же карман, откуда раньше извлек папиросу.

Приятен был аромат сладкого тяжелого дыма, я чувствовал себя опустошенным и готовым проспать хоть целый год.

О, я понял все, понял Пабло, понял Моцарта, я слышал где-то сзади его ужасный смех, я знал, что все сотни тысяч фигур игры жизни лежат у меня в кармане, я изумленно угадывал смысл игры, я был согласен начать ее еще раз, еще раз

испытать ее муки, еще раз содрогнуться перед ее нелепостью, еще раз и еще множество раз пройти через ад своего нутра.

Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться. Пабло ждал меня. Моцарт ждал меня.

Комментарии

Кнульп

Тип романтического бродяги и скитальца, воспетый еще немецким романтизмом («Из жизни одного бездельника» И. Эйхендорфа и др.), появляется в творчестве Гессе уже в начале века. Первыми обработками темы, как бы подготавливающими «Кнульпа», можно считать «Юность Петера Бастиана» (1902), «Письмо господину Килиану Шванкшеделю» (1902–1903) и «Записки подмастерья шорника» (1904).

В 80-90-х гг. прошлого века бродяжничество стало в Германии повседневным явлением, приобрело настолько большие размеры, что только на территории Саксонии полиция ежегодно задерживала около двадцати тысяч бездомных. Гессе с юности с большой симпатией относился к этим оборванцам, обитателям больших дорог, воспринимая этот образ в чисто романтическом духе: бродяга и странник представлялся ему выражением протеста против мещански-упорядоченного быта бюргерства, попыткой сохранить свободу и независимость в мире потребитель-

ских идеалов поздне-капиталистического мира.

Над «Кнульпом» («Тремя историями из жизни Кнульпа») Гессе работал в 1907–1913 гг. Первые две истории были созданы в Гайенхофене, на Боденском озере, где писатель поселился в 1904 г. и провел восемь лет жизни. «Конец Кнульпа» завершен в Берне. Первая часть «Кнульпа» впервые печаталась в 1908 г. в журнале «Нойе рундшау», «Мои воспоминания о Кнульпе» были напечатаны в 1913 г. в штутгартском журнале «Дер грайф», «Конец Кнульпа» впервые опубликовала «Дойче рундшау» в 1914 г. Отдельной книгой «Три истории из жизни Кнульпа» вышли в серии «Библиотека современного романа» в берлинском издательстве С. Фишера в 1915 г.

Курортник

«Курортник. Заметки о моем лечении в Бадене» был опубликован в 1925 г. в издательстве Фишера. Это произведение являет собой слегка измененный вариант напечатанного годом раньше за счет автора сочинения «Psychologia Balnearia,[104] или Записки баденского курортника». Первая публикация была снабжена припиской писателя:

[104] Примечания: 104
Курортная психология *(лат.)*.

«Psychologia Balnearia продумывалась в течение двух лечебных сезонов в Бадене, весной и осенью 1923 г. Написана в октябре 1923 г. частично в Бадене и частично в Монтаньоле».

Начиная с 1923 г. Гессе, страдавший ишиасом и ревматизмом, преимущественно осенью постоянно наезжал в курортный Баден, вблизи Цюриха. Здесь он останавливался в гостинице «Веренахоф», с хозяином которой Марквальдером у него сложились приятельские отношения. В гостиничном номере в Бадене Гессе попеременно работал над рукописями «Нарцисса и Гольдмунда», «Паломничества в страну Востока», «Игры в бисер». Здесь же были созданы многочисленные стихотворения, дневниковые записи, рецензии на книги и частные письма.

«Курортник» — плод раздумий писателя о собственной жизни, о формах и путях преодоления конфликта между духом и природой, между личностью и коллективом, между идеей и ее проявлением. В 1948 г. Гессе писал: «Прошло двадцать пять лет с тех пор, как один благорасположенный врач впервые послал меня пациентом в Баден; ко времени моего первого лечебного пребывания в Бадене я, должно быть, уже внутренне созрел и был подготовлен к новым

переживаниям и раздумьям, ибо именно тогда появилась моя книжечка „Курортник“, которую я до последнего времени, вплоть до лишенной всякой иллюзии старческой горечи, считал своей лучшей книгой и о которой я всегда вспоминал с большой симпатией. Подстегнутый частично непрерывным безделием курортной и гостиничной жизни, частично же новыми знакомствами с людьми и книгами, в те жаркие курортные недели в середине пути от „Сиддхарты“ к „Степному волку“, я обрел то настроение самоуглубления и самоиспытания, настроение наблюдателя по отношению к внешнему миру и собственной личности, игриво-ироническую радость созерцания и анализа моментального, парения между ленивым бездельем и интенсивной работой».

Степной волк

Роман «Степной волк» — одно из самых знаменитых произведений Гессе — до известной степени автобиографичен. Он отражает сильнейший духовный кризис в жизни писателя, имевший место в середине 20-х гг. 11 января 1924 г. Гессе вступил во второй брак с молодой певицей Рут Венгер. Брак оказался неудачным, писатель уже через несколько недель покинул

Базель и уехал в Монтаньолу. Отношения между супругами оставались натянутыми и после возвращения Гессе в Базель в ноябре 1924 г. Его тогдашняя базельская квартира, а также ее владелица Марта Рингье описаны автором в романе. Почти всю зиму 1925 г. Гессе работал в университетской библиотеке в Базеле над составлением антологии «Классический век немецкого духа. 1750–1850». После кратковременной совместной поездки супругов в Германию в декабре 1924 г. Гессе виделся с Рут Венгер крайне редко. Ощущение заброшенности, невозможности наладить контакт с окружающим миром, настроение безысходности и отчаяния все больше и больше овладевали им. Неоднократно мелькает и мысль о самоубийстве.

Над романом Гессе начинает работать еще в Базеле и продолжает затем в Монтаньоле и Цюрихе. Однако отдельные его аспекты и мотивы были предвосхищены еще в прозаическом фрагменте «Из дневника одного отщепенца» (1922) и — более ярко и непосредственно — в лирической параллели романа, стихотворном сборнике «Кризис. Отрывок из дневника Германа Гессе», написанном зимой 1926 г. Полностью сборник был опубликован лишь в 1928 г. в издательстве

Фишера.

«Степной волк» являет собой исповедь буржуазного интеллигента, пытающегося преодолеть собственную болезнь, но главное — болезнь времени, следствием которой является его духовный недуг, посредством беспощадного самоанализа, «попыткой сделать самую эту болезнь объектом изображения». При всей обнаженности кризисной проблематики, при всей бескомпромиссности критики, в романе речь идет не столько о самой болезни, сколько о путях избавления от нее. На это обстоятельство постоянно обращал внимание писатель. В послесловии к швейцарскому изданию романа он писал: «Разумеется, я не могу, да и не хочу предписывать читателю, как ему следует понимать мой рассказ. Пусть каждый возьмет из него то, что сочтет для себя подходящим и нужным! Тем не менее мне было бы приятно, если бы многие из читателей заметили, что история Степного волка хоть и изображает болезнь и кризис, но не болезнь, которая ведет к смерти, не гибель, а ее противоположность: исцеление». В данной связи следует отметить два автобиографических факта, нашедших прямое отражение в романе. Во-первых, это психоаналитические беседы

писателя с учеником знаменитого цюрихского психиатра К. Г. Юнга доктором И. Б. Лангом, имевшие место в начале 1926 г. Они несомненно повлияли на описание в романе поисков путей и средств преодоления духовного кризиса, в котором находились как сам писатель, так и его герой. Далее — это мир «элементарных» чувств, который Гессе впервые открыл для себя в те годы в джазовой музыке, в модных американских танцах и ночной жизни швейцарского города 20-х гг. Зимой 1926 г. Гессе специально брал уроки танца у Юлии Лауби-Онеггер (прототип Гермины в романе «Степной волк») и часто появлялся на масленичных карнавалах и маскарадах Цюриха. Атмосфера эротики и экстаза, пережитая Гессе на одном из таких ночных балов в гостинице «Бор о Лак», воспроизведена в романе в сценах маскарада в залах «Глобуса».

Работу над рукописью «Степного волка» Гессе заканчивает в январе 1927 г. Пять месяцев спустя, к пятидесятилетию писателя, роман выходит в издательстве Фишера.

Сам образ Степного волка — сложный, имеющий свою историю в творчестве писателя символ. Мотив «волка» впервые появился у Гессе в маленьком реалистическом рассказе «Волк»

(1907) — истории молодого зверя, затравленного и убитого в холодную зимнюю ночь крестьянами швейцарской деревни. Позже, в начале 20-х гг., Гессе часто сравнивает сам себя с попавшим в западню «степным зверем», пытающимся вырваться на свободу, «заблудшим в дебрях цивилизации», тоскующим по приволью «родных степей». Однако в том виде, в каком символ «волка» представлен в романе, он появляется лишь в 1925 г. в лирическом дневнике «Кризис».

Кроме метафорического, символ «степного волка» имеет по меньшей мере троякий смысл: мифологический, философский и психологический. «Волк» — один из зооморфных символов, наиболее часто встречающийся в мифологиях разных народов. В большинстве случаев он есть олицетворение демона зла, результат неподчинения Евы. В христианской символике средневековья «волк» нередко отождествляется с чертом, выступая в этом своем значении и в литературе XX в. В философском значении символ «степного волка» восходит к ницшеанскому противопоставлению стадного человека и «дифференцированного одиночки», которого Ницше в отдельных случаях называет «зверем», а также и «гением». «Волк» выходит на свет вследствие борьбы и столкнове-

ний самоанализа. Он есть вместе с тем и попытка высвобождения чувственного дионисического мира из многовекового ига христианской цивилизации, выражение стремления личности к душевной свободе. В психологическом плане «степной волк» как бы символизирует те сферы человеческой психики, которые считаются вытесненными в подсознание. Поскольку в романе речь идет о снятии противоречий внутренней жизни и продвижении к психической целостности, символ «волка» указывает на ту темную сторону психики героя, которую надлежит вывести из глубин и примирить с сознательной жизнью. Поэтому важно понять, что развитие «волчьей» стороны индивида у Гессе выражает в романе не падение человека, а способствует процессу создания гармонически развитой, цельной личности.